

ДА
В
И
Д
М
А
Р
К
И
Ш



ПРИСКАЗКА

*Посвящается памяти Переца Маркиша,
расстрелянного в Москве 12 августа
1952 года.*



Давид Маркиш

ДАВИД МАРКИШ

ПРИСКАЗКА

ИЗДАТЕЛЬСТВО АВТОРА

ТЕЛЬ-АВИВ 1991

דוד מרקיש

ראשית

THE BEGINNING

A NOVEL

by **David Markish**

©

ALL RIGHTS RESERVED

ВСЕ ПРАВА СОХРАНЯЮТСЯ ЗА АВТОРОМ

"Кто нови не знает, тот и стари рад".

русская пословица

ОТ РЕДАКЦИИ

Поэт и прозаик Давид Маркиш родился в Москве в 1938 году. В 1972 году, после длительной и упорной борьбы, он репатрировался в Израиль. Отец Маркиша, известный еврейский писатель Перец Маркиш, был репрессирован и расстрелян в 1952 году.

"Присказка" – первый роман трилогии "Легкая жизнь Симона Ашкенази" ("Присказка", "Чистое поле", "Жизнь на пороге"). Написанная еще в России, "Присказка" вышла в переводах на иврит, английский (США и Англия), португальский (Бразилия) и шведский языки. В Англии роман был удостоен премии Британской национальной книжной лиги за 1977 год. Шведский "Боньер бук клуб" выпустил его в числе лучших книг года.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1. ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ, ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Хороший это был урок – ”Конституция СССР”! Ученики 8”А” класса 137-й московской школы целых сорок пять минут предоставлены были самим себе. Они, прикрывшись кое-как ладонью, жевали бублики, читали книжки, играли в ”морской бой” или просто разговаривали о своих делах. А учительница Татьяна Федоровна, милая и симпатичная молодая женщина, рассказывала им о свободе личности в социалистическом государстве. Ученики были абсолютно спокойны на уроках Татьяны Федоровны: они знали доподлинно, что по ”Конституции СССР” меньше тройки не ставят. Двойка бросила бы тень на весь класс и – в первую очередь – на саму Татьяну Федоровну. Конституция – это, в конце концов, не математика или литература! По математике и литературе можно хватать хоть единицы – дело хозяйское. Другое дело – конституция. Класс, где плохо знают конституцию, – класс политически отсталый, дремучий, просто-напросто, класс. И надо разобраться, какую-такую работу ведет с учащимися классный руководитель Исаак Семенович. И надо выяснить, почему это преподавательница Консти-

туции СССР Татьяна Федоровна, член партии, русская, не в состоянии увлечь учащихся 8"А" класса своим предметом. Вот так...

А посему учащиеся жевали бублики и говорили вполголоса о своих делах.

— Слушай, — сказал Егор Голованин по кличке "Башка" своему соседу по парте Симону Ашкенази по кличке "Мартышка", — ты знаешь — Розена вчера забрали, из первого.

Дом, в котором жили Егор и Симон, был большой дом, многоэтажный, четырехподъездный. Розен, арестованный вчера испытатель парашютов, жил, следовательно, в первом подъезде. Егор и Симон жили в четвергом — Егор на четвертом этаже, Симон — на пятом.

— Знаю, — сказал Симон. Он не любил говорить на эти темы. Его отца забрали три года тому назад, в начале 1949, и он не любил. А Егорова отца не забрали — потому что он погиб еще до войны в авиационной катастрофе, когда Егору было полгода.

— Его забрали ночью, — добавил Егор.

— А ты хотел, чтоб днем, что ли? — повернулся к нему Симон. — Всех ночью забирают...

— Днем никогда не забирают? — вежливо поинтересовался Егор. — У него — дворничиха говорила — радиопередатчик нашли в стене...

— А доллары? — спросил Симон. — У нас нашли радиопередатчик и мешок долларов. Тоже дворничиха говорила.

— Ну, врет, наверно, — сказал Егор. — Их всех забрали — и жену его, и сына. И вещи все увезли, до утра машина ходила. Это я точно говорю.

— Мальчики, прекратите разговоры! — сказала Татьяна Федоровна. — Голованин, о чем я только что говорила?

Егор поднялся, стоял потупившись.

— Не знаете? — продолжала Татьяна Федоровна. — А ты, Ашкенази?

Поднялся и Ашкенази.

— Стыдно, мальчики! — заключила Татьяна Федоровна. — Я говорила о свободе личности в нашем социалистическом государстве. Знание конституции — долг каждого советского человека. Вам понятно? — Татьяна Федоровна поглядела своими голубыми, с сиреневым оттенком глазами вначале на Голованина, а потом на Ашкенази. Она знала, что произошло с отцом Ашкенази три года назад, в январе 49. И она почему-то испытывала неловкость, и неловкость эта была ей непонятна. — А теперь садитесь, мальчики, и слушайте.

Хороший человек Татьяна Федоровна.

— Давай в "морской бой", — предложил Симон, сев.

Егор был не против. Почему бы не сыграть в "морской бой"? Они начертили на клетчатых страничках, вырванных из тетрадей по алгебре, квадраты и нарисовали в них "корабли". До звонка оставалось еще минут пятнадцать.

— Говорят, у Розена тысяча прыжков была, — сказал Егор. — Стреляю "Б-7".

— Мимо, — сказал Симон. — "Д-3".

За пять минут до звонка в класс вошел, властно распахнув дверь, директор школы Константин Петрович Цыбин.

— Садитесь! — указал директор приветственно вскочившим ученикам. А затем, мягко прокашлявшись и проведя ладонью по отполированному черепу, предложил: — Продолжайте, Татьяна Федоровна!

— Я уже закончила! — с подъемом отrapортовала Татьяна Федоровна. Она побаивалась директора и ни в коем случае не желала беседовать с учениками на конституционные темы в его присутствии.

— Да, — сказал Константин Петрович. — Итак, вы закончили... Я должен информировать вас, товарищи, — голос директора утратил теперь бархатистость, располагающую собеседника к покаянной откровенности, и звучал обнаженно, — об отвратительном, чудовищном случае, имевшем место сегодня до начала занятий в параллельном 8"Б" классе.

Ученики сидели тихо, отчасти даже торжественно.

Никогда еще директор Константин Петрович Цыбин не называл их товарищами и ни о чем не информировал.

— Несколько человек из 8"Б" устроили утром грязную, хулиганскую драку в классе. Эта выходка закончилась тем, — директор покашлял каменно, прикрывая рот правой рукой, — что... гм... один из хулиганов, некто Кисельков, бросил в своего друга чернильницу.

Директор снова замолчал. Кто-то в классе не выдержал и прыснул. Это так смешно — бросить чернильницу.

Директор, однако, взглянул на прыснувшего лишь вскользь.

— Чернильница, — продолжал директор, сгорбившись, — попала в портрет товарища Сталина и разбила стекло... — Самое страшное было произнесено, и директор снова повысил голос. — Мерзавец задержан сотрудниками министерства государственной безопасности и, несомненно, понесет заслуженное наказание. Но пятно позора легло на всю нашу школу, и смыть его вряд ли когда-нибудь удастся. Прошу вас всех принять это к сведению!

В непробудной тишине директор процокал к двери и вышел.

— Какой ужас! — чуть слышно сказала Татьяна Федоровна. — Идите домой, мальчики...

Выйдя из школы, происшествие обсуждали вполголоса.

— Выгонят Киселькова, — предположил Епаничников, беззлобный ученик. — Как это он так промахнулся!

— Пень ты, Японец, — сказал Егор. — "Выгонят!" Знаешь, куда его выгонят и насколько? Лет на пять уж наверняка.

— Это не он кинул, — убежденно заявил десятиклассник, Тараторин. — Это Фридман нарочно кинул.

Евреи, гады, всегда воду мутят, а мы потом отвечаем...

— А ты видел? — подскочил к нему Симон. — Ты, гад, видел?

— Смотрите-ка, — осклабился Тараторин, — еще один нашелся. Наш хлеб жрет и еще недоволен. Езжай к себе в Израиль!

— И поеду! — выкрикнул Симон. — Все мы поедем! Только что же вы нас не отпускаете, гады, гады!

— Правильно твоего отца посадили, — сказал Тараторин, сощурился. — И тебя в тюрьму надо упечь... А это тебе за "гадов"!

Рослый, белозубый, веселый Тараторин ударил Ашкенази в лицо правой сбоку. Ашкенази покачнулся и упал в сугроб. Когда он поднялся, на снегу осталось красное пятно, не очень яркое на фоне несвежего снега, сброшенного с тротуара.

Егор бросился на Тараторина, когда Симон уже лежал в снегу. Здоровый парень Егор, очень крепкий.

"Стыкаются!" — закричал кто-то из ребят, окруживших Егора и Тараторина. Егор ударил верно, попал в подбородок. Тараторин прокусил язык, кровь нешибко потекла по губе. "Наших бьют!" — закричал Тараторин, сплевывая кровь. Кольцо парней, обступивших дерущихся, однако, не пошевелилось.

Вторым ударом Егор сбил у Тараторина шапку. Тараторин ударил Егора ногой, и круг неодобрительно зашумел. Егор, согнувшийся было, прыгнул вперед и с размаху достал тараторинское солнечное сплетение. Тот скрючился, и тогда Егор, схватив его за волосы, несколько раз ударил лицом о свое вынесенное вперед согнутое колено.

Тараторин подобрал с земли шапку и, растолкав круг, побежал прочь.

— Здорово он его, — реагировали, расходясь, школьники.

— А почему стыкались-то?

Им интересна была сама драка, они забыли об Ашкенази. Да и в самом-то деле, велика важность: ну, сказал Тараторин, ну, дал один раз Мартышке по мор-

де. Тот сам виноват: чего полез? А Башка здорово все-таки по роже его коленом, коленом!

Полдороги до дома Егор и Симон шли молча. Потом Симон остановился, удержав тем и Егора.

— Они тебе теперь облом устроят, — сказал Симон, не глядя на Егора.

— Пусть попробуют, — Егор достал из кармана пальто большой замок на цепи. — Видал?

— Спасибо, — сказал Симон.

— Да ладно! — сказал Егор. — А ты правда бы уехал?

Симон молча кивнул головой.

— Я бы тоже, — сказал Егор.

Симон взглянул на Егора серьезно. Он взглянул на него снизу вверх — тот был на добрую голову выше.

— Интересно же! — сказал Егор, улыбаясь.

Симон продолжал смотреть на него, подняв короткие черные брови, морща лоб.

— Ну, пошли, что ли? — сказал Симон.

Привстав на цыпочки, он позвонил — ключа у него не было. Ему открыл старший брат его, Ефим.

— Иди, Симка, ешь, — сказал Ефим. — Там все на кухне.

— А где мама? — спросил Симон, вешая пальто.

Ефим промолчал, и Симон услышал, как мама плакала в своей комнате. Симон вопросительно взглянул на брата.

— Иди, ешь, — повторил Ефим.

После ареста отца их оставили в старой квартире, только опечатали две комнаты из четырех и сложили в них конфискованный отцовский архив: рукописи, фотографии, некоторые книги. Конфискованное запаковали в большие картонные папки, на которых сверху было напечатано крупно: "хранить вечно". Отца забрали вот уже как три года, и о судьбе его ничего не было известно.

Симон жил во второй комнате, вместе с теткой Гитой Давидовной, сестрой отца. Комнату перегороди-

ли надвое высокой Гитиной ширмой, мальчика поселили в темной половине, у двери, а старухин диван, из многочисленных прорех в обивке которого пластами вылезал слежавшийся конский волос, поставили у окна. Ефим жил в комнате матери.

Двери обеих комнат выходили в коридор, в тупике которого находилась еще одна дверь, запертая, с коричнево-красного цвета печатью, круглой. Дверь эта, подобно зеркалу в доме покойного человека, задрапирована была тканью. В Тупике помещалась разная домашняя рухлядь, с какой хозяйки расстанутся лишь благодаря разрушительным домашним катаклизмам: старый сундук, сломанные стулья, колченогие раскладушки. Задрапированная дверь забаррикадирована была этим громоздящимся хламом, сверху также прикрытым старой портьерой. То был мертвый Тупик, в недрах которого только иногда раздавался неясный шум: серая кошка Шифра любила бродить в пыльном лабиринте баррикады.

— Руки помой, — сказал Ефим, стоя спиной к двери, из-за которой доносился плач матери. Симон еще раз коротко взглянул на брата и пошел в ванную.

Ефим ждал его.

— Суп, наверно, еще не остыл, — сказал Ефим. — Давай, малыш.

Симон налил себе супа и сел за стол.

— А ты обедал? — спросил Симон.

Ефим утвердительно кивнул головой.

Младший ел молча, ни о чем не спрашивая.

— Ну, так, — сказал наконец Ефим. — Так... Ты знаешь, что у нас две недели назад взяли подписку о невыезде? Мама тебе говорила?

Мама ему не говорила, но он знал.

— Завтра нас высылают, — сказал Ефим.

Симон положил ложку, разглядывая что-то в тарелке.

— Уже? — сказал Симон.

Ефим промолчал.

— А куда?

— Не знаю, — сказал Ефим. — Тебе уже четырнадцать лет, ты должен все понимать, малыш.

Ефиму было 22, ему было хуже, потому что он действительно все понимал.

— А надолго? — спросил Симон.

— Завтра скажут, — пожал плечами Ефим. — К десяти утра вызывают в РО МГБ. Всех вызывают — и нас, и Гиту, и Женьку.

Женька был двоюродный брат.

— А Женьку почему? — спросил Симон.

— Он ведь у нас прописан, — объяснил Ефим. — Они — всех — по домово́й книге...

— Я пойду к маме, — сказал Симон, поднимаясь из-за стола.

Мама плакала. Она плакала громко, почти в голос. Симон почему-то вспомнил, что вот так она плакала, когда немцы взяли Киев.

— Мальчик мой, — сказала мама. — Все кончено... За что? Что они хотят от нас?

Симон не знал, что ответить, морщил лоб. Он хотел, чтоб скорей наступило завтра, хотел узнать, куда надлежит им ехать. Удивительная легкость наполняла его, легкость безответственности. Они поедут в ссылку? Да нет же, их повезут в ссылку. Ссылка, по сведениям Симона, расположена была в Сибири и в Казахстане. Многие семьи отцовских друзей — арестованных еврейских писателей и актеров — уже отправлены были в ссылку. Сейчас Симону остро хотелось, чтобы их отправили в Казахстан. Он бы, пожалуй, не смог объяснить, почему не в Сибирь. Он не любил мороза и снега — может, поэтому. Казахстан представлялся ему огромной безлесой равниной, залитой огромным горячим солнцем, населенной узкоглазыми людьми в пестрых халатах, пасущими стада. Ему тоже хотелось пасти стада. Стада коз или овец. Это ведь прекрасно — пасти стада на просторе земли! А вечером возвращаться домой и хлебать горячее, густое

варево перед тем, как лечь спать до раннего рассвета... Откуда к нему все это явилось, он не знал. Да это и не важно было. Просто он отчетливо видел себя пасущим стада на просторе земли. Вздернув короткие брови, неровно морща лоб он глядел на мать. Он жалел ее, но не в состоянии был понять, отчего она так расстраивается и плачет. Страсть к передвижению по этому самому простору земли притекла к нему с кровью всех поколений его предков — воинов и торговцев, раввинов и авантюристов, поэтов и пастухов стада. Завтра им предстоит покинуть город Москву, где они чужие и особенные благодаря тому, что рождены на свет евреями, и отправиться, скажем, в Казахстан, где они наверняка также не станут своими. Да им и не надо. Неужели мама не знает, что им не надо, что им даже лучше, что они чужие среди чужих же и что своими они могут быть только со своими, с евреями — будь то в Москве, в Сибири или в Казахстане? Неужели она не знает, что, не будь они чужими, они не были бы евреями? А не быть евреем Симон не хотел ни в коем случае — хотя бы из упрямства и презрения к тем, кто считал их, евреев, чужими и особенными, из презрения, незаметно переходящего в убежденность: да, мы такие и есть — чужие и особенные... А если она все это знает, зачем же она плачет, мама?

— Бедный мой, — сказала мама. — Бедные мы все...

— Ничего, — сказал Симон. — Ты не плачь, мама. Мама плакала.

Предстояло лишь попрощаться с Егором.

— Я завтра в школу не пойду, — сказал Симон.

— В кино, что ли? — спросил Егор. — Давай вместе.

Я тоже не пойду.

Егор, товарищ, был, пожалуй, самым лучшим среди чужих.

— Какое там кино! — сказал Симон, не скрывая гордости. — В ссылку!

— Брось ты... — не поверил Егор. — Какая ссылка? За что?

— За что, я еще не знаю, — сказал Симон. — Завтра должны сказать...

— А как же тогда Израиль? — спросил Егор огорченно, словно бы сам он собирался ехать в Израиль, а теперь планы его вдруг рухнули.

— Ну, Израиль... — сказал Симон. — Оттуда, конечно, не пустят. А потом...

— А ты напиши Сталину, — посоветовал Егор. — Пока ответ не придет, можно прятаться.

— Нет, — сказал Симон. — Чего там писать... Мама говорит — он все знает. А раз знает — чего зря писать? Хорошо еще, что не посадили. Вон Розенов-то всех посадили.

— Может, все-таки отпустят? — неуверенно предположил Егор.

Симон улыбался, улыбался светло и упрямо.

Они стояли в большой Егоровой комнате, у окна. Мелкий снег, падая неровно, клубился в мутном свете фонарей по обочинам Ленинградского шоссе. Фонари эти тянулись далеко, пока не превращались в нерезкие желтые пятна и не исчезали в снежных сумерках.

— Завтра какое? — спросил Симон, глядя в окно.

— Первое февраля, — сказал Егор.

В Казахстане, быть может, большое солнце освещало простор земли, по которому узкоглазые люди в пестрых халатах шли за своими стадами.

2. ДОРОГА

У полковника МГБ Громова Александра Васильевича с самого утра было прекрасное настроение. Накануне он кое-что выиграл в преферанс — так, вроде бы и немного, а все же как приятно! — а являсь на службу, узнал, что наконец-то получит новую квартиру, четырехкомнатную, в самом центре города. Квартира была из конфискуемых, и прежние хозяева как раз сегодня должны были явиться сюда, к Александру Васильевичу, по поводу предстоящей им ссылки куда-то на юг Казахстана. Не без удовольствия взял Александр Васильевич кончиками пальцев плотную карточку, на которую были занесены фамилии вызванных на сегодня высылаемых. Найдя нужную ему фамилию, Александр Васильевич повторил ее несколько раз вслух, на разные тона: "Ашкенази, Аш-кенази, Ашке-нази..."

Ашкенази вызваны были на десять утра, и Александр Васильевич, несколько даже любопытствуя, нажал на кнопку звонка. Ему почему-то не терпелось поглядеть на людей, которые и догадаться-то не могли о том, что в их квартиру спустя самое ма-

лое время въедет он, Александр Васильевич, с семьей: с женой, тещей и двумя детишками.

Итак, Александр Васильевич позвонил. В ответ немедленно открылась дверь, и в кабинет вошла женщина лет сорока. За нею шли двое молодых мужчин и мальчик лет четырнадцати-пятнадцати. Последней плелась, вздыхая и причитая на каждом шагу, близорукая старуха. Старуха держалась от прочих особняком.

— Ашкенази? — спросил Александр Васильевич, неторопливо изучив группу.

Полковник не любил евреев и этого никогда не скрывал. Ну, вот не любил — и все тут! А за что, собственно говоря, он должен их любить? А что они ему сделали хорошего? Живут здесь, жрут русский хлеб — а кто их сюда звал? И ко всему еще вечно чем-нибудь недовольны! То их недооценивают, то обижают, то притесняют. А сами позахватывали лучшие места — русскому человеку и дыхнуть невозможно... Ну вот, к примеру, эти самые Ашкенази. Отец их — орденоседец, писатель, изменник родины. Все они такие — что хочешь продадут, что хочешь купят. Ничего святого у них нет, честное слово! Так за что же ему их любить, Александру Васильевичу? Чужие они были, чужие и останутся. Ходят, ходят разговоры, что выселят их всех подчистую из Москвы и области, из столиц республик и городов-героев. Вот и пора! Пускай поработают, а то разжирели на народной крови, как клопы. А попередохнут с непривычки — что ж поделывать! Чем меньше евреев, тем меньше с ними неприятностей.

Нет, Александр Васильевич евреев не любил.

Что касается Ашкенази, то он вовсе не злорадовал по поводу их ссылки. Какой там! Он даже испытывал к ним своего рода нежность: как-никак, они ведь уступают ему долгожданную квартиру, и его широкая двуспальная кровать, быть может, будет стоять там, где спала до сего дня эта красивая еще еврейка или этот вот чернявый худой мальчонка.

Они — эти отправляемые в ссылку евреи, и он, Александр Васильевич Громов, отныне как бы связаны незримо, но прочно. Придя к такому неожиданно выводу, Александр Васильевич не сдержал ухмылки.

— Вот, значит, Ашкенази, — произнес Громов, мягко похлопывая ладонью по настольным бумагам. — Так что решением Особого совещания от 22 января 1953 года вы осуждены на десять лет ссылки в отдаленные районы Казахской Советской социалистической республики с конфискацией всего имущества. Как члены семьи изменника родины, — веско, парадным голосом добавил полковник.

— Что? — после короткой, мертвой паузы спросила близорукая старуха Гита.

— А то, что слышали, — пояснил Александр Васильевич. — Сдавайте паспорта, граждане. Кто будет Марьяма Марковна?

— Мирьям Марковна, — поправила сорокалетняя, подходя к столу.

— Паспорт давайте и расписывайтесь, — сказал Громов. — Несовершеннолетний Симон кто будет? Ты? Вот, за него тоже расписывайтесь. А как ему шестнадцать лет исполнится, так он сам будет расписываться.

— Нас освободят, — быстро сказала Мира. — Нас освободят, это ошибка. И почему вы ребенка...

— Пререкания отставить! — прерывая, возвысил голос Громов. — Я запрещаю вам обсуждать решение ОСО! Ясно? Давайте паспорт и расписывайтесь. Вы здесь не одна!

— Куда нас отправляют? — спросил Ефим, подходя к столу вслед за матерью.

— Расскажут, расскажут! — пообещал Александр Васильевич. — Все вам расскажут. Время придет — и расскажут.

— Что? — вдруг снова спросила старуха Гита, прикладывая ладонь к уху. Она ожидала ответа, лицо ее было напряжено.

— Ничего, — миролюбиво сказал Громов. — Это

сестра его, — Громов заглянул в бумажку, — Гита Давидовна? Паспортчек ваш давайте. И вы, племянник, давайте. Ну, давайте, давайте!

— Но у меня бессрочный! — подавая, громко сказала Гита. — Что? И, потом, моя пенсия. Что будет с моей пенсией? Вы же понимаете, я пожилой человек...

Опершись о столешницу, Александр Васильевич улыбался радушно.

— Да какая там пенсия, бабушка, — молвил Александр Васильевич, с сожалением гася улыбку. — Вы — член семьи изменника родины. Что тут вам неясно?

Процедура была закончена.

Семеро — в военном и в штатском — было выделено полковником Громовым для сопровождения семьи Ашкенази к месту погрузки.

— Сюда! — указал одетый в штатское на новенький автобус у подъезда здания РО МГБ.

Следовало еще заехать на бывшую квартиру Ашкенази, захватить кое-какой дозволенный законом домашний скарб.

— Берите, берите! — поощрял старший лейтенант, не назвавшийся. — Подушку эту тоже берите. Вам там все пригодится.

Им было уже сообщено, что направляются они в один из районов Кзыл-Ординской области Казахстана.

Семеро хлопотали. Они удостоверались в целостности печати на двери комнаты, где хранился архив хозяина, проверяли по длинному списку наличие конфискованных предметов: книжных шкафов, пианино, дивана красного дерева старинного и кресел к нему.

— Быстрей, быстрей! — поторапливал одетый в штатское, судя по почтительному обращению к нему прочих — начальник.

— Как нас повезут? — спросила Мира с надеждой. — Мы ведь не арестованные...

— Вам забронированы места в общем вагоне, —

сообщил начальник. — За государственный счет.

— Чемодан берите, — советовал старший лейтенант. — Веревкой перевязать его — и хороший чемодан... И лампочки электрические можете выкрутить, а то понятые все равно заберут.

Понятые — дворничиха и слесарь из домоуправления — топтались в коридоре, наблюдая за сборами. Время от времени дворничиха подходила к Мире и спрашивала жалостливо:

— Чулки старые можно взять? А простынку эту, дырявую? А ботинки — вон те, коричневые?

— Быстрее, быстрее! — поторапливал одетый в штатское, попыхивая папиросой и стряхивая на пол.

Пятеро из семерых ушли. Уходить, оказывается, тоже можно по-хозяйски.

Ефим и Женя, нажимая коленями, увязывали тюк. Это напоминало подготовку к переезду на дачу.

— Галоши вот берите! — рекомендовал старший лейтенант.

— Там же тепло... — сказал Симон.

— Что ж, что тепло! — возразил старший лейтенант. — Не курорт же... Берите, берите!

Неплохой, в принципе, парень старший лейтенант.

Пришла Полина — нянчившая когда-то Симона старушка, горбатая. После ареста хозяина она помогала Ашкенази по хозяйству, живя у своей сестры, одинокой женщины. Полина говорила о чем-то в кухне с дворничихой, плакала. Крупные желтоватые слезы скатывались по крепким щекам крестьянского человека. Полина любила Симона, жалела.

— Что не описано — выносите на лестницу, — покрикивал одетый в штатское начальник. — Сундук, табуретки кухонные, мягкое имущество. Выносите!

Вынесли. Полина села на кухонную табуретку и более не подымалась. В 41 году, в эвакуацию, она так же вот охраняла хозяйское имущество на перроне Казанского вокзала.

— Ну, все, — подытожил начальник. — Поехали. Быстрее!

Последней из квартиры выгнали кошку Шифру.

Кошка боялась на лестнице, рвалась обратно. Полина взяла ее на руки и держала, поглаживая.

Старший лейтенант проверял надежность дверного замка.

— Давай, кончай! — приказал начальник. — Клади печать.

Полина снова заплакала, утирая глаза кончиком головного платка. Освобожденная от ласки, Шифра метнулась с ее колен и проскочила сквозь приоткрытую еще дверь, мимо старшего лейтенанта, в квартиру.

— Шифра! — закричал Симон, бросаясь к двери. — Шифра! Пустите... Она же там умрет!

Старший лейтенант вопросительно взглянул на своего начальника.

— Да ладно, — сказал начальник, застегивая пальто. — Нечего... Закрывай!

Дверь захлопнулась. Круглая металлическая печать в руке старшего лейтенанта коснулась восковой лепешки, оттиснув на ней государственный герб Союза Советских Социалистических Республик.

В автобусе ехали молча.

Когда, переваливаясь на ухабах, въехали во двор товарной станции Рижского вокзала, Мира сказала, ни к кому не обращаясь:

— Куда ж это мы...

Ей никто не ответил.

Пути забиты были товарными вагонами, платформами, цистернами. Начальник в штатском оглядел все это деревянно-железное стадо и проявил беспокойство.

— А ну, останови! — потребовал он у водителя автобуса.

Тот повиновался с безразличием.

Начальник выскочил из автобуса, зашпешил к низкому, красного кирпича зданию. Мелкие оконца здания забраны были железными решетками. Начальник вышел оттуда почти сразу в сопровождении офицера в синей фуражке войск МГБ.

Начальник кипятился, размахивал руками. Офицер виновато объяснял что-то, указывая на заставленный цистернами путь.

— Ушел, — мрачно сообщил начальник старшему лейтенанту, вернувшись в автобус. — На Казанский перегнали... Поехали!

Шофер, не обернувшись, включил зажигание.

Вагон стоял на товарном дворе Казанского вокзала. Увидев его издали, начальник в штатском посветлел лицом.

— Ну, слава богу! — сказал начальник с искренней радостью и как-то по-домашнему. — Пospели...

Шофер подогнал автобус к перрону, поставил его на тормоз и закурил. Посветлевший начальник легко соскочил с подножки и поспешил к вагону. Тотчас же из вагона высыпали трое конвоиров в длинных солдатских шинелях, синеверхих фуражках, с винтовками, переброшенными через плечо. Один из конвоиров был в погонах младшего лейтенанта — надо думать, начальник конвоя.

Вдоль всего вагона, выкрашенного в темно-зеленый цвет, тянулись мелкие зарешеченные оконца.

— Приехали! — сказал начальник в штатском, возвратившись к автобусу. — Выгружайте вещи.

— Вы сказали, нас повезут в общем вагоне, — подошла Мира к начальнику. — Мы не арестованные...

— Так надо, — бросил начальник, обернувшись через плечо, закрытое серым каракулевым воротником. — Выгружайте!

Двое конвоиров поднялись в автобус, и оттуда полетели тюки, узлы, чемоданы. Через несколько минут гряда вещей громоздилась на грязном снегу перрона.

— А ты что это встала, королева! — крикнул начальник конвоя Мире. — Давай таскай!

— Ладно, оставь ее, — негромко приказал начальник в штатском. — Пускай стоит...

Гита вышла из автобуса последней. В одной ру-

ке она несла тощий кожаный портфель, в другой — авоську с большими настольными часами в обшарпанном деревянном футляре.

— Барахло в тамбур ложи! — крикнул начальник конвоя. — Живо, живо! — он, видно, любил покричать и покомандовать, начальник конвоя. Такой уж он был человек — низкорослый, круглолицый, лет 23-х, не более.

Ефим, Женя и Симон вместе с двумя конвоирами перетаскивали вещи в тамбур.

— Ну, все, — сказал начальник в штатском, глядя удовлетворенно. — Размещай.

— А ну, чего встали! — крикнул младший лейтенант. — А ну, пошли!

— Можно нам вместе, — попросила Мира. — Я с детьми...

— Может, тебе отдельную квартиру с сортиром? — пошутил начальник конвоя. — Лезь давай!.. Митрушенко! Баб — в третью, а этих — в седьмую!

— Есть! — откликнулся конвоир Митрушенко. — Иди, иди, бабушка! — подтолкнул он Гиту. — Поехали!

Вдоль всего вагона тянулся коридор, слева от него непривычно было видеть решетчатые двери, ведущие в камеры. На дверях висели большие замки.

Митрушенко отомкнул замок и втолкнул в камеру Миру и Гиту. Множество женщин было набито в ту камеру.

— Сарочки! — услышал Симон, которого проводили мимо, в седьмую. — А где же ваши Абрамчики? — и громкий хохот, очень веселый.

— Тихо, стервы! — гаркнул Митрушенко, поворачивая ключ в замке. — Заткнись, говорю!

А их привели в седьмую. В камере, рассчитанной на восьмерых, теснилось человек двадцать пять. На двух нижних лавках по бокам камеры сидели, на верхних сплошных нарах, устроенных в два этажа, лежали вповалку, дорожа, видимо, местом.

На вошедших внимания не обратили. Они устроились на полу, в узком проходе между лавками.

— Мальчонку бы сюда устроить, — неуверенно предложил кто-то с первых нар, но, не поддержанный, умолк.

Те, что сидели на лавках — по пяти человек на каждой, — почти все дремали, свесив головы на грудь. Один — пожилой, с дубленным широким лицом — насбирав в кармане телогрейки какие-то крошки, аккуратно и с любовью свертывал из обрывка газеты козью ножку. Симон сидел как раз у его ног.

— Ты за что сюда, хлопец? — негромко спросил Дубленый, закурив.

— За отца, — сказал Симон, глядя на Дубленого снизу, искоса.

— А... — сказал Дубленый, бережно выпуская дым. — А отец за что?

— Ни за что, — сказал Симон.

— А... — снова сказал Дубленый. — Политический, значит.

Симону было приятно, что с ним, как с равным, говорит взрослый арестованный человек, но спросить, за что сидит сам Дубленый, Симон все же не решился. Он просто-напросто боялся ответа Дубленого, сидевшего, как предположил Симон, отнюдь не по политической части.

Казахстан с его пастухами и стадами представлялся теперь Симону на редкость счастливым, желанным краем — но краем от начала до конца выдуманым автором учебника географии. И Симон испытывал горячую, отчаянную злобу к человеку, написавшему учебник, и к самому Казахстану — за то, что он не существует на самом деле.

Почувствовав сухой и твердый ком в горле, Симон прислонился к Ефимовым коленям и закрыл глаза. Ефимова рука нашла его плечо и осталась там.

Потом он слышал, как в соседнюю камеру — женскую — привели новых арестованных. Голос Митрушенко называл вталкиваемых: тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть... После того как тридцать шестая протиснулась в восьмиместную каме-

ру, вагон наполнился криком, матом, плачем.

— Хватит! — кричали в соседней камере.

— Куда сажаете?!

— Начальничек, сам лезь!

— Молчать! — пресек Митрушенко. — Больше нету...

Гам понемногу утих, и Симон задремал. Ему было жарко, голова гудела. Не открывать глаза — этого ему, пожалуй, сейчас хотелось более всего.

Вагон куда-то отбуксировали — цепляли, видно, к составу. Потом без спешки, равномерно застучали стыки рельсов под колесами — поехали.

К вечеру конвоиры выводили камерников в уборную.

— На оправочку! — бодро покрикивал Митрушенко. — Кто не хочет — пускай голодный сидит!

Поднимаясь с лавки, Дубленый толкнул Симона ногой и доброжелательно подмигнул ему. Симон улыбнулся в ответ, закачал головой.

— Первые нары, пошли! — позвал Митрушенко, втолкнув Симона обратно в камеру. — По одному!

— Пустите меня! — мучительно попросил кто-то с первых нар. — У меня сердце большое, мне надо...

— Не обос...ся, — немедля решил Митрушенко. — В порядке очереди. Первый!

Просивший застонал глухо.

— Да подожди ты! — урезонивали его соседи по нарам.

— Пиво, что ли, пил? Хы-ы!

Тот все стонал, почти выл, пока не пришла его очередь выходить. Симон смотрел с ужасом, как он, шатаясь, шел по коридору, вцепившись руками в низ живота.

— Ишь ты, — напутствовал его Митрушенко. — Сука вонючая...

Вскоре совсем стемнело, в камере зажегся свет — до утра.

Конвоиры принесли кипяток и по куску черного хлеба каждому. Разговор за едой возник в три слоя: внизу на лавках, на первых нарах и на вторых,

под потолком. Над головой нижних, на первых нарах, тихонько постанывал сердечник.

Дубленый порывлся в карманах, извлек кусок запорошенного черной пылью сахара и, не кроша, разломил его крепкими негнушимися пальцами. Разломив, половину протянул Симону.

— Хрусти, сынок!

— Спасибо.

Глаза у Дубленого были светло-голубые. Нависающие складками подбровья, слабо-кирпичного цвета, закрывали верхние веки, и глаза поэтому казались почти прямоугольными. Из-под подбровий коротко торчали щеточки золотистых ресниц.

— Чего он стонет? — спросил Симон, кивая на первые нары.

— Тоже политический, — объяснил Дубленый. — Большой он. А вертухай, гады, смеются.

По выразительному жесту — Дубленый сжал пальцы в корявый кулак и, согнув руку, приставил локоть к тому месту, откуда ноги растут, — Симон понял, что вертухаями Дубленый называл конвоиров.

— А вы — за что? — решился наконец Симон. Он задал свой вопрос негромко и как бы доверительно, полагая, что причина сидения человека в тюрьме — дело личное, и всякие вопросы на этот счет выглядят бестактно.

— Лошадь у меня была, — с готовностью откликнулся Дубленый, — давным-давно, при царе Горохе. Лошадь у меня отобрали люди добрые, а самого в кулаки записали. Враг советской власти, во как! А из лагеря бежал в войну — поймали, второй срок припаяли. Вот и сижу.

— А овцы у вас были? — с надеждой спросил Симон. — Стадо?

— Ну, это ты хватил, — широко, по-доброму улыбнулся Дубленый. — Стадо! Три овечки у меня было, кабанчик, курей с десятков. Изба была, — все так же улыбаясь, продолжал вспоминать Дубленый, — и хозяйка, и детишки. А корову вот купить не успел —

хотел, да не успел, — с сожалением заключил Дубленый.

Вагон погромыхивал, покачивался. Камерники почти все спали, тесно приваленные друг к другу. Симон хотел было пожелать Дубленому покойной ночи, да тот уже задремал. Симон обернулся к Ефиму, улыбнулся ему, а потом вытянулся в проходе между лавками и, скомкав шапку, сунул ее под голову. Ноги он распрямить до конца не сумел самую малость — они уперлись в решетку двери.

Часа в два ночи он проснулся: сердечник на первых нарах стонал громко, непрерывно.

— Фим... — позвал Симон.

Ефим не спал, прислушивался. Не спал и Дубленый, чадил козьею ножкой, в которой почти не было махорки.

— До ветра ему нужно, — мягко, напевно сказал Дубленый, — а вертухай не пускает.

— Может, постучать? — спросил Ефим, кивая на решетчатую дверь.

Дубленый, пожав плечами, наклонился вперед и влево и, схватившись за прут решетки, сильно затряс дверь. Митрушенко явился после повторного стука — заспанный и сердитый.

— Чего надо? — вглядываясь в камеру, гаркнул Митрушенко. — Кто орет?

Дубленый сидел смирно — не он вроде бы и стучал. Симон, сидевший на полу близко к двери, глядел на Митрушенко с вызовом, но тот и не думал обращать на него внимания.

— Чего орешь? — уже с угрозой сказал Митрушенко, заглядывая на первые нары.

Стоны прекратились.

— Мне нужно выйти, — с отчаянием унижения попросил тот, с первых нар. — Я болен. Мне нужно в уборную...

— Да ты кто такой? — вздернув редкие, почти незаметные на лбу бровки, изумился Митрушенко. —

Царь ты, что ли? Подождешь до утра... А будешь орать – в Куйбышеве в карцер пойдешь!

Митрушенко ушел. Сапоги его протопали по коридору возмущенно.

Тот, с первых нар, снова застонал. Его увещевали вполголоса:

— Да кончай ты!

— Терпи...

— Спать-то дай людям.

— Мне надо выйти, — в перерывах между стонами твердил тот. — Мне плохо, мне надо выйти!

С ним не спорили, не разубеждали.

Дубленый как раз докурил свою козью ножку, когда по стене, заливая лавку, побежала струя мочи. Люди вскакивали с лавки с криком и бранью. Камера сверху донизу наполнилась плотным шумом.

На шум прибежал Митрушенко.

— Ложись! — заорал он, стуча прикладом карабина об пол. — Ложись, гады!

Прибыл и начальник конвоя, младший лейтенант. Возбужденно, зло объяснили им, в чем дело.

— Хулиган какой! — посетовал Митрушенко. — Такого проучить надо...

— Наручники на него надеть за нарушение дисциплины, — приказал начальник конвоя и вернулся в свое купе.

Молча, угрюмо глядели камерники на то, как Митрушенко выполнял приказ своего командира.

Потому как наручники были с секретом — как только закованный шевелил руками, стальные браслеты сужались, впиваясь в кисти.

Глядя на заковывание, Симон, к собственному удивлению, потрясения не испытал. Дубленый, что ли, действовал на него успокаивающе... До этой ночи Симон не предполагал, что распространенное политическое понятие "заковать" имеет конкретное выражение. Если бы позавчера, ну, скажем, Егор Голованин поделился с ним такой новостью, он, пожалуй, не поверил бы. Наручники, ручные кандалы... Лю-

дей сажают в тюрьму неизвестно за что, расстреливают. К этому уже привыкли, это не вызывает ни у кого удивления. Вот если бы всех невинных людей в один прекрасный день взяли и выпустили на свободу — это удивило бы и изумило. Это резко вышло бы за рамки привычного и обыденного, и всякий здравомыслящий человек с советским паспортом в кармане призадумался бы над тем, какими новыми бедами грозит ему этот необъяснимый акт милосердия... Но наручники! Неужели стальная сталинская система не в силах обойтись без стальных браслетов? Не может этого быть!

Камерники спали беспокойно, то и дело шевелились, бормотали. В третьем часу ночи закованный снова застонал, и стон его был хрипл и прерывист. Соседи не трогали его, оставили в покое. Около пяти он замолчал. Внезапная тишина не принесла, однако, облегчения.

— Чего это он молчит? — спросил Дубленый, ни к кому в отдельности не обращаясь. — А ну, ребята, толкни его!

Его толкнули. Он был мертв.

На сей раз решетчатую дверь трясли с робостью, словно бы боясь потревожить умершего. Явившийся Митрушенко также не кричал и не шутил. Посоветовавшись о чем-то с начальником конвоя, он отомкнул дверь камеры и, распялив руки, принял с первых нар тяжелое болтающееся тело. Пришел второй конвоир, и они вдвоем поволокли труп в тамбур — туда, где свалены были вещи Ашкенази.

В камере случившееся на обсуждали. Сосед Дубленого, кряхтя, полез на первые нары, на освободившееся место. Дубленый молча толкнул Симона ногой, указал глазами на желтую дольку лавки рядом с собой. Симон понял, поднялся с пола, сел.

В вагоне царила напряженная тишина ночного леса. Изредка налетал и оставался позади высокий, вибрирующий гудок паровоза.

3. ПРОСТОР ЗЕМЛИ

Полустанок ничем не отличался от прочих многочисленных полустанков, к которым, по мере приближения к югу Казахстана, молча, с тревогой и надеждой присматривались Ашкенази сквозь зарешеченные оконца вагона ЗАК. Они не делились друг с другом результатами своих наблюдений, потому что ничего отрадного результаты в себе не содержали. Восточнее Аральского моря плоская, как фанера, степь приобрела оттенки лунного пейзажа. Вихрь гнал над нею пыль с песком, и мутно-серая эта пелена сворачивалась то в кривые движущиеся трубы, словно бы соединяющие землю с небом, то бесформенно расплывалась. Редкие поселки, ничтожные на голом, огромном просторе земли, состояли из убогих глинобитных кибиток с плоскими, глинобитными же кровлями. Вокруг кибиток во множестве возились дети, одетые пестро и рвано. Когда поезд проходил мимо, они все, как по команде, поворачивались к нему и прощально махали руками, как будто от этого привета хоть кому-нибудь станет лучше и на чьей-нибудь душе посветлеет... А матери этих добрых

детишек — плосколицые казашки, повязанные белыми платками, — приходили на полустанки, торговали кислым молоком, вяленой рыбой, шерстью и — из-под полы — каракулем. Заключенным, естественно, запрещено было вступать в контакт с торговками.

Симон с жадностью вглядывался в лица обитателей степи. Он испытывал к ним необъяснимое влечение. Он даже завидовал им: они жили в грязных кибитках на великом просторе земли, под круглым белым солнцем, они следовали за своими стадами на крепких толстошеих конях — и не видели в этом ничего из ряда вон выходящего и заслуживающего особого внимания.

Что касается стада — здесь Симон немного преувеличивал. Всего два раза видел он чабанов в степи, да и то очень далеко от железной дороги. Но весь тот день до темноты с жадностью и отчаянным терпением глядел он в оконце, мечтая о том, что вот сейчас совсем рядом с насыпью появится в облаке пыли большое стадо овец и человек верхом на лошади или, еще лучше, на верблюде. Невольно вписывал он в эту картину и себя самого, и получалось в общем-то неплохо: он, Симон, вооруженный длинным посохом, со знанием дела наводит порядок в самой круговерти стада. Ему, конечно, нельзя сказать как хотелось увидеть себя верхом на коне — но он с сожалением и горечью сознавал, что коня он вряд ли получит, а на ишака он не желал садиться ни в коем случае. И вот он следовал за овцами пешком, с длинным посохом.

В тот день он чабанов так и не увидел, а наутро они приехали.

Итак, этот полустанок ничем не отличался от прочих. Примерно за час до прибытия начальник конвоя сообщил им, что они подъезжают и что называется полустанок Джеты-Су. Название полустанка Симону очень понравилось.

Сразу вслед за сообщением начальника конвоя в камере, куда Ашкенази перевели после Куйбышева, возникла суета, хотя суета скрытая и скованная: все оставались сидеть на своих местах. Женя без конца по-

тирал руки, словно бы смывал мыло под струей воды, Гита рылась в своем портфеле, не извлекая оттуда, однако, на свет божий ни одного предмета. Затем она запихнула часы в авоську и, вжавшись в угол, застыла — только седая ее голова время от времени покачивалась независимо от совершенно неподвижного тела, да на лице возникали мучительные гримасы недоумения.

— Надо приготовиться, мальчики, — повторяла Мира. — Сколько, интересно, он там стоит? Надо успеть сгрузить вещи...

Ей не отвечали, охваченные этой самой внезапно нахлынувшей внутренней суетой. Вот сейчас им предстоит уйти из вагона, к стенам которого уже успели привыкнуть. Стены, по крайней мере, защищали от холода и в совокупности своей представляли нечто подобное жилью. А что ждет их на полустанке Джеты-Су? Как отнесутся к ним, ссыльным Ашкенази, вольные казахи? Где они будут жить? Где они, если не заглядывать так далеко вперед, проведут сегодняшнюю ночь?

Эти вопросы в большей или меньшей степени занимали всех — кроме Симона. Симон был еще слишком юн для того, чтобы всерьез думать о хлебе насущном. До сих пор, во всяком случае, ему не приходилось в поте лица своего добывать этот так называемый хлеб, который является, собственно, хлебом в самой малой степени, но включает в себя картошку, мясо, одежду, квартплату и многое, многое другое. Его мать, Мира, сразу после ареста отца занялась вязаньем кофт и шапок для продажи, а последний год подрабатывала еще и тем, что читала книжки слепой жене какого-то престарелого академика. Слепундра была женщина идеологически устойчивая и требовала от Миры чтения романов Кочетова, Кожевникова и Бубеннова. Мира читала, не выпуская спиц из рук, хотя старуха и протестовала против того, чтобы Мира занималась двумя делами сразу. Старуха была всецело правильная женщина, хотя и слепая. Слепота помогала ей укреплять в себе свою правильность.

Вносил свой вклад в бюджет семьи и Ефим: заканчивая университет, он давал уроки английского и французского языков и тем зарабатывал. Школьник же Симон начисто был избавлен от забот о хлебе насущном.

Теперь, подъезжая к полустанку Джеты-Су, Симон испытывал безотчетную радость от предстоящей ему новизны жизни и еще, несомненно, оттого, что можно будет, наконец-то, выбраться из этой омерзительной тюрьмы на колесах, обменяв ее на пока еще неведомую, но, несомненно, более просторную ссылку среди степных казахов. Чем ближе подъезжал Симон к объявленному уже Митрушенко и потому обретаемому отворотительную конкретность Джеты-Су, тем милее и наивнее казалась ему нарисованная им накануне картина: он, Симон, с посохом среди стад. О действительной своей будущей деятельности во имя хлеба насущного на полустанке Джеты-Су Симон подумывал с небрежностью, как бы о навязываемой ему против его воли новой игре. Он, однако, был твердо уверен в том, что сумеет прокормить себя и не стать таким образом обузой для семьи в новом ее положении. Подъезжая к Джеты-Су, Симон не испытывал ничего похожего на грусть. Ему, наоборот, беспричинно хотелось смеяться, смеяться втайне от других. Понимая неуместность такого необъяснимого смеха, Симон с трудом сдерживал себя. Он был возбужден необычайно. Ему хотелось смеяться, глядя на пальцы придорожных столбов. Чтобы не рассмеяться и не обнаружить себя, он сжимал лицо ладонями. В глубине души он сознавал не без тревоги, что с ним происходит что-то не то, — но он не научился еще анализировать причины своего состояния и никогда бы не согласился отнести его за счет нервов. Расшатанные нервы — в этом было скрыто для мальчика Симона что-то постыдное.

Минут за пять до Джеты-Су Митрушенко выпустил Ашкенази в тамбур.

— Одну минуту стоим, — предупредил Митрушенко, — так что давайте быстро... Эй, Митин!

Прибежал конвоир Митин.

— Вещи им поскидаешь на перрон, Митин, — приказал Митрушенко.

Как только поезд начал торможение, в тамбур прибыл командир конвоя, старший лейтенант. Осмотрев Ашкенази и их вещи, прибывший произнес заученно:

— По прибытии на место ссылки вы обязаны явиться в РО МГБ для регистрации и получения документов взамен паспорта. Ясно?

Не дожидаясь ответа на свой вопрос, командир конвоя отбыл обратно в вагон.

Поезд тем временем остановился, и Митрушенко отворил дверь. Свежий, острый воздух без помех ворвался в тамбур.

— Давай, сыпь! — отчего-то радостно напутствовал Митрушенко, подталкивая ссыльных к ступенькам. — Давай, Митин!

Вдвоем с Митиным они резво выкинули вещи Ашкенази из тамбура на землю. Паровоз загудел.

— Вещи в станцию волоките, — прокричал Митин на прощание столпившимся Ашкенази, — а сами идите квартиру искать!

То был добрый, дельный совет.

Полчаса спустя Ашкенази шли по центральной улице поселка — Вокзальной. Улица эта брала свое начало у железнодорожной станции, а заканчивалась — точнее, терялась — в прибрежных камышах реки Сыр-Дарьи. О таком удивительном завершении Вокзальной улицы Ашкенази ничего еще не знали, поскольку они только-только вышли из здания станции и, идя неторопливо, миновали какой-нибудь десяток домов. Улица была необычайно широка; ширину ее подчеркивали крохотные глинобитные домишки, низкие, обнесенные глухими дувалами. Асфальт не обременял эту начисто лишенную какой-либо растительности улицу, и глубокие ямы и колдобины были прихотливо разбросаны по ее поверхности. Автомобили, видно, были здесь случайными гостями.

Да и прохожих людей почти не попадалось. Те несколько казашек, что встретились им, с любопытством разглядывали нестарую еще цигейковую Мирину шубу и обсуждали что-то на своем языке. Цигейковая шуба, надо полагать, вызывала удивление казашек.

Было довольно тепло, и Симон расстегнул пальто. Он обогнал мать и братьев, шагал впереди.

— Сима, не беги так! — окликнула Мира. — Ну, что вы скажете, мальчики? Здесь, по-моему, не так плохо...

— Ага, — сказал Симон, не замедляя шага.

— Куда, интересно, люди все подевались? — Женя покрутил головой, словно бы надеясь разглядеть людей на пустой улице.

— Работают, — пожал плечами Ефим. — На работе, наверно.

Они шли на улицу Казахскую, четвертую налево, если подниматься по Вокзальной. Там, на Казахской, сдавал квартиру русский старик по имени Сергей Васильевич Утюгов. Адрес Утюгова дал Мире начальник станции, тоже русский, проживающий по соседству с Утюговым.

— Мы ссыльные, — сказала Мира начальнику станции, медля и не записывая адрес. — Может, он не захочет сдавать нам...

— Это почему, — безразлично возразил железнодорожник. — Он и сам, кажется, спецпоселенец... Да здесь, в Джеты-Су, почти что все — ссыльные! Так что идите смело.

Они почти уже дошли до Казахской, когда крупный камень, брошенный кем-то из-за дувала, упал на сухую, глинистую землю у их ног. За первым последовали другие, много. Некоторые достигли цели. Ефим, закрывая мать, схватился за разбитую скулу. У Жени повисла рука — камень ударил его в плечо.

Они побежали, свернули на Казахскую. Вдогонку им свистели, смеялись.

Они быстро, не оборачиваясь, шли по узкой Казахской улице.

— Больно, сынок? — спросила наконец Мира.

Ефим улыбнулся ей, и тогда она заплакала, не морща лица.

Симон шагал впереди, грыз губы, морщил лоб с короткими черными бровями.

– Он глуховат, – сказала Марья Петровна, жена Утюгова. – Так что вы со мной договаривайтесь. Да вы проходите в залу!

Глуховатый Сергей Васильевич принес свежеструганые белые табуретки, и все расселись вокруг стола, крытого полотняной, с яркой вышивкой, скатертью. Ашкенази молчали, наслаждаясь видом этой чистой белой комнаты, с фикусом в кадке, с крахмальными занавесками на окнах. Стены этой комнаты – надежно ли, ненадежно – защищали их от камней, от издевательств, от смеха. Здесь было тепло и тихо, и не хотелось нарушать тишину.

– Вы ссылочники будете? – наклонив голову и часто, доверительно моргая, спросила Марья Петровна.

– Да, – сказала Мира. – Мы ссыльные, нас только что привезли.

Привычным, видно, жестом Марья Петровна поднесла краешек синего передника к сухим глазам.

– Скольким людям жизнь сломали! Моего-то тоже в кулаки записали, да в тюрьму, а потом сюда ссылочником. А вы издалека ли?

– Из Москвы, – сказала Мира. – Мы бы очень хотели у вас здесь поселиться, пожить. Мы заплатим, сколько вы скажете.

– Живите на здоровье! – всплеснула руками Марья Петровна. – О цене договориться успеем... Да что ж это я – вы ж с дороги! Я вам молочка сейчас принесу – корова-то своя – и хлеба свеженького. Сергей Васильевич, поговори пока ты!

Сергей Васильевич, сидевший до этого в стороне, шумно придвинулся к столу и, выловив в почти пустой смятой пачке короткую папиросу, закурил и затянулся глубоко.

– Махорку мне старуха курить не дает, – объяснил

он, покашляв мягко и приятно. — Говорит — весь дом провонял. А как я на рыбалку соберусь — всегда махорку эту с собой беру. Рыба-то здесь на протоках хороша — сом, да жирный. Вы сома-то кушаете?

— Кушаем! — громко, взрывчато сказал Ефим, и все заулыбались, засмеялись.

Улыбался, неторопливо выпуская дым изо рта, и Сергей Васильевич. Он поочередно, подолгу останавливая на каждом доброжелательный и беззастенчивый взгляд, оглядел новых своих жильцов. Голубые его глаза под неподвижными седыми бровями были старчески ясны. Крупное лицо, словно бы собранное из несложных, но с любовью сработанных деталей, было выбрито гладко до блеска. Густые нечесанные волосы, серо-седые, обильно покрывали голову. Бумажный, выцветший по швам пиджак туго обтягивал широкие, массивные плечи старика. Коричневые, корявые руки ремесленника далеко вылезали из коротких рукавов.

— Хорошо, раз кушаете, — удовлетворенно сказал Сергей Васильевич, закончив осмотр. — А то есть, которые не кушают... Вы какой нации будете?

— Евреи, — сказал Ефим.

— А? — придвинулся к нему старик. — Ты погромче, сынок, — глуховат я.

— Евреи мы! — прокричал Ефим. — Понимаешь — евреи!

— Ну, что ж, — сказал старик, медленно пожав плечами. — Ничего... Я одну вашей нации знаю, защитница она, хорошая женщина. Рахили Львовна ее звать. Защитница!

У Миры отлегло от сердца. Действительно, чудный старик! С какой бы стати ему связываться с евреями, да еще ссыльными? И что бы они сейчас делали, если бы он выставил их за дверь этой чистой, теплой, уютной комнаты? Она хотела расспросить старика о защитнице Рахили Львовне, но не успела: вернулась Марья Петровна с бидоном молока, буханкой хлеба и пятком яиц.

— Кушайте, — сказала Марья Петровна, — да отдыхайте с Богом. А вещи-то ваши где?

— На станции остались, — сказала Мира, — у вашего соседа.

— У Кольки! — воскликнула Марья Петровна. — Пускай полежат. Сергей Василеч ишачку запряжет да поедет съездит за ними.

— Можно я тоже поеду? — Симон смотрел на Марью Петровну умоляюще. — Я помогу... Можно?

— Да он и сам бы управился, — сказала Марья Петровна. — А хочешь — ездай с ним.

Не реагируя на беспокойные взгляды матери, Симон передвинул свою табуретку и уселся рядом с Сергеем Васильевичем.

— Может, тебе поехать? — вполголоса спросила Мира, повернувшись к старшему сыну. — Там же хулиганы...

— Он хочет сам, — сказал Ефим, подмигивая брату. — Пускай едет.

Посидев недолго, Сергей Васильевич поднялся.

— Он с тобой пойдет! — кивнула Марья Петровна на Симона.

— Пускай, — согласился Сергей Васильевич.

Позднее солнце густо-желто освещало двор Утюговых. Вся площадь двора была чисто, усердно метена — от дувала до крыльца, от сарая до верстака под навесом, где столярничал хозяин. Все до последнего предмета, бывшие на дворе, расставлены были и развешаны по своим специальным местам. Этой внушающей робость аккуратностью двор походил, наверно, на прежнее, российское хозяйство Сергея Утюгова — а больше ничем: хозяйственные постройки и сам дом сложены были из необожженного глиняного кирпича, в России непринятого.

Зайдя в сарай, Сергей Васильевич выволок оттуда рослую, гладкую ишачку по имени Зинка.

— У, чертова сволочь, задремала! — проворчал Сергей Васильевич, скрывая ласку. Ишачка, впрочем, и не думала дремать.

Размеренными, эконоными движениями старик за-

прыг Зинку в двухколесную тележку. Боясь помешать и быть оставленным дома, Симон наблюдал за работой старика со стороны.

— Эй, малый, оглоблю поддержи! — сказал Сергей Васильевич, оглядываясь. — Как тебя звать-то?

— Симон, — сказал Симон, подходя.

— Семен, значит, — решил старик. — Вот здесь держи!

Симон держал, счастливый без оговорок. Он запрягал! Ну, хорошо, хорошо — он почти запрягал. Помогал же он запрягать, в конце концов! Если бы его помощь не требовалась, Сергей Васильевич не позвал бы его. Он смотрел на глухого старика, как смотрит новобранец на прославленного командира кавалерийской дивизии. Сейчас они сядут в тележку и поедут. Именно сейчас, может быть, начнется для него, Симона, настоящая жизнь, жизнь человека земли, подчинившего своей воле животное. Человека земли... И вдруг Симону представилось, что земля эта — его земля, что в конце Вокзальной улицы течет в высоких камышах Иордан, что все люди вокруг него — евреи и что даже глухой Сергей Васильевич Утюгов, бывший кулак, закуривший-таки, наконец, свою махорку — тоже еврей, и все они, таким образом, близкие друг другу люди, связанные между собой навсегда... Все это Симон представил себе совершенно отчетливо, он это увидел где-то в глубине самого себя, и взгляд его, смягчившийся и вдруг заживший своей особой, обособленной от лица и всего тела жизнью, не различал теперь оглобли и двора за ней.

— Давай, выводи! — не оборачиваясь, сказал Сергей Васильевич.

Еще улыбаясь, Симон тяжело повернул голову и с нежностью, с проходящей болью поглядел на седой затылок хозяина, на его жилистую шею с болтающимися складками темно-красной пористой кожи, свободно лежащей на синем воротнике пиджака.

— Садись! — сев в тележку, позвал старик. — Поедем...

— У нас здесь, в Джеты-Су, кого только нет! — рассказывала Марья Петровна. Она рассказывала, повествовала со спокойной улыбкой, словно бы надетой на ее лицо. — И русские, и хохлы, и корейцы, и греки, и чечены... — загнув все пять пальцев левой руки, она чуть помедлила, потом разжала кулак, плавно махнула рукой и продолжала: — и турки есть, и казахи эти, и один даже итальянец есть.

— А сколько здесь всего народу? — спросил Женя.

— Да кто его знает! — протянула Марья Петровна. — Тысяч десять, говорят, наберется. Чеченов-то нагнали много, да они многие померли. Раньше-то они жили в лесу, а здесь — песок. Вот и померли... Чечены эти — страсть какие!

— А что? — поинтересовался Ефим.

— Как что?! — негромко всплеснула руками Марья Петровна. — Бандиты они все как есть! Чуть что — ножиком пырнут, а потом ищи-свищи. Вон, — Марья Петровна коротко кивнула в сторону окошка, — Усам у них есть — самый разбойник. Таких же смертоубийцев собрал — и в степь. Там и живут, людей грабят да убивают.

— Как убивают? — переспросила Мира. — А почему же их не поймают?

— Руки коротки поймать-то! — объяснила Марья Петровна. — Усам — атаман-то — в степи, как в доме родном: к кому ни заедет — там ему и обед, и постель.

— И давно он там, в степи? — любопытствуя и не веря, спросил Ефим.

— С полгода уже, — сказала, вздохнув, Марья Петровна. — Сколько людей побил...

Ашкенази переглянулись подавленно. Хорошее место Джеты-Су, ничего не скажешь. Только Гиту, казальсь, ничуть не волновала история об атамане Усаме.

— А греки — те тихие, — продолжала Марья Петровна. — Они чего? Сухофрукту продают, шерсть. Один вон фотографию открыл. И корейцы тоже хорошие, чисто живут. А чеченов все боятся, разбойников!

— А здесь есть магазин, почта? — спросила Мира.

— А как же! — успокоила Марья Петровна. — Обязательно... И сельмаг есть, и баня, и керосиновая лавка. Товару, конечно, маловато — но есть. Одеяла вот каневые никак я не достану, — она со вздохом поглядела на широкую металлическую кровать с высокими, унизанными никелированными шариками, спинками. Кровать эта с непременно подушечками, сложенными пирамидой, заслана была стареньким, застиранным тканевым одеялом.

— Мы можем выписать из Москвы, — предложила Мира. — Как, вы говорите, называется это одеяло?

— Каневое! — по-хорошему оживилась Марья Петровна. — Вот здорово бы, честное слово! Ага!

Женя вытащил из кармана записную книжку, записал, как называется одеяло.

— А этот... — сказала вдруг Гита, оборотясь к Марье Петровне. — Как вы сказали, его зовут...

— Кто? — с готовностью подалась к Гите хозяйка. — Который?

— Ну... хм... разбойник.

— Усам-то?

— Да, да... — неизвестно чему улыбаясь, затрясла головой Гита. — Это серьезно?

— Ну, как... — рассудила Марья Петровна. — Разбойник же! Вы в степь далеко не ходите.

— Кто вам сказал, или я собираюсь идти в степь? — пожала плечами Гита. — И что мне надо идти в степь?

— Да нет, — объяснила Марья Петровна. — Я ж не говорю... Я просто говорю, что если вы, к примеру, пойдете в степь...

— Но кто вам сказал, или я собираюсь идти в степь? — повторила Гита, обращаясь на сей раз к Ашке-нази. — Странная женщина! — и Гита, подчеркивая свое удивление Марьей Петровной, развела руками.

Марья Петровна слегка опешила.

— Да вы ж сами говорите, — пока все так же доброжелательно сказала Марья Петровна. — Усам этот, чечен — он опасный или не опасный. Вот я и говорю: если вы — одна, конечно, без мужиков — пойдете в степь...

— Нет, вы посмотрите только на эту женщину, — опять обращаясь к Ашкенази, перебила Гита. — Что с ней такое? Или я пойду в степь... или я не пойду в степь... Боже мой!

— Гита, прекратите... — прошептала Мира. — Прекратите!

— Да я ж хочу объяснить как лучше, — слегка уже обиженно сказала Марья Петровна. — Я ж не говорю, что вы обязательно пойдете в степь. Вон, прямо за Вокзальной тугай начинаются. Вам даже туда и не надо, а вы случайно взяли и зашли в тугай.

— Что это — тугай? — поинтересовалась Гита.

— Да камыш! — пояснила Марья Петровна.

— Чтобы я пошла в камыш?! — воскликнула Гита. — Но мне не надо ни в какой камыш!

— Ну, не надо — и не ходи, — не выдержала, наконец, хозяйка и, поднявшись с табуретки, пошла к двери. — Сама спрашивает, а сама говорит. Я ей про Фому, она мне про Ерему. Чего тогда спрашивать?

— Послушайте, Гита, — сказала Мира, когда дверь за хозяйкой закрылась. — Я вас убедительно прошу: ни о чем не спорьте с хозяевами.

— Почему я не могу говорить? — спросила Гита с вызовом.

— Потому что мы останемся без угла, этим все кончится. Они гои, деревенские люди. Вы говорите на разных языках.

— Тогда мне не о чем с ней говорить, — заявила Гита. — И имейте в виду, Мира: с вами я тоже не имею общего языка. Я собираюсь снять комнату отдельно. Мне нужна светлая комната, с удобствами. Покоя нет, покоя нет, покоя нет... — и Гита, поджав губы и словно бы окаменев, уставилась в окно.

— Ну, что ж, мальчики вам помогут, — сухо сказала Мира.

— У, чертова сволочь, задремала! — время от времени замечал Сергей Васильевич, охлестывая ишачку. Ишачка Зинка трусила по дороге, и безрессорная те-

лежка бойко подпрыгивала на кочках. Сергей Васильевич сидел на дне тележки, вполоборота к Симону, устроившемуся сзади. Симон вдруг вспомнил, что он однажды уже катался на ослике – давным-давно, в Москве, в зоопарке. Он вспомнил это катанье удивительно отчетливо: сначала он долго стоял в очереди и ел мороженое, потом его подняли и посадили в тележку вместе с другими детьми, и ослик побежал по кругу, и звенели бубенцы, прицепленные к дуге... И вдруг воспоминание пресеклось словно отрубленное: он забыл, кто – папа или мама – посадил его в тележку, кто привел его тогда в зоопарк. Он мучительно сморщил лицо и зажмурился, пытаясь увидеть на этой поразительно четкой и близкой картине, кто же – мама или папа – был с ним тогда, – но видел только себя, и ослика, и бубенцы, болтающиеся на дуге. И поняв, что ему не вспомнить и не увидеть самого для него сейчас главного, он открыл глаза и досадливо потрянул головой. Это ставшее самым главным и существенным отодвинулось неудержимо за спины людей, облепивших барьер круга для катанья, людей, чужие лица которых он мог разглядеть без всякого для себя напряжения и труда – и он побоялся вспоминать дальше.

– Значит, московские вы, – сказал Сергей Васильевич, чуть обернувшись. – Хорошо...

– Московские, – подтвердил Симон. – А вы тоже из России?

– Да, был я в Москве, – не услышал Сергей Васильевич. – Еще в ту войну, в первую. Здо-оровый город.

– Чего там, – сказал Симон. – Жить везде можно.

– А? – переспросил старик. – Ты погромче.

– Большой, говорю, – повторил Симон.

– Как не большой! – мельком обернулся старик. – Столица... Сталина-то видал?

– Не, – покачал головой Симон. – Не видал.

– А чего на него смотреть... – проворчал старик, охлестывая. – У, чертова сволочь, задремала!

Симон промолчал. Он не собирался пускаться со ста-

риком в разговоры о Сталине. Он, пожалуй, не мог бы припомнить ни одного случая, чтобы он говорил с кем-либо о Сталине. Ну, может, только с Егором — да и то не называя это имя, а упоминая его в третьем лице: "он", машинально подымая при этом подбородок и взглядывая в потолок или — если они были на улице — в небо. Симон не мог представить себе Сталина как человека — с руками и с ногами, с усами, во френче и даже в нательной рубаше. Сталин являл для него сгусток злой воли, на которую простое человеческое слово и стремление не оказывают никакого воздействия, — нечто абстрактное, не имеющее ничего общего с живыми людьми, испытывающими радость или боль. Симон — спроси его кто-либо — не мог бы сказать, что он ненавидит Сталина, потому что к этому абстрактному нечто он не в состоянии был приложить свою ненависть. И ненависть, не находя покуда для себя выхода и мишени, бродила и клокотала в его неокрепшей еще и незаостренной, а потому бестолковой душе. Сам он разобраться в своей душевной сумятице и беспорядке не умел, а взрослые люди, любящие его, откладывали это ответственное и требующее немало мужества дело до более подходящего, но неопределенного времени, справедливо считая младшего Ашкенази ребенком. Да он и был ребенком, но темная стена, глухо отделявшая его от столь привлекательного мира взрослых и только-только начавшая светлеть, вдруг стремительно и опасно истончала. Теперь она могла истаять окончательно и исчезнуть — но могла и лопнуть, и тогда ее осколки неизбежно изрезали бы и изранили Симонову неогрубевшую душу. И это было бы для него травмой опасной и неизлечимой. Но он не догадывался и об этом.

Он ехал на станцию за вещами, выброшенными из тюремного вагона и оставленными на время у Коли, соседа Сергея Васильевича Утюгова.

Коля, железнодорожник, встретил их по-приятельски.

— Сам глухарь приехал, — подмигнув Симону, ска-

зал он не очень громко. — Сговорились, что ли, квартировать?

— Сговорились, — подтвердил Симон, поскольку старик молчал и никак не реагировал на слова своего соседа. Симону было неприятно, что веселый Коля обозвал старика глухарем. Судя по сердитым взглядам, которые исподлобья метал в Колю Сергей Васильевич, он все же кое-что слышал из того, что говорили при нем, не повышая голоса.

— Ну, где вещи-то ихние? — спросил старик, вылезши из тележки. — Давай, что ли, — чего языком трясти...

— А в кладовке, — сказал Коля. — Ступай да бери — открыто.

Почувствовав, верно, обиду старика, Коля уселся на ступеньку станционного крыльца и принялся грызть семечки, смачно сплевывая черную лузгу. Насмотревшись, как старик с Симоном таскают вещи, он присоединился к ним со словами:

— Каши мало ели... А ну, взяли!

Тележка затрещала под тяжестью сундука, и ишачка попятилась назад.

— У, чертова сволочь, задремала! — с удовольствием укорил ишачку Симон, и Сергей Васильевич посмотрел на него одобрительно.

— Она ничего, — сказал Сергей Васильевич, слегка налегая на ишачку плечом. — Крепкая... Узел твой, что ли? Клади да поехали.

Дома ничего не распаковывали, развязали только узел с постельным бельем. Устроились на ночь, втайне друг от друга надеясь, что утро принесет облегчение, чтонибудь изменится к лучшему, что-нибудь встанет на свои новые места.

Утро случилось ровное, прозрачное насквозь. Солнце было огромное, резко очерченное; восходя к зениту, оно словно бы мягко покачивалось на своем пути. Голая до самого горизонта земля и это покачивающееся восходящее солнце подчеркивали огромность друг

друга перед человеком и жалкое, теплое ничтожество горстки домишек, неряшливо разбросанных по простору земли, носящей здесь имя Джеты-Су.

Утро принесло Ашкенази новые известия: начальница РО МГБ зовут майор Габидулин, а его заместителя – майор Жаманов. Баня работает три раза в неделю – утром для женщин, вечером для мужчин. Водопровода или колодца в самом поселке нет – воду возят торговцы за три километра и продают поведерно. Ашкенази покупать воду у торговцев нет нужды, так как Симон может ездить за нею на Зинке и обеспечивать весь дом. Первую поездку решено было не откладывать: Сергей Васильевич обещал научить Симона запрягать и сам собирался съездить с ним за водой еще до обеда.

В ожидании этого дела Симон вышел на улицу, дав матери обещание не уходить далеко от дома.

Как и вчера, улица была пустынна, почти мертва. Собственно, улицей ее нельзя было и назвать; то была дорога, не ограниченная тротуарами. Симон не спеша шел по середине этой широкой желтой дороги, упиравшейся, как сказано было вчера Марьей Петровной, в тугай с протекавшей в них рекой. Дома по обочинам дороги походили друг на друга: плоские кровли, высокие дувалы с воротами. Между деревянными столбами, врытыми вдоль дороги, провисали электрические, а может иные какие-либо, провода. Людей почти не было, а те несколько, что встретились Симону, прошли мимо, не проявив к нему ни малейшего интереса. С таким же безразличием медленно бежали по дороге крупные толстоногие собаки. Глядя на них, можно было предположить, что бежали они просто так, без всякой цели.

Уже на окраине поселка Симона догнал высокий молодой чечен в коричневой каракулевой шапке. Бежать от чечена Симону было некуда, и спастись ему было негде. Поэтому он остановился, испытывая страх, но также и любопытство: он не был уверен в

том, что чечен догонял его лишь затем, чтобы избить или даже зарезать.

-- Эй, послушай! -- сказал чечен, поравнявшись с Симоном. -- Это вас вчера привезли?

Чечен был на добрых полторы головы длинее Симона, лицо его было по-кавказски красиво: тонкий крылатый нос с хрящеватой горбинкой, удлиненные, под тяжелыми нависающими надбровьями, темные глаза с мелкими гранеными зрачками. Широкий и вытянутый подбородок, высоко поднятый, открывал длинную жилистую шею с красиво вылепленным, нервным кадыком.

-- Нас, -- сказал Симон, выжидательно вглядываясь в лицо чечена.

-- Камни в вас вчера кидали, так? -- спросил чечен, глядя угрюмо и серьезно.

Симон кивнул головой.

-- Это греки, -- сказал чечен презрительно и как-то брезгливо. -- Когда нас привезли, они тоже кидали. Но нас было много, мы их в первую ночь резали... Ты своим скажи -- больше кидать не будут. Это я тебе говорю -- Калу, я их нашел сегодня утром. Понял?

Симон еще раз кивнул молча. Чечен повернулся и быстро пошел, не оглядываясь.

А Симон долго еще стоял на месте, ковырял каблуком твердую глинистую землю дороги, улыбался, не размыкая губ. Потом легко зашагал к дому.

4. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

К концу февраля стало тепло.

Трава не родилась в песке Джеты-Су, и цветы не родились, но воздух вдруг сделался легким и по-праздничному приятным. Симон не мог бы сказать с уверенностью, когда, в какой именно день это случилось. Просто однажды утром он вышел из дому и обнаружил, что наступила весна.

Он был рад весне. Он не задумывался над тем, что именно радует его в этой почти неосязаемой смене погоды. Но шаг его стал пружинистей и шире.

Причин для радости у Симона, по сути дела, не было никаких. В школу его не взяли, и это — к собственному его изумлению — вызвало в нем горечь. А не так давно он школу не то что не любил — ненавидел. Но теперь его туда попросту не впустили — независимо от его желания, и это было оскорбительно, и ничего нельзя было с этим поделать. А он еще не успел свыкнуться с ситуациями, когда ничего нельзя поделать.

Ефим сказал: "Плевать, будь они прокляты! обойдется без их ученья". А Мира понимала его состояние,

утешала: "Ничего, сынок, доживем до осени — там поглядим. Может, возьмут..."

Погоревав день, Симон, не спросившись у матери, отправился на завод буровой дробы и поступил учеником строгальщика в тарный цех. В заводе этом, если разобраться, страна позарез не нуждалась: чугунной дробью, по слухам, и землю-то бурить давным-давно перестали. Но завод — в силу ли инерции или иных каких-либо никому не известных причин — продолжал производить буровую дробь согласно плану. В вагранках варился чугун, стекал стружкой на вращающиеся барабаны — отскакивали дробины.

На Симона, никогда прежде не бывавшего на заводах, производство буровой дробы большого впечатления не произвело. О просторе земли в тарном цехе также не могло быть и речи. Кроме того, деньги, положенные ученику строгальщика, могли устроить разве что нумизмата.

Строгального станка в тарном цехе не оказалось, поэтому Симона определили таскать чугунные болванки и грузить их на тележку. Симон таскал и грузил добросовестно и к обеденному перерыву отупел вконец. Пройдя в механический цех, он внимательно осмотрел строгальный станок, на котором ему, возможно, предстояло со временем работать. Станок не понравился Симону. Приди он поглядеть на него до начала смены — этого, может быть, и не произошло бы, — но теперь он устал и отупел. Станок не понравился ему, и он с некоторым даже облегчением решил, что свет не сошелся клином на заводе буровой дробы. Простор земли за заводским забором был достаточно широк, чтобы подыскать иное занятие, менее однообразное, нежели перетаскивание чугунных болванок.

Он все же дотерпел любопытства ради до первой полочки и уволился, так же не спросив ни у кого совета, как и при поступлении. Выйдя за заводские ворота, он огляделся независимо. Нет, не для того

ушел он с завода, чтобы прозябать, околачиваясь по улицам Джеты-Су. У него был в запасе план, прекрасный план, для осуществления которого ему нужен был решительный и надежный напарник. И если дело пойдет на лад, они оба будут обеспечены всем необходимым для жизни; мяса, во всяком случае, они смогут есть сколько им вздумается. А Симон вот уже много дней подряд мечтал о сочном, кровавом и, главное, большом куске мяса.

Напарников выбирать не приходилось, поэтому Симон остановился на Жене. Ефим не подходил — он и слушать бы не стал младшего брата. У Жени, правда, был недостаток — он носил очки с линзами в палец толщиной и, урони он свою оптику на землю в неподходящий момент, все дело оказалось бы под угрозой. А дело требовало подхода решительного и дерзкого.

Выйдя за ворота, Симон уселся на лавочку, освещенную нежарким еще, желтым солнцем. Симону было тепло и покойно; ожидание не было для него томительным, время скользило мимо него, оно было ощутимо и приятно, как медленно бегущая вода. Он легко и свободно принял решение — уволился, и теперь вот упивался этим своим поступком. Ему было очень хорошо.

Он ждал Женю. Когда закончилась смена и народ повалил из проходной, он поднялся и не спеша побрел к воротам. Женя должен был выйти одним из первых — он служил в бухгалтерии, не задерживался.

— Эй, Жень!

Женя остановился, снял очки и, подышав на линзы, тщательно протер их носовым платком.

— Вас, что, — отпустили раньше, что ли? — спросил Женя.

— Не важно! — сказал Симон. — Слушай, у меня к тебе дело одно есть. Только так: хочешь — скажи "хочу", нет — не надо. И все. Ладно?

— Ну, допустим.

— Так "хочу" или "не хочу"?

— Ну, допустим "хочу", — сказал Женя, ухмыляясь неизвестно чему.

— Хорошо... Только ты не смейся. Ты когда-нибудь резал кур?

— Нет, — сказал Женя удивленно. — Ты что это?

— А свиней?

— Ты что — того? — Женя оглядел Симона внимательно. — Не резал, конечно.

— Тогда вот, — продолжал Симон. — Казахи сами своих свиней не режут — грех, нельзя им. Тому, кто зарежет, они деньги дают и мяса три кило. Как?

— Как, как... — сказал Женя, щуря большие под очками глаза. — С ума ты, что ли, сошел?

— Сошел, — согласно кивнул головой Симон. — Пускай сошел... А мяса ты где возьмешь?

— Но мы же не умеем, — сказал Женя. — И вообще — что за глупости!

— Не хочешь — не надо, — сказал Симон. — Так бы сразу и говорил... Сергею Васильевичу скажу — он кого хочешь зарежет. Может, и тебя на суп позовет. Пошли, что ли?

— А когда надо, — спросил Женя, прочистив горло, словно бы собиравшись запеть и волновался, — туда идти? Ну, резать...

— Сегодня... Слушай, Женька, ты только держать будешь. Я сам ее зарежу, вот увидишь. У Сергея Васильевича штык за верстаком валяется, острый. Три минуты — и все!

— А мама что скажет? — спросил Женя, колеблясь.

— А зачем ей говорить? Принесем мясо и деньги — тогда скажем.

— Нет, это все-таки авантюризм, — решил Женя. — Ну, ты-то еще — это понятно. А мне в эту историю ввязываться просто смешно... Нет! Мы все, слава Богу, работаем, на хлеб хватает...

— Я уволился, — оборвал Симон. — Я один пойду ее зарежу.

— Уволился? — Женя даже остановился. — Идиот! Вот идиот... Что же ты будешь делать?

— Пошли со мной, — теперь уже почти с отчаянием попросил Симон. — Мне же маме сказать надо. А так — мясо это... Тебе только держать!

— Ладно, — сказал Женя. — Такого старого дурака, как я, свет не видал.

Казаха, владельца свиньи, звали Карим. То был старый казах, видимо, нечистокровный: над верхней его губой помещались толстые пегие усы, расположенные строго горизонтально и аккуратно отъединенные от выбритых щек. Кончики усов были остры, словно обтесаны острым ножом — казах то и дело бережно пропускал их между послунявленными пальцами.

— Я сам чушку не ем, — сказал казах, — касаться не могу, не имею права. Смотреть будем!

— Она может наброситься, — предостерег Женя, не желавший зрителей.

— Из окна будем, — успокоил казах. Он, видно, был любопытен, очень хотел посмотреть и ожидал от зрелища многого.

— Я раньше чушку не держал, — сказал казах. — Это первая...

Свинья — удивительно громоздкое и грязное животное — жила в тесной дощатой огородке в углу пустого просторного двора. Домовая стена с дверью и мелкими окнами замыкала четырехугольник двора, где жила помимо свиньи большая лохматая собака, прикованная длинной цепью к кольцу в стене дома, близ двери. Цепь позволяла собаке бегать почти по всему двору.

— Не укусит? — спросил Симон, покосившись на собаку.

— Э! — сказал казах. — Собака же... Не укусит, наверно.

— Ее бы покороче привязать... — сказал Женя.

— Э! — казах насмешливо пожал плечами. — Зачем привязать? Так скажи: "Кет!" — и все.

Услышав "кет!", собака поднялась на ноги и глухо зарычала. Хвост ее не был обрублен, прямо свешивался книзу, как у волка.

— Чай пить будем? — спросил казах. — Или потом?

— Да нет... — сказал Симон. — Потом.

— Ну, давай, — сказал казах и пошел в дом. Он плотно притворил за собой дверь, и мгновение спустя лицо его появилось в окне. Из других окон выглядывали домочадцы казаха.

Развернув газету, Симон достал из нее длинный штык с обмотанной изоляционной лентой рукояткой.

— Ну, чего, — сказал Симон. — Пошли, что ли...

Они подошли к огородке. Свинья подняла голову и глядела на них белесыми бессмысленными глазами.

— Большая, черт... — сказал Симон. — Ты, значит, держи.

— Подожди, — сказал Женя, снял очки и, подышав на линзы, протер их тщательно и не спеша. — Может, дать ей чего-нибудь пожевать? За что держать-то...

— Да ладно! — сказал Симон, с усилием сводя челюсти, потому что зубы его стали вдруг мелко постукивать. — Казах смотрит, гад. Тоже, цирк!

Он откинул крючок с калитки, ведущей в огородку, но внутрь войти не успел: свинья снарядом рванулась во двор, и Женя, оказавшийся на ее пути, был брошен на землю. Поднявшись, он зачем-то начал чистить штаны ладонью.

Собака, присев на задние лапы и помедлив самую малость, ринулась на свинью. Свинья, ожидавшая, видимо, нападения, подставила плечо, и собака ударилась о него, как о стену.

— Кет, шайтан! — кричал казах в окошко и размахивал руками, но во двор не выходил. — Кет!

Собака, изловчившись, вгрызлась свинье в ухо мертвой хваткой. Визжа, свинья побежала по двору и потащила за собой собаку. Собака болталась на свинье как мешок. Гремела цепь.

Женя смеялся. Он опять снял очки, протирали их и смеялся. Руки его сильно дрожали.

Когда свинья, волоча свою ношу, бежала мимо

Симона, он быстро шагнул вперед, коротко, без замаха воткнул штык в грязный свиной бок и сразу выдернул. Свинья остановилась как вкопанная и тряхнула головой с такой силой, что собака отлетела к стене дома.

— Э! — неодобрительно сказал казах, убирая локти с подоконника и закрывая окно. Он продолжал что-то говорить, но ничего не было слышно сквозь стекла, да и говорил он, надо думать, по-казахски.

Свинья бросилась на Симона, но тот отскочил, выставив руку со штыком. Острие штыка скользнуло по коже свињи примерно на уровне лопатки, оставив царапину. Теперь перед ней был Женя, — прямо перед ней, у забора. Мокрое место от него могло остаться, вот что.

Он прыгнул, когда, казалось; было уже поздно. Свинья с глухим стуком врезалась головой в забор и упала. Казах рывком распахнул окно и высунулся по пояс. Зажав очки в левой руке, Женя, прижавшись к свиной огородке, нащупывал калитку.

Дернувшись несколько раз, свинья поднялась на ноги и потрусила к своей огородке. Удар головой о забор, видно, не прошел для нее даром. Беззлобно отпихнув Женю, замешкавшегося в калитке, она протиснулась в загон.

Казах захохотал, закашлялся. Он хохотал и кашлял, свесившись за подоконник. Усы его пришли в беспорядок и растрепались. Гремя цепью, собака вдруг бросилась к огородке. Шерсть на ее загривке подрагивала. Спасаясь от собаки, Женя проскользнул в загон и захлопнул калитку.

Казах хохотал и кашлял. Теперь он совсем высунул руки в окно и, лежа на подоконнике, сильно шлепал ладонями по стене.

Симон не бежал через двор — шел. Он шел быстро и прямо, как солдат на параде. Штык он держал острием вперед, прижав руку к бедру. Дойдя до огородки, он с размаху ударил собаку ногой и вошел в калитку.

Женя уже надел очки и теперь, вжавшись в угол, неотрывно смотрел на свинью, словно гипнотизировал ее. Свинья стояла у противоположной стены, и непонятно было, что она собирается сделать: то ли броситься на Женю, то ли броситься на собаку, с лаем и рычанием рвущуюся в загон, то ли вовсе лечь на пропитанную мочой и помоями скользкую землю. Ноги держали свинью не очень хорошо.

Не останавливаясь, Симон шагнул через тесный загон к тупо глядевшей свинье, отвел руку за спину для замаха, вогнал штык по самую рукоятку, выдернул и, навалившись, еще раз вогнал. Свинья рванулась, сбила Симона; он сел на грязную землю, не выпуская торчавшей из свиньи рукоятки штыка. Женя наконец отлип от своего угла и, шагнув, схватил свинью за уши и повис животом на ее голове. Тогда Симон потянул штык и ударил еще несколько раз вслепую, прижимая к стене все более послушную и тяжелеющую после каждого удара тушу.

Крови вылилось из свиньи много — куда больше, во всяком случае, чем предполагал Симон, в последний раз выдергивая свой штык. От напряжения рука Симона затекла в согнутом положении и теперь разгибалась с болью. Не выпуская штык, он разгибал ее и сгибал и все глядел на мертвую свинью, валяющуюся в грязи и крови на боку, с открытыми глазами. Потом он через силу развел сжатые в кулак пальцы и выпустил штык, и тогда дело с разгибанием и сгибанием пошло лучше. Он вдруг почувствовал внутри себя мертвую пустоту, и все для него стало далеким и безразличным и не имеющим к нему никакого отношения. Мертвая пустота внутри него оказалась такой тяжелой, что у него подгибались ноги — она тянула его вниз, на землю, и он подумал о том, что хорошо бы сейчас сесть на этот грязный холм в углу грязного вонючего загона, прислониться спиной к стене и заснуть. Он очень хотел спать, и глаза его не различали отдельных предметов внутри загона. И штык, валяющийся в грязи, и туша свиньи

у стены, и сама стена, и приоткрытая калитка в огорожке — все это представлялось ему размытой картинкой, которой рисовальщик не сумел придать и намека на перспективу. Все в ней было плоско, скучно и безобразно.

— Ай, молодец! — сказал казах, входя в калитку. — Чай будем?

— Чай пить пойдем? — повторил Женя, потому что Симон ничего не сказал и не повернулся к казаху.

— Не хочется, — сказал Симон. — Может, домой?

— А потрошить когда? — с большим удивлением воскликнул казах.

— Потрошить тоже надо? — вяло спросил Симон.

— Ой-бой! — укорил казах. — Я, что ли, потрошить буду?

— Ну, это мы живо, — сказал Женя. — Чего там...

Собака, натянув цепь, хватала ртом кровавую грязь, а потом, словно бы обжегшись, трясла головой и выбрасывала.

Они пришли домой вечером — Ефим давно вернулся, и Мира беспокоилась, что их все нет. Войдя в комнату, Симон молча положил на стол большой газетный пакет.

— Что это? — спросила Мира, удивляясь многозначительному молчанию сына. Женя тоже молчал, улыбался несколько смущенно.

— Погляди! — морща лоб и пожимая плечами, предложил Симон.

Мира подошла, положила руку на пакет. Симон смотрел в сторону, словно бы все происходящее вовсе его не касалось.

— Мясо... — молвила Мира, развернув бумагу. — Где вы взяли?

— Хорошее мясо? — уточнил Симон, искоса глядя на содержимое пакета.

— Мясо хорошее, — сказала Мира. — Да объясните же наконец!

Ефим молча поднялся со своей раскладушки и, подойдя к столу, внимательно осмотрел мясо.

— На заводе давали? — спросил Ефим с сомнением.

— Понимаете, тетя Мира, — сказал Женя, улыбаясь смущенно, но также и победно, — мы с Симоном решили подработать. Свинью зарезали.

— Как зарезали? — не поняла Мира. — Какую свинью?

— Какую, какую, — протянул Симон. — Обыкновенную... Казахи сами не могут — вот мы и пошли.

Ефим, взглянув на брата, взял со стола пакет и несколько раз подбросил его на ладони.

— Зарезали свинью... — сказала Мира, опускаясь на табуретку. — Но вы же не умеете.

— Я пойду зажгу керосинку, — сказал Ефим. — Картошка есть в этом доме?

Разговоры о том, какие молодцы Симон с Женей, закончились, как только жаркое поспело и было подано к столу. Ели молча и жадно: мяса не видели с самого приезда.

— Я ушел с завода, — сказал Симон посреди молчания.

Мира перестала есть и положила вилку.

— Мы должны работать, сынок, — сказала Мира. — Ты же сам понимаешь... Как же ты мог — не спросил, не посоветовался!

— Что ты собираешься делать? — Ефим жевал над тарелкой, подбирая подливку хлебной коркой. — Свинья — это хорошо. Только нерегулярно.

— Боже мой, мальчики, — сказала Мира. — Пропади пропадом это мясо, только не надо больше. Это ужасно!

— погоди, мать, — Ефим, дожевывая, подмигнул брату. — Помнишь, когда он записался в конно-спортивную школу, ты сказала, что верховая езда — это не занятие для еврейского мальчика. Помнишь?

Мира вспомнила, улыбнулась грустно. Сокольническая конно-спортивная школа? Когда ж это было, в каком таком времени?.. Впрочем, в глубине души она непоколебимо была убеждена в том, что для

еврейского мальчика лучше учиться играть на скрипке, чем осваивать верховую езду. В Мире — хоть она родилась и не в Одессе, а в Екатеринославе — традиции были крепки. Конечно, еврейский мальчик должен учиться играть на скрипке. Что это за родители такие, если они не учат ребенка музыке? Учили и Симона, да он оказался напрочь лишенным музыкального слуха и к тому же заявил педагогу, что играть стоя отказывается. От музыкальных занятий спас Симона отец, которому, отвечая на его прямой вопрос, педагог заявил, что Ойстраха из младшего Ашкенази не получится.

— Так вот, — продолжал Ефим. — Резать свиней — это тоже, конечно, не предел. Ты уже взрослый парень, — Ефим смотрел на брата без улыбки, — в школу тебя не берут, с завода ты ушел. Ну, свинью зарезал. Хорошо... Но что ты собираешься делать дальше?

— Может, он мне будет помогать? — предложила Мира. — По дому...

— Да ты что, — усмехнулся Ефим. — Я ведь говорю серьезно.

— Дайте мне два дня, — сказал Симон, морща лоб и потирая его сведенными пальцами рук. — Нет, один. Я завтра точно узнаю и скажу.

— У нас в плановом отделе можно что-нибудь найти, — сказал Женя. — Начальник ко мне чудесно относится.

— Ну нет, — Симон резко опустил ладонь на столешницу. — Да лучше я...

— Завтра скажешь, что лучше, — сказал Ефим. — Мам, дай чайку!

Мира поднялась из-за стола и вышла в коридор. Там, на низкой скамейке, стояла керосинка, подаренная Ашкенази маленькой, кукольной старушкой Ханой Исаковной.

Ханда Исаковна появилась назавтра после того, как Ашкенази были выгружены из вагона на стан-

ции Джеты-Су и поселились в доме Утюговых. Она появилась под вечер, неся керосинку в синей дырчатой авоське. Авоська была старая и растянутая, и керосинка почти тащилась по земле. В левой руке Хана Исаковна держала что-то, тщательно упакованное в газету, аккуратно обвязанное бечевкой, похожее на плоскую чашу базарных весов.

— К вам пришла тут, — сказала Марья Петровна, пропустив Хану Исаковну в комнату Ашкенази и остановившись на пороге. — "Которые из Москвы, говорит, евреи, у вас, мол, остановились?" Она вот и спрашивала...

Марья Петровна отступила, мягко притворив за собой дверь, а Хана Исаковна осталась стоять посреди комнаты. Нагнув повязанную толстым вытертым платком голову, она, улыбаясь невесело и потому вдвойне добро, разглядывала хозяев сквозь удивительно ветхие, связанные в нескольких местах веревочками круглые очки. Словно бы из обломков птичьих косточек были собраны эти очки.

Ашкенази глядели на гостью настороженно и с удивлением.

— Здравствуйте, — сказала Хана Исаковна. — А мне сказали — приехали московские евреи. Что, уже начали вывозить? Я вам принесла керосинку и тортик, вот, — и гостя подняла руку с газетным свертком. — А я ведь из Шанхая, мой муж был бухгалтер, он служил на КВЖД. Какой у нас был дом!

И Хана Исаковна, собрав губы в шепотку, еще раз обвела взглядом жилище Ашкенази.

Жилище это, приведенное кое-как в порядок стараниями Миры, оставляло все же желать лучшего. Развесистый фикус, занимавший треть комнатной кубатуры, был, к неодобрению Марьи Петровны, вынесен в хозяйскую светелку. На месте фикусной кадки стояла теперь раскладушка старухи Гиты, похожая на козлы. Гита не разрешала складывать ее на день и, доказывая целесообразность своего решения, то и дело укладывалась. Она делала это, взды-

хая и кряхтя нарочито громко, не реже одного раза в час. Ее часы в деревянном обшарпанном корпусе отбивали минуты, стоя на полу под изголовьем раскладушки. Ефим спал на полу, Женя — на узком клеенчатом диване с высочайшей спинкой — "гостевом", как его называла Марья Петровна. Мире принадлежала кровать с никелированными шариками и цацками, — пирамида подушечек с нее была перенесена в хозяйскую комнату вслед за фикусом. Симону же отвели низкий плоский сундук, привезенный из Москвы. Он был хоть и широк, но кургуз, и никто, кроме Симона, на нем не мог уместиться. По ночам спящие покрывали почти всю площадь комнаты, и неиспользованным оставался только обширный комод — затейливое творение Сергея Васильевича. Ефим попробовал было спать на этом самом комодe, но комод был очень высок, и находиться на нем было страшно. Ефим предпочел спать на полу.

Убедить хозяев убрать комод не удалось. Сергей Васильевич трудился над его сооружением не один месяц, и только "зала" могла служить ему достойным вместилищем. Комод, надежно сработанный из дубовых досок и покрытый моренкой, включал в себя множество ящичков и ящичков, размещенных в самых неожиданных местах. Самые большие ящики снабжены были дверными ручками, на ящиках поменьше красовались выточенные на токарном станке приспособления, напоминавшие аккумуляторные горки кала. В гигантском комодe уместилось почти все имущество Ашкенази. Симон выпросил у матери небольшой персональный ящик с висячим замочком. Под замок помещена была почтовая открытка, полученная когда-то Симоном от отца, фотография няни, два тома "Иудейской войны" Фейхтвангера и святыня, которую Симон не показывал никому, — засушенный лютик из окрестностей кибуца "Кириат-шалом". Лютик, полученный в подарок от отца, хранился в бумажном конверте с целлофановым окошечком.

Осмотрев комнату, Хана Исаковна, не сняв пальто, опустилась на стул и вдруг заплакала. Губы ее чуть подрагивали, слезы отвесно падали из глаз, не скатываясь по низко наклоненному лицу. По знаку матери Симон вышел в переднюю и вернулся с чашкой воды для гостьи.

— Ничего, — сказала Хана Исаковна, отпив из чашки. — Ничего... Мой муж был бухгалтер на КВЖД, его расстреляли кеменисты. А я сама сидела десять лет в Сибири, а потом меня прислали сюда. Какой у нас был дом в Шанхае! Шесть комнат, и в каждой по большому фикусу, и четыре собственных китайца: прачка, повар, садовник, а один просто-таки ничего не делал, только получал жалованье. Моего мужа все так уважали!

В Джеты-Су Хана Исаковна стирала и убирала в домах местного начальства и так кормилась. Денег она не знала, но зато и голода тоже.

— Я поставлю чай, — сказала Мира. — Вы у нас здесь первая гостья.

Старуха Гита свесила ноги со своей раскладушки и уселась, кряхтя. Она разглядывала Хану Исаковну внимательно, словно бы увидела ее только-только.

— Скажите... — сказала Гита, — э... вы не знаете, или кто-нибудь сдает здесь отдельную комнату с мебелью?

— С мебелью? — доброжелательно переспросила Хана Исаковна. — А с какой именно мебелью?

— Интересно! — воскликнула Гита. — Это я вас спрашиваю, с какой мебелью!.. Шкафчик, кровать.

— Один чеченец сдает, — сказала Хана Исаковна, подумав. — Они чистые. Топчан у него там есть...

— Что это есть — топчан? — перебила Гита, немного подавшись вперед.

— Топчан — это кровать! — пояснила Хана Исаковна. — Столик у них есть — он им не нужен, стоит во дворе.

— Стоит во дворе и мочится на дождь! — крити-

чески заметила Гита. — Я поставлю на него мои часы, у меня есть точные часы.

— А вы тоже снимаете? — спросила Мира, чтобы отвлечь гостью от Гиты.

— Ну, конечно, — сказала Хана Исаковна. — С этими гоями так трудно. Мы живем с Рахиль Львовной, она защитница. Вы ее не знаете? Боже мой, что это такое я говорю! Ну, конечно, вы ее не знаете! Замечательная женщина. Она сейчас как раз поехала в Карсак-пай, и вы знаете на чем? На верблюде! Она ведь защитница. Там один гой откусил у другого гою ухо, или нос, или бог его знает что. И как вам это нравится — она села на верблюда и поехала защищать!

— Откусил ухо? — напряженным голосом спросила Гита. — Он что — сумасшедший? Он тоже чеченец?

— Нет, что вы! — успокоила Гиту Хана Исаковна. — Он не чеченец, он просто гой... Нас здесь две еврейки, вот мы и живем вместе с Рахиль Львовной. А теперь вот вы приехали, и я как узнала — сразу к вам.

Мира, принеся чайник, ставила чашки на стол.

— Давайте, я пальто ваше повешу, — сказал Симон Хане Исаковне, по-прежнему державшей в руках керосинку и газетный пакет с тортом. Нежданная гостья понравилась Симону — с ней, видно, можно было поговорить обо всем понемногу, и потом она жила когда-то в Шанхае, и потом ее мужа расстреляли коммунисты... А главное, она была своя, еврейка. Здесь, в Джеты-Су, этот факт приобретал для Симона особую окраску: он воспринимал старую еврейку-домработницу Хану Исаковну как безусловную единомышленницу, почти как родственницу.

Он хотел спросить, были ли у ее собственных китайцев косички, но потом раздумал и промолчал.

— А как здесь относятся к евреям? — спросила Мира, наливая чай. — Вы же здесь давно...

— А где хорошо относятся к евреям? — развора-

чивая торт, Хана Исаковна высоко пожала плечами. – Вы знаете, где? Я вам скажу: в Шанхае тоже не было хорошо.

– Тогда поедem в Тель-Авив, – усмехнулся Ефим.

– Где это – Тель-Авив? – Хана Исаковна перестала шуршать газетой и повернулась к Ефиму. Хорошая женщина Хана Исаковна, только темная. – И вы думаете, там хорошо?

– Да, там хорошо, -- сказал Ефим. – Тель-Авив -- это Израиль.

– Ша! – подняв руки, воскликнула Хана Исаковна. – Будем говорить шепотом!

Ефим подмигнул Симону и придвинул к себе чашку.

– У нас здесь нет телефона, – сказал Ефим. – Подслушивать некому.

– И все-таки тихо! – понизив голос, сказала Хана Исаковна. – Зачем нам еще сидеть, вы не знаете?

– Мне не надо в Тейль-Авив, – категорически заявила Гита со своей раскладушки. – И что я там буду делать, в Тейль-Авиве?

– Вас туда никто и не зовет! – прошипел Симон. – Там работать надо, там...

– Сима! – одернула Мира. – Прекрати!

– В Москве мы боялись, – сказал Ефим, постукивая пальцами по столу. – Здесь мы боимся. Только в тюрьме можно позволить себе не бояться.

– ...там воевать надо, – сбивчиво продолжал Симон. – Там таким старикам делать нечего – сидите здесь. Хватит, поторговали! Я, например, евреев, которые торгуют, ненавижу!

– Твоя бабушка Хая торговала селедкой, – укоризненно заметила Гита.

– Тогда не было Израиля, – сказал Симон злобно. – А теперь, слава Богу, есть. И если мы будем работать и воевать...

– Кто "мы"? – перебила Гита, кривя лицо.

– Мы! – выкрикнул Симон. – Евреи!

– Ну, теперь хватит, – заключил Ефим. – Насчет

евреев мы уже выяснили... Скажите, Хана Исаковна, чем здесь может заняться такой ученый еврей, как я — если не торговать и не воровать?

— Он кончил университет, — вставила Мира.

— А я экономический, — сказал Женя.

— Так вы бухгалтер? — с надеждой спросила Хана Исаковна.

— Плановик, — поправил Женя. — Но это, в общем, одно и то же.

— Вам надо идти на завод, дети, — сказала Хана Исаковна, освободив наконец торт от газеты. Торт оказался пирогом, присыпанным толченым сахаром. — Директор завода — золотой человек. Он вас кем-нибудь устроит.

Сидели допоздна — пока старуха Гита не начала демонстративно укладываться спать на свою раскладушку. Шепотом решено было договориться с чеченами и завтра же перевести Гиту на новую квартиру.

Ссылка имела для Симона преимущества как перед вольной жизнью, так и перед лагерем и тюрьмой. В тюрьме или в лагере было куда хуже, чем в Джеты-Су — вот и все. А вольная жизнь была столь далека и недостижима, словно бы ее и вовсе не существовало. Свободным людям Симон не завидовал, как не завидовал бы, скажем, инопланетникам: такая зависть не имела бы под собой никакой почвы и была бы по этой причине просто проявлением ограниченности. А Симон рос реалистом, хотя отчета себе покамест в этом не отдавал. Более того, скажи ему кто-нибудь, что он реалист, — он, наверно, обиделся бы. Во всяком случае, возвращение домой, в Израиль, ассоциировалось для него скорее как переход через какую-то абстрактную пустыню с приглаженными барханами, нежели с получением виз и воздушным перелетом. Возвращение было для него, во всяком случае, актом эмоциональным — ВОЗВРАЩЕНИЕМ. При мысли о том, что ему

придется когда-нибудь обсуждать с посторонними людьми детали этого ВОЗВРАЩЕНИЯ, его охватывал ужас, почти суеверный. Замерять мечту циркулем и линейкой представлялось ему кошунственным. Жить в ссылке, в Джеты-Су, нравилось ему больше, чем в Москве. По молодости лет он не успел еще вкусить радости свободного бродяжничества, и тот факт, что ему, Симону Ашкенаси, запрещено более чем на пять километров удаляться от места ссылки, никак на него не подействовал. Даже и то, что нарушение запрета обернется двадцатью годами каторги — а это черным по белому было написано в удостоверении взамен паспорта, — он воспринял как формальную, пустую угрозу.

Он считал, что из вагона ЗАК на землю Джеты-Су он вышел свободным — или почти свободным — от семейных пут человеком. И действительно, его зависимость от семьи была нарушена непоправимо. То, что он, мальчик, повидал в тюремном вагоне и в пересылке, давало ему моральный перевес перед взрослыми — и Мира говорила с ним мягко и заискивающе, словно бы была в чем-то неистребимо виновата перед младшим сыном. Симон этим самым своим моральным перевесом хотя и не пользовался — но снисходительно о нем не забывал. А тот факт, что он, Симон, худо-бедно зарабатывает себе на жизнь, способствовал выработке суждений не всегда верных, но зато откровенно непререкаемых. Тех, кто пытался сбить его с выбранной позиции — будь то мать или вовсе посторонний человек, — он выслушивал терпеливо и с большим безразличием. Вспыльчивость — ни показная, ни естественная — не проявлялась во вдруг отвердевшем характере Симона. Он исподволь ценил в себе это качество, полагая, что самое главное в жизни — научиться владеть и управлять собой. А вспыльчивость, по его разумению, никак не вязалась с таким трезвым ремеслом.

Итак, Симон получил возможность принимать

самостоятельные решения. Назавтра после памятного убийства свиньи он бродил по Джеты-Су, смутно надеясь повстречать Калу, чечена. Он был уверен, что именно Калу сможет дать ему добрый и дельный совет по поводу дела, которым ему следовало бы заняться ради пропитания и независимости. Чечена, расправившегося с теми греками, что бросали в них камни, Симон вспоминал часто и, не видя его, все больше проникался к нему приязнью и восхищением.

Чечена, однако, он не повстречал и вернулся домой часам к двум, к обеду.

Ефим пришел в половине третьего. Он вошел в комнату стремительно и легко, как бы не касаясь пола. На лице его застряла дурацкая улыбка.

— Что?! — вскрикнула Мира, глядя на своего старшего сына. — Что случилось?!

— Сталин сдох! — неровным голосом сказал Ефим. — Слышите, сдох Сталин!

5. 6 МАРТА

Больше всего на свете майор госбезопасности Ахмет Жаманов любил бешбармак. Он любил не только само вареное мясо, перемешанное с лапшой, но весь процесс, включающий в себя подготовку, приготовление и, наконец, поедание бешбармака. Особо отмечал майор игру в "дурака с документом" во время предварительной варки печени и курдюка, а также заключительное "омень" и вытирание жирных рук о полотенце, о голенища сапог или – в случае особого опьянения и простодушного ухарства – о собственные волосы.

Не без оснований, а по чести и справедливости считался майор Ахмет Жаманов лучшим специалистом и знатоком бешбармачной процедуры во всем Джеты-Су. По насыщенности бульона он с большой точностью определял готовность баранины, и даже почтенные старики удовлетворенно покачивали бородами, когда майор, объев мясо с головы и смачно посасывая глаз, умелым ударом кинжала раскраивал бараний череп. Не только служебное положение, но и красота действий за достархоном обеспечивали майору высшую

честь — вареную баранью голову — в любой компании.

Несмотря на свой малый рост, майор Жаманов был могучим едоком и грозным выпивохой. Он знал эти свои качества и гордился ими вполне обоснованно. Объясняя способность своего брюха к почти безграничному растяжению, Жаманов ссылался на древние традиции рода и поминал добрым словом удалых предков-кочевников.

Одним словом, майор Жаманов был человеком простым, общительным и, как всякий здоровый обжора, веселым. Простота майора вызывала у окружающих тревожное восхищение — как, скажем, половой орган осла, глядя на который только и возможно развести руками и произнести совершенно бессмысленное в такой ситуации "н-да-а!.." Благодаря своей бесподобной простоте, майор госбезопасности Жаманов всех без исключения ссыльных, отданных под его руку и начало, людьми не считал. Он не воспринимал их в отдельности, в отъединенности друг от друга, видя в них дрессированное целое, прирученное, но подспудно все же враждебное. Разговаривая по долгу службы со своими подопечными, майор Жаманов громко и грозно выкрикивал самые обиходные слова и, хмуря брови, устрашающе вращал глазами. Ссыльные же люди побаивались крикливого майора разве что отчасти. Они, конечно, ни на минуту не забывали о том, что крикливый заместитель начальника РО МГБ без всякого для себя напряжения может запереть их в КПЗ или упечь куда подальше. Но, поскольку дальше криков, ругательств и сверканья глазами дело покамест не заходило, ссыльные весь свой страх и трепет пораженных неволей людей относили к молчаливому как змея начальнику майора Жаманова подполковнику Габидулину. Тому даже прозвище боялись придумать — в то время как Жаманов почти во всех без исключения кибитках Джеты-Су назывался не иначе как "зубан". Этой необидной кличкой майор был обязан одному из своих верхних зубов, росшему вопреки всем законам естества не вертикально вниз,

но строго по горизонтали. Выпирая из десны сантиметра на два с половиной, этот плоский, но одновременно и клыкастый зуб оттопыривал и держал на себе верхнюю губу, не давая ей возможности опуститься и сомкнуться с нижней. Чайник хотелось повесить на этот выдающийся зуб, вот что.

Ни зуб, ни кличка не мешали майору Ахмету Жаманову жить и наслаждаться жизнью в подвластном ему поселке Джеты-Су. То, что происходило в гигантской стране, начинавшейся сразу за границами поселка, не интересовало майора. Он, однако, в этом никому не признавался и ежеутренне, демонстративно шевеля нижней полноценной губой, изучал передовую статью газеты "Правда". В час изучения передовицы домочадцы майора — жена его Пива и многочисленные дети — двигались по дому бесшумно и близко к хозяину не подходили.

Утром шестого марта Жаманов пробудился тяжело — накануне был устроен торжественный той по случаю обрезания пятого сына, и майор жестоко напился. Откладывать далее обрезание и той было никак нельзя, и все же Жаманов согласился на торжественную процедуру не без колебаний: Сталин хворал, пьянка, не дай Бог, могла быть неправильно истолкована. Под нажимом родни майор, наконец, сдался. Во избежание неприятностей новообрезанному решено было дать дополнительное имя Сталэмор, что означало "Сталин, Ленин, Энгельс, Маркс, Октябрьская Революция".

Выпив ради борьбы с похмельем стопку водки, Жаманов углубился в изучение передовицы "Правды" от четвертого марта — свежие газеты приходили в Джеты-Су на третий день. Читая о необходимости усиления бдительности в борьбе с классовыми врагами, майор с раздражением прислушивался к разнотонному храпу — человек двадцать родни, съехавшейся на той из окрестной степи, спали в комнатах и коридорах вместительной жамановской кибитки. На дворе противно стонали верблюды гостей... Майор положительно не мог, был не в состоянии сосредоточиться на

передовой статье, и это расстраивало его. Отложив газету, он придвинул к себе стопку и потянулся за бутылкой.

На Пиву, вошедшую без стука и остановившуюся в дверях, он взглянул злобно.

— Чего, — без вопроса обронил Жаманов, опуская на кошму налитую уже стопку.

— Из комендатуры к тебе, — сказала Пива шепотом. — Мергенов.

— Ну, давай, — сказал майор, быстро выпил и отодвинул посуду.

Сержант Мергенов вошел. В руках он держал распечатанный телеграфный бланк.

— Евреям телеграмма пришла, — доложил сержант. — Поджигательного смысла.

Жаманов развернул бланк, прочитал:

— ”Джеты-Су Казахской, Казахская 46, Ашкенази. Поздравляем праздником надеемся лучшее будущее тчк обнимаем родные”.

Телеграмма была отправлена из Москвы и датирована четвертым марта.

— Ну и что? — недовольно спросил Жаманов и, брезгливо разжав пальцы, выпустил телеграмму. Листок упал на ”Правду”, Жаманов щелчком сбросил его на кошму.

— Поздравляют, товарищ майор, — вкрадчиво доложил сержант.

— Ну и что! — повторил Жаманов, морщась. У него сильно болела голова.

— Сегодня — поздравлять... — замялся Мергенов, переступая ногами.

Жаманов сухо прокашлялся и поднялся с кошмы.

— Конечно! — сказал Жаманов раздельно. А потом тише, почти шепотом. — Что такое?!

— Вы что — не знаете? — также шепотом сказал Мергенов. — Ведь товарищ Сталин... — сержант умолк и, не глядя на Жаманова, медленно пошевелил пальцами рук.

— Пива! — взревел Жаманов. — Вон отсюда!.. Гово-

ри! — придвинувшись к сержанту, прошептал ему в ухо Жаманов. — Что?! Приказываю...

— Товарищ Иосиф Виссарионович Сталин, — едва слышно доложил сержант, — сегодня ночью...

— Ну?!

— Умер...

Резким толчком ладонями майор вытолкнул Мергенова за порог комнаты и захлопнул дверь. Потом он опустился на кошму, нащупал бутылку и, не обнаружив в поле зрения откатившуюся стопку, потянул из горла. Горлышко бутылки стучало о зубы Жаманова, водка текла по подбородку и заливалась за ворот белой нательной рубахи. Допив, майор с размаху швырнул бутылку в стену. Бутылка лопнула, коротко прозвенели осколки.

Храп более не раздавался — потревоженные степные гости сгрудились за дверями и о чем-то шептались. Спустя малое время дверь чуть приотворилась и в зазор проскользнула Пива. Сев у порога на пол, она смотрела на своего мужа.

— Что теперь делать, Ахмет?

— Это жиды его... — сказал Жаманов, немного подумав. — Ясно, жиды. Врачи жидовские. Пишут же — убийцы в белых халатах...

Пива смотрела на мужа вопросительно, ждала.

— Ты вот что, — кругло пожав плечами, решил, наконец, Жаманов. — Ворота запри — нет меня ни для кого, и окна все завесь. Скажи там — пускай режут барана. Не моего — того, что вчера дед привез. Зови всех, пить будем! Эй, вы! — крикнул он за дверь. — Чего сидите! Отца нашего убили! Плачь, сука! — Он дотянулся до жены, сгреб ее за платье, бросил на пол. Потом повалился на кошму, вдавил лицо в войлок, завыл.

На дворе, облегченно переговариваясь после коридорной тесноты и шушуканья, степные гости вязали ноги упирающемуся барану.

Ефим появился на свет ровно двадцать два года назад, 6 марта 1931 года. Дойди нынче, 6 марта 1953,

поздравительная телеграмма до Ашкенази, она надела бы немалый переполох в семье. Но майору Жаманову было не до телеграммы — и слава Богу. После сообщения Ефима никто уже не вспоминал о его дне рождения. Ашкенази — уже в который раз — включив репродуктор на малую мощность, вслушивались в торжественно-утробный, отдающий сырым холодом морга голос Левитана. Итак, это правда: он сдох, ОН — царь, бог, генералиссимус, отец народов, друг детей, корифей науки. Он где-то валялся сейчас — застывший и холодный, как всякая падаль — валялся в одном из своих подмосковных дворцов, или в Кремле, или в потайной роскошной дуборезке, из бронзы и мрамора, где из него делали чучело в назидание современникам и потомкам. А двести миллионов дрессированных современников не ведали, где валяется их издохший дрессировщик, который — к великому ужасу зверинца — вдруг взял да и утратил возможность стрелять, пытаться, сажать за решетку. Двести миллионов современников выли от животного страха и полной потерянности, вжимаясь ушами в раструбы репродукторов, включенных на малую мощность. Потому что слушать громко произнесенное "УМЕР СТАЛИН" у них не хватало отваги.

Ашкенази не выли и не плакали. Молча сидели они в своей комнате и раздумывали — каждый по-разному, по-своему — над тем, что судьба их внезапно, без всякого ускорения повернулась на один оборот и что, надеясь без особых на то причин на улучшение, рассчитывать следует все же на худшее: на заключение в лагерь или в тюрьму, на погром, на уничтожение.

Сидя на своем сундуке и глядя на согнутые, понурые спины старших, Симон улыбался, прикрывая низ лица ладонью. В предвкушении неизбежных перемен он испытывал необыкновенный прилив энергии. Он не ведал, как и куда вот сейчас, немедленно применить ее — и поэтому почти дрожал от сдерживаемого напряжения. Он был возбужден до крайности и испытывал к Сталину что-то вроде снисходительной благодарно-

сти — за то, что тот своей смертью дал ему почувствовать это прекрасное, великолепное возбуждение. Время от времени он довольно отчетливо представлял себе такую картину: мертвый Сталин лежит в богатом деревянном ящике, а у его изголовья стоит Симонов сосед по нарам, Дубленый, и, негромко отбивая такт квадратными коричневыми ладонями, поет:

Ах, огурчики,
Помидорчики!
Сталин Кирова убил
В коридорчике.

В картине этой фигурировал и сам Симон. Он появлялся в дверях зала с мерцающими белыми колоннами, но к гробу близко не подходил, а только заговорщицки подмаргивал распевающему Дубленому. От картины к картине композиция и сюжет несколько менялись. Гроб помещался на красный, обтянутый рытым бархатом помост, Дубленый стоял то справа, то слева от покойника, а однажды нивесть откуда появился Калинин, в залосненном черном костюме, маленький, с постным лицом и серебряной бородой клином. Наставив тугое ухо, Калинин с печальным доверием слушал песню Дубленого.

Произвольные эти картины были прерваны тихим, царапающим стуком в дверь.

— Да, — приглушенным голосом произнесла Мира. — Войдите!

Вошла, более чем обычно горбясь, Хана Исаковна. За ней вошла, придерживая открытую дверь рукой, защитница Рахиль Львовна. Затем порожец переступил малого роста мужчина с массивными, тяжелыми плечами. Короткая кожаная куртка обтягивала округлое туловище здоровяка.

— Он тоже наш, — сообщила Хана Исаковна, — еврей. Это Александр Александрович Трояновский. Так что вы не бойтесь — все свои.

Сан Саныч Трояновский, давний приятель Рахили

Львовны, был вольный, начальник геологоразведочной группы. Эта самая группа вот уже несколько лет подряд с весны по осень вела изыскания в окрестностях Джеты-Су.

Сан Саныч приехал накануне, ночным поездом.

Все эти сведения, наверняка заинтересовавшие бы Ашкенази вчера или третьего дня, нынче оставили их почти безучастными. Молчаливо, доброжелательно глядели они на пришедших.

— Что теперь с нами будет? — спросила, наконец, Хана Исаковна.

Ей не ответили.

В удобном, нетяготящем молчании Сан Саныч извлек из глубинных недр своей куртки две бутылки коньяка. Присев на корточки, он сильно, но бережно ударил ободком донца о пол, а потом таким же образом откупорил вторую бутылку. Пробки с одного удара выскакивали почти целиком и задерживались в горлышке только оттого, что Сан Саныч придерживал их большим пальцем правой руки.

Откупорив, Сан Саныч поставил бутылки на край стола и, ступая мягко, словно бы не желая нарушить значительную и важную тишину комнаты, отошел к стене.

На манипуляции Сан Саныча смотрели без особого любопытства, но с удивлением. Смотрели, настоятельно ожидая каких-либо слов или продолжения действий.

Сан Саныч, так же мягко вернувшись к столу, опустил ладони на горлышки бутылок.

— Я ведь тоже москвич, — сказал Сан Саныч и улыбнулся.

Симон со своего сундука с удовольствием наблюдал, как улыбаются щеки плечистого геолога, его мужественно гофрированный морщинами лоб с высокими пролысынами, его круглый, мясистый, надежно пристегнутый к лицу подбородок. А глаза — отдельно от лица, сами по себе — улыбались и раньше. И Симон понял это только теперь, когда щеки, губы, подбор-

док Сан Саныча пришли в приветливое движение и исчезло несоответствие между вопросительно напряженным лицом и улыбавшимися с самого начала глазами.

— Давайте выпьем, — сказал Сан Саныч. — Со знакомством.

Легко сказать — ”выпьем”. Это ведь делается не сразу в семейном доме. Ефим пошел к Сергею Васильевичу за гранеными стопками, Мира — к Марье Петровне — за солеными огурцами. Симон запалил керосинку — греть оставшуюся от завтрака картошку. Женя и Сан Саныч разделявали селедку и резали лук. Хорошо выпить коньяка 6 марта 1953 года — от всех страхов, от всех надежд. Хана Исаковна принесла, оказывается, пяток крутых яиц и теперь чистила их на краешке стола, на газетке. Всем нашлось дело. Защитница Рахиль Львовна то и дело спрашивала ”Что бы мне такое сделать?”, расхаживала по комнате и не делала ничего. Главное — не сидеть на месте, не вжиматься ухом в репродуктор. Хорошо выпить коньяка 6 марта, в пятом часу дня.

А ОН лежит в своем богатом деревянном ящике, никого не влит запятать и застрелить. Что же теперь будет?

— Симон, поспела картошка — неси. Давайте выпьем!

— Извините, что такая закуска...

— У нас в Шанхае, когда муж пил коньяк...

— За что пьем?

— ...

— Может, просто?

— Господи, сегодня ведь тебе двадцать два года!

Фимушка!

— Ла хаим!

Гита вошла без стука, очень решительно. В руке она держала синюю авоську с коричневым каракулевым воротником.

— Вы уже слышали? — спросила Гита, остановившись посреди комнаты. — Надо что-то делать...

– Там без нас справятся, – сказал Сан Саныч.
– Садитесь, – сказала Мира. – Мальчики, подвиньтесь...

Гита повесила пальто на гвоздь. Авоську с воротником она положила на Симонов сундук.

– Как вы думаете, что теперь будет? – спросила Гита, сев.

– Надо по-другому ставить вопрос, – сказал Женья. – "Что от этого будет евреям?"

– Хорошо не будет, – тоном пророчицы заявила Гита. – Что тут может быть хорошо? – и она остро пожала плечами.

– Ну, ладно, – сказал Ефим. – Что мы, собственно, можем сделать? Ровным счетом ничего. Сидеть и ждать. Нам сидеть десять лет, так что время есть.

– Кто знает, – сказал Сан Саныч. – ОН ведь тоже не думал, что все так обернется... Так что давайте лучше выпьем.

Симон под шумок выпил две стопки. Он пил коньяк впервые в жизни, и теперь чувствовал себя странно. Сан Саныч, кажется, заметил это его состояние и время от времени поглядывал на него. Один раз он даже поощрительно подмигнул ему незаметно для других. Впрочем, Симон в этом не был уверен – может быть, ему просто показалось.

Сквозь плотный, густой шум, вдруг отгородивший его от всех в комнате, Симон прислушивался к разговору. О Сталине не говорили вовсе – и это принесло облегченье, какое-то судорожное оживление: ОН умер, ЕГО больше нет, ОН валяется в своем мертвецком ящике – а мы, люди, живы, мы отваживаемся делать вид, что ничего, в сущности, и не произошло... Потом Симон перестал слушать. И эту комнату, и этот темный зал с мерцающими белыми колоннами, с богатым гробом на красном бархатном помосте, с поющим Дубленным и хрупким Калининым – их словно бы прицепили канатами к большому грузовику и увезли далеко-далеко, к самому пределу видимости. На смену им явилось поле, неширокое, с редкими деревьями. По сухой земле поля шли двое, и Симон тотчас узнал их: то был он

сам, Симон, и его отец. Отец вел сына к пещере, что расположена была на краю поля. ”Запомни, Симон, — сказал отец, когда они вошли под своды, — это наша пещера. Мы купили ее за четыреста сиклей серебра — ее вместе с полем, на котором она, и со всеми деревьями, что на поле. Запомни, Симон, мезунек: я хочу, чтобы кости мои лежали здесь, в нашей пещере Махпеле”.

Разошлись поздно. Ночь была празднично нова, чиста, остро пахла живой весенней прелью и, казалось, звездами — крупными и густыми, бесчисленными в огромном и высоком небе. Мир Джеты-Су под этим небом напоминал затемненный храм, где вот-вот зазвучит могучий и нежный голос органа, и люди начнут плакать, не кривя лиц и не замечая своих слез. И робкая, потаенная вера в необъяснимое, и уверенность в собственном ничтожестве перед этим огромным коснется их.

Назавтра Мира получила письмо из военной прокуратуры, из Москвы:

”На Ваши жалобы, адресованные в Министерство Внутренних Дел СССР и Генеральному Прокурору СССР, сообщаю, что Ашкенази П. Д. за совершенные им тяжкие государственные преступления 18 июля 1952 года осужден Военной Коллегией Верховного Суда СССР.

Проверкой дела Ашкенази П. Д. установлено, что виновность его полностью доказана материалами предварительного и судебного следствия и оснований к отмене или изменению приговора по его делу не имеется.

Сведениями о местонахождении Ашкенази П. Д. прокуратура не располагает.

Установлено также, что Вы, а также Ашкенази Е. П., Ашкенази С. П., Ашкенази Е. Н., Ашкенази Г. Д., как члены семьи изменника Родины, осужденного Военной Коллегией Верховного Суда СССР, подвергнуты ссылке правильно и оснований к пересмотру решения в отношении вас не имеется.

Ваши жалобы оставлены без удовлетворения”.

6. ПОХОРОННЫЙ ОРКЕСТР

Отца Симона, Пинхаса Ашкенази, арестовали в 49 году. О том, что он 18 июля 1952 года был осужден за измену родине, его семья узнала уже в Джеты-Су. В чем заключалась измена и как за нее был наказан Пинхас Ашкенази — это Мире и ее сыновьям сообщено не было.

В семье Ашкенази об отце говорили редко. "Он был" или "он есть" — этого не знала ни Мира, ни мальчики. Но все чаще вспоминали они о Пинхасе Ашкенази в прошедшем времени. Несколько раз, еще в Москве, доходили до них безумные вести: Ашкенази видели на Колыме, он в лагере, получил двадцать пять лет. Или: Ашкенази видели в Вологодской пересыльной тюрьме, его везли в Абезь, он страдает от люмбаго. Мира ходила окрыленная: он жив! Спустя десять дней выяснялось, что никто его не видел... От жены одного крупного следователя МГБ, через окольных знакомых Ашкенази, ныне с ними и не раскланивающихся из боязни навлечь на себя неприятности, стало известно: Пинхаса они больше не увидят никогда. Об этом проро-

честве старались не вспоминать — но и забыть не могли, и нечего было ему противопоставить. Разве что такое: один из заместителей министра госбезопасности, живший в одном доме с Ашкенази, за несколько дней до их высылки потрепал возвращавшегося из школы Симона по щеке. Этот факт был расценен Мирой как положительный.

Симон мечтал яростно, сжимая кулаки: вот открывается дверь и входит отец. Дверь не открывалась. Тогда Симон начинал вспоминать все, слышанное об отце, деде, прадеде и тех, кто был еще раньше. Он бережно раскладывал перед собой все эти многочисленные семейные предания — иногда забавные, чаще грустные, — он незаметно для себя приукрашивал одни, произвольно сокращал другие и уже не в состоянии был отделить собственный вымысел от первоначальной действительности. Из затемненного угла парижского кафе "Ротонда" он наблюдал, как в зал входит его отец, прозванный здесь Пьером Лебо. Потом он без перехода, словно бы перевернув страницу, оказывался в нищем местечке близ Проскурова. Белые козы лениво ходили по улицам этого местечка, и старые еврейки в париках зазывали с порогов подвыпившего шабесгоя. И в одном из домишек, на всклокоченно заросшей дересвьями кривой улочке, рабби Давид Ашкенази рассказывал своему внуку Пинхасу, сидящему у его колен, удивительную историю о том, что не столь уж далекий их предок — адмирал португальской короны Лоренцо Лакиш командовал высадкой десанта с борта своей каравеллы "Непорочное зачатие" на берег южного острова Занзибар, близ укрепленной деревни Бубубу. Пинхас слушал внимательно, наморщив лоб, высоко вздернув короткие тонкие брови... И еще одно появлялось — раньше ли, позже: он, Симон, проходит густорозовым вечером по каменной улице приморского города, легко лежащего на пологих холмах. Он идет не спеша, с нежностью опуская ноги на камни мостовой.

Он оглядывается, ищет что-то — и вот находит: среди теплых дневным еще теплом камней дороги, плотно пригнанных, рыжеет прогалинка обнаженной земли. И он набирает ее в ладони — сухую и душистую, и погружает в нее лицо, и целует ее, — потому что это земля его Родины.

Мечты, однако, не заслоняли от Симона действительности. Между двумя этими понятиями существовала, если можно так выразиться, стена с дверью; и Симон пользовался этой дверью произвольно, когда испытывал желание перейти из одного состояния в другое.

Действительность, в которой он пребывал большую часть времени, была также прекрасна — по-своему. Она была насыщена запахами летней травы и фальшивого жаркого, для всякого заинтересованного наблюдателя она открывала бесчисленное множество новшеств, вчера незамеченных.

Симон спешил, вбирал новшества жадно, с азартом. После 6 марта произошло два события: прогон через Джеты-Су табунов лошадей и знакомство с Авророй, медицинской сестрой тридцати одного года. Знакомство это состоялось благодаря делу, которым занялся Симон: игре на музыкальных тарелках.

Но вначале о прогоне коней, сильных и прекрасных коней.

О том, что их погонят, стало известно накануне, за день. Это случалось из году в год, примерно в одни и те же числа первой половины апреля. Тысячи коней перегоняли с Юга на северные равнины, богатые травой и водой. Никто бы не сказал достоверно, с какой целью коней гнали через поселок — можно ведь было без всякого труда обогнуть Джеты-Су стороной. И жители Джеты-Су привыкли к перегону и готовились к нему загодя: загоняли во дворы кур, убирали с улиц вкопанные у ворот скамейки, ворота припирали покрепче, закрывали окна дощатыми ставнями.

В день прогона, с самого раннего утра, Джеты-

Су напоминало совершенно вымершее поселение: улицы были тревожно пусты, дети, обычно копошившиеся в уличной пыли, сидели по дворам, за воротами.

Симону строго-настрого велено было не выходить со двора. Внутренне протестуя против такого категорического давления, он все же подчинился безоговорочно — тем более Сергей Васильевич, борючись что-то вроде "затопчут, идола", присоединился к нему на крыше сарая, куда Симон влез для наблюдения за перегоном.

Сергей Васильевич говорил что-то вполголоса — так, не только для Симона, но главным образом для себя самого, и Симон не прислушивался к его словам. Симон всматривался, ждал нетерпеливо — когда ж они наконец появятся, эти кони, которые проскачут по Джеты-Су и уйдут дальше, не обратив ни малейшего внимания ни на Симона Ашкенази, ни на Сергея Васильевича Утюгова, ждущих неизвестно по какой причине с таким нетерпением. Они уйдут, кони, а Симон останется сидеть на крыше сарая, а потом спустится во двор. Симону нельзя уйти с табунами на север, потому что Симон — ссыльный мальчик, а кони свободны. Нет, кони тоже не свободны — над ними поставлены табунщики. Может быть, свободны они? Но ведь им, наверно, осточертело каждый год гонять табуны с юга на север, а потом возвращать их с севера на юг, и лучше бы они сидели дома и попивали чаек. Но им велят гнать, и они гонят. Значит, они тоже не свободны.

Но все-таки здорово было бы уйти с табунами на север.

Кони появились в низком и широком облаке пыли, движущемся по земле подобно валу. Сначала был виден только этот вал, стремительно накатывающийся на Джеты-Су. Потом послышался гул, словно бы по земле вразной колотили гигантскими деревянными палками. А потом кони достигли Джеты-Су и поглотили его.

Они неторопливо скакали вплотную друг к дру-

гу, вплотную к дувалам. Они были подавляюще грозны в своем спокойном движении сквозь Джеты-Су, продолжавшемся полчаса или, может быть, час. Старик и мальчик молчали — вначале восторженно, а затем подавленно — глядя без устали на скачущих внизу коней. Невозможно было не думать о том, что станется с человеком, попади он в гущу бегущего табуна.

Здорово было бы уйти с табунами на север.

За последним рядом коней проскакали табунщики с длинными укрюками в руках. Один из них равнодушно взглянул на старика и мальчика, сидевших на крыше сарая.

На севере много воды, много травы. Туда нельзя.

Здорово было бы уйти на север.

Кони исчезли, и разглаженная, ровно выбитая и выщербленная нековаными копытами улица снова стала пустынной и мертвой. И желтая легкая пыль, взметенная проскакавшими, медленно снижалась, а потом и вовсе спустилась и соединилась с сухой глиной дороги.

Табуны ушли на север, на летние кочевья.

С Авророй Симон познакомился, играя на музыкальных тарелках. Это произошло недели через полторы после прогона табунов. К тому времени Симон уже имел работу, которая давала ему неплохой заработок и помимо наличных денег кормила его тоже совсем неплохо. Симон не без оснований чувствовал себя самостоятельным. Ему и в голову не приходило, что каких-нибудь четыре месяца назад настоящее его положение показалось бы ему нелепым и катастрофическим. Однако то, что было четыре месяца назад, никак не укладывалось ни в границах фантазии, ни в границах реального, и Симон с великолепной легкостью вычеркнул это допотопное прошлое из своего существования. Последние обломки прошлой своей жизни он оставил в переполненной камере вагона ЗАК. Ступив на землю Джеты-Су,

он произвольно, в совершенном соответствии с законом выживания соразмерил свою новую жизнь с новым миром, в который он попал. Масштабы прошлого не подходили к этому миру. Единственным реальным образом прошлого, который неизбежно сохранялся в памяти и к которому Симон, мечтая и фантазируя, возвращался непременно, был образ отца, Пинхаса Ашкенази.

Итак, бредя однажды без дела по вокзальной площади, Симон заметил прилепленное к телеграфному столбу объявление и подошел почитать.

“Оркестру народных инструментов требуется тарелочник. Оплата сдельная. Обращаться к т. Ли, в Дом культуры по адресу: ул. Амангельды, 82”.

Симон и понятия не имел о том, что в Джеты-Су есть Дом культуры. Теперь, узнав о существовании такой организации из рукописного объявления, он не удивился ничуть. Наморщив лоб, он соображал, каким образом можно оплачивать музыкального тарелочника сдельно.

Полчаса спустя он подошел к дому № 82 по улице Амангельды — саманной развалюхе в глубине голого глинистого участка. “Главное, чтоб сразу же не устроили проверку, — думал Симон, отворяя скрипучую дверь. — Значит, Ли. Кореец...”.

Кореец Ли, гладколицый мужчина лет пятидесяти, сидел в задней комнате Дома культуры и ел рыбу. Разложив большую, в две ладони, печеную рыбу на газете, он старательно и сосредоточенно обсасывал острые реберные кости и складывал их в аккуратную горку, в стороне от необъеденной еще части рыбы. Поглядев на Симона из своих щелок, кореец ничего не сказал ему и продолжал есть.

Симон тем временем осматривался. Вдоль одной из стен, на некрашенной деревянной полке, сложены были музыкальные инструменты, правда, не казахские народные. На полке лежал обшарпанный кларнет, почти новая валторна с плоским раструбом и гигантский геликон, похожий на сытого дремлющего

удава. На полу под полкой стоял большой турецкий барабан. Рядом с ним лежали пыльные, мутные тарелки. Симон, никогда прежде не видевший музыкальных тарелок, и не предполагал, что они столь велики.

Кореец, покончив с рыбой, распахнул пиджак, вытер руки о намотанное вокруг живота махровое полотенце и снова поглядел на Симона из своих щелок.

– Тебе чего? – спросил кореец, заворачивая в газету рыбы останки.

– Тарелочник я, – сказал Симон и, поскольку глаза корейца не выразили ничего, добавил: – По объвлению...

– На тарелках играл? – спросил кореец, откидываясь на спинку стула и засовывая большие пальцы за махровое полотенце.

– Я даже на скрипке могу, – сказал Симон, уклонившись от прямого ответа. Он был почти уверен, что во всем Джеты-Су не найдется ни одной скрипки и, таким образом, проверка его умения и способностей исключена.

– Ладно, – сказал кореец, подумав. – На скрипке нам не надо. Тарелочника нашего посадили. Ахметов, дракон, посадил.

– Да? – сказал Симон, потому что кореец не стал ему объяснять, по какой причине Ахметов посадил тарелочника.

– А что ж – нет, что ли? – без раздражения сказал кореец. – Он в Джамбул без разрешения ездил, за курагой – вот и попал. Жрать-то надо!

Кореец, видно, расстроился и погрузился.

– Как тебя звать-то? – спросил кореец, немного помолчав.

– Симон, – сказал Симон.

– Турок, что ли? – спросил кореец. – Хотя нет, это город у них такой есть – Самсун, что ли...

– Я еврей, – сказал Симон.

– Ну? – удивился кореец. – Сам откуда?

– Из Москвы.

– Что, уже выселяют ваших, что ли? – сочувственно

поинтересовался кореец. — Давно разговоры ходили...

— Нас вот выслали, — сказал Симон, пожав плечами.

— А нас давно выслали, — назидательно, не без превосходства сказал кореец. — Еще до войны...

— Я тарелки возьму, — сказал Симон. — Почищу.

— Ну, почисть, — согласился кореец. — Репетиция у нас в три часа.

— А как это — ”оплата сдельная”? — спросил Симон вытаскивая тарелки из-под полки.

— А-а... — сказал кореец. — Ну, сколько наиграешь — столько и получишь. Бумажка за похороны, да на поминках ешь — не зевай.

Симону кореец понравился. Это он хорошо придумал — ”Оркестр народных инструментов”! А что? Казахи, в конце концов, тоже умирают. Правда, казахов в Джеты-Су раз-два и обчелся.

Кое-что, однако, тревожило Симона в этой истории с оркестром: во-первых, он еще никогда в жизни не видел мертвеца, а во-вторых, безоговорочно был лишен музыкального слуха.

Тем не менее на репетицию он явился за полчаса до начала, прижимая локтем к боку тарелки, начищенные до зеркального блеска. Коллектив похоронного ”оркестра народных инструментов” встретил его, в общем-то, доброжелательно. Тусклым голосом хронического больного кореец Ли представил Симона валторнисту Сереже, геликонщику Петьке и барабанщику Цюю Роману — очень старому корейцу с морщинистым лицом цвета сахарной жженки. На кларнете играл в оркестре сам Ли.

— Это новый тарелочник, — сказал Ли. — Он говорит, что умеет играть на скрипке.

Эта новость, к большому облегчению Симона, не произвела на похоронщиков никакого впечатления.

Геликонщик Петька, долговязый малый в стоптанных кирзовых сапогах, с круглым безбровым лицом, подошел к Симону.

— Ты марш похоронный знаешь? — спросил Петь-

ка. -- Не играл? Ну, не важно. После меня вступай. Как я кончу – сразу бей.

Такой профессиональный разговор расположил Симона к геликонщику.

– Слушай, -- спросил Симон незаметно для других, – а чего это Ли полотенце надел?

– Да радикулит у него, – сказал Петька. – Который год мучается... Пить надо больше. – Это последнее замечание Петька сделал тоном, не допускающим сомнений.

Ли достал с полки свой кларнет и заботливо, как-то даже по-отечески протер его рукавом пиджака.

– Ну, давайте, – сказал Ли и сунул мундштук кларнета в рот.

”Та-а-а”, – хрипло пробасил Петька и скосил глаза на Симона. Суетливо размахнувшись, Симон сблизил и свел тарелки. Раздался короткий металлический стук, тут же угасший. Поднявший было руку с битой старый кореец Цой Роман так и не опустил ее.

– Нет, – сказал Ли. – Ударяй с оттяжкой, а потом сдвигай, а то звук глохнет. Понял? Вот так! – и, взяв у Симона тарелки, Ли показал как. Комната наполнилась медленным звучанием разбуженного металла. – Ну, понял?

Симон кивнул головой, благодарный за то, что его не спросили, держал ли он когда-либо прежде тарелки в руках. Петька снова упруго выдавил свое ”та-а-а”, и Симон, дождавшись конца звука, ударил изо всех сил тарелкой о тарелку.

– Не лупи, – сказал Ли. – Нежней надо... Продолжаем!

Музыкальные похоронщики без дела не сидели. Назавтра после поступления Симона в оркестр они играли на похоронах грека Иванопуло. Этот грек торговал в летние месяцы газированной водой на на углу Амангельды и Маркса. Почему теплая мутно-красная жидкость, которой торговал Иванопуло, называлась газированной водой – это оставалось загадкой для жителей Джеты-Су: газ в поселок не

завозился, и, следовательно, газировать воду было нечем. Люди Джеты-Су, надо отдать им должное, разрешить эту загадку даже и не пытались. Липкую мутно-красную жидкость они покупали и пили, потому что другой не было. Этого было достаточно и им, и греку.

Одним словом, грек умер и следовало предать его земле. И если бы на похоронах не играл оркестр, родственники покойного никогда бы себе этого не простили. А им, в свою очередь, никогда бы этого не простили жители улицы Буденного, на которой жил грек, жители улиц Амангельды и Маркса, на углу которых он торговал, а также вовсе неизвестные жители отдаленных улиц, — уж будьте покойны. Предвидя могущие возникнуть неприятности, родственники покойного грека Ивануло, ни минуты не колеблясь, пригласили похоронный оркестр корейца Ли. Впрочем, родственники действовали не только из соображений благопристойности и добропорядочности: музыку ведь всегда хорошо послушать, особенно в торжественных случаях.

Вот поэтому Симон и надел старую, но “приличную”, выходную куртку и, готовясь с волнением к своему первому публичному выступлению, смочил волосы водой и причесался.

Мира, посвященная в музыкальные дела сына, провожала его как на ответственный концерт. От братьев свое новое занятие Симон держал покамест в секрете, опасаясь конфуза.

— Ты громко не играй, — втолковывал кореец Симону по дороге от Дома культуры к дому покойного Ивануло. — Играй тихо. Главное — в такт попадай, а то нас всех собьешь...

Кореец был человек неплохой. Быть может, этому способствовала радикулитная боль — она держала корейца в состоянии постоянной печали, а печальные люди, как правило, терпимы и добры к окружающим. Впрочем, и у них случаются время от времени срывы, очень бурные. Надо думать, это связано с временным

отступлением боли — человек знает, что боль неизбежно вернется, и переживает по этому поводу.

Симон нервничал — отчасти из-за предстоящей игры на тарелках, отчасти же потому, что понятия не имел, где его поставит кореец Ли — близко или подале от покойного Иванопуло. Стоять рядом с мертвым человеческим телом и играть на тарелках — это казалось Симону нелепостью. Кроме того, загодя представляя себе свое стояние близ покойника, он испытывал противный озноб.

Шагая с тарелками под мышкой к дому Иванопуло, Симон сожалел о том, что не позвал на похороны Ефима или Женю. Братья стояли бы в толпе — никто бы им этого не запретил, а Симону было бы куда легче: все-таки свои. Потом Симон вдруг подумал, что неловко, нехорошо есть на поминках, после того, как все кончится. Что же неудобно есть? Да все: жареную сомятину, вареную куриную ногу, салат-оливье с майонезом — непременно с майонезом, ха-ха-ха! — холодец с красным хреном, редьку с гусиными шкварками и фаршированную рыбу. Фаршированную рыбу Симон представил себе зримо: большие, с кулак, куски, в застывшем зыбком желе, с мягкими вываренными косточками, которые можно преспокойно жевать и глотать...

— Мне племянник его говорил, иванопулский — сказал Петька, на ходу оборотясь к Симону, — они барана целого купили... Жрать чего-то хочется!

— А удобно? — спросил Симон.

— Чего? — не понял Петька.

— Ну, есть... — сказал Симон. — Там ведь свои собираются, на поминках.

— Еще чего! — удивился Петька. — Свои!.. А мы не свои, что ли? Как мясо принесут — бери смело! Он на своей газводе целую отару заработал. Так что ты насчет этого не думай. Водку пьешь?

— Пью, — сказал Симон почти с ужасом.

— Ну и вот, — твердо сказал Петька. — Со мной рядом садись — бутылку раскрутим... А то — свои, не свои. Дура!

Жидкая толпа знакомых и зевак маялась у ворот в ожидании выноса тела. Там же, на улице, стояла старенькая полупортка с откинутыми бортами. Кузов полупортки был застлан ковровой дорожкой, на дорожку устроители похорон поставили большую кадку с фикусом.

— Хороший фикус, — одобрил Петька, заглядывая в кузов. — Стоящая вещь... Молодцы!

Молодцы — родственники покойного Иванопуло — показались, наконец, в воротах. Четверо мужчин в выходных костюмах несли на плечах дощатый гроб, крашенный желтой масляной краской "под мрамор". Им предшествовал молодой парень, прижимавший к себе островерхую крышку. Парень то и дело выглядывал из-за крышки и смотрел перед собой, чтобы не споткнуться. Процессию заключали две женщины — одна молодая, другая средних лет. Они бережно, но настойчиво вели под руки толстую старуху в черном шелковом платье, черных чулках, черных лакированных туфлях и черной косынке, завязанной узлом пониже затылка. То была вдова Иванопуло, надо полагать.

Незаметно привстав на носки и вытянув шею, Симон разглядывал то, что лежало в деревянном ящике, водружаемом в кузов грузовика. Мертвое тело в ящике ничем не напоминало грека Иванопуло, торговца газводой. Тот грек отличался высокомерием — в естественном соответствии со своим положением в ссыльном обществе и материальной обеспеченностью — и беззастенчивой наглостью мелкого жулика. Лицо же мертвого тела обрело почему-то черты честного человека, столь несвойственные Иванопуло.

Симон ничего такого не зная о культуре смерти и о похоронных традициях, выдержавших испытание временем. Он заранее настроил себя на печальный лад по поводу смерти чужого ему человека, грека Иванопуло. Но удивительная, необъяснимая трансформация, происшедшая с лицом грека, настолько озадачила и потрясла Симона, что он и думать забыл о своей грусти, всего несколько минут назад казавшейся ему

обязательной и необходимой. По дороге сюда Симон безотчетно желал скорбеть: человек умер, разрушилась частица целого, к которому принадлежал и сам Симон. И вот ничего из этой запланированной скорби не получилось.

Как только гроб поставили в кузов на разновысокие козлы, придавшие гробу наклонное положение, кореец Ли взмахнул рукой и, напрягая щеки, задул в мундштук кларнета. Дождавшись конца выдоха, ударил Симон. Услышав музыку, женщины в толпе как по команде заплакали вполголоса, а вдова повисла на руках у державших ее женщин.

Грузовик, обдавший процессию клубами голубого дыма, тронулся с места и медленно поехал по улице. Соблюдая определенный порядок, двинулись за грузовиком и провожающие. Четверо мужчин, ставивших гроб в кузов, выделились в отдельную группу — то были сыновья Иванопуло. За ними шли дальние родственники, довольно многочисленные, и знакомые. Вдову покойного, загребавшую пыль лакированными туфлями, по-прежнему вели две женщины — молодая и постарше — почти вплотную к откинутому заднему борту грузовика.

Когда Симон взглянул на молодую, ему вдруг сделалось хорошо и суетливо.

— Кто это? — спросил Симон у Петьки, когда кореец дал знак к краткому перерыву в игре.

— Черт ее знает! — сказал Петька, мельком взглянув на женщин, ведущих вдову. — Старая — дочка его, Ли с ней договаривался насчет сегодня.

Теперь Симон играл невнимательно, и, может быть, именно поэтому игра почти удавалась ему. Он то и дело поглядывал на молодую женщину слева от вдовы, сожалея о том, что оркестр идет в стороне от грузовика. О мертвеце он забыл думать.

Ему хотелось, чтобы та, слева, взглянула на него, но вместе с тем он и боялся этого. Ну, взглянет она — и что тогда? Он внимательно, пристрастно изучал ее профиль — прямой короткий нос с широкими круглы-

ми крыльями, чуть приподнятая верхняя губа, несомкнутая с нижней, округлой и полной, и неестественного оттенка розово-рыжие волосы, почти морковные, уложенные высоко и прихотливо. Крупновырезанные голубые глаза были низко прикрыты тяжелыми веками, опущенными прямыми густыми ресницами, также рыжими. Обильные, контрастные на белой до голубизны коже веснушки покрывали пухлые щеки. На красивом лице этой женщины нельзя было обнаружить искренней печали, но и сугубого безразличия на нем не было. Она просто вела спотыкающуюся на каждом шагу вдову Иванову, вот и все. Она, можно полагать, уже отпраздновала свое тридцатилетие, правда, недавно.

— А на поминки кто пойдет? — спросил Симон у Петьки.

— Ну, кто... — раздумчиво сказал Петька. — Каждый хочет, конечно. Родственники пойдут, близкие. По приглашению!

— Кто бабушку ведет, — сказал Симон с полувопросом, — те пойдут, наверно...

— Эти пойдут, — заверил Петька. — Куда денутся!

Найдя в словах Петьки подтверждение своим предположениям, Симон почти успокоился. Конечно, она приглашена на поминки, иначе зачем бы именно она поддерживала старуху, а не другая какая-нибудь женщина! Правда, у нее могут найтись дела после похорон, не дай Бог. Работает же она, в конце-то концов! Но, может, ей удалось отпроситься. Не каждый ведь день умирает Иванову, к которому она, по всей видимости, имеет прямое отношение. А если ее все-таки не отпустили с работы? Ну, раз она такая идиотка, что даже не может отпроситься с работы на поминки, то не о чем тогда говорить. Нет, она, конечно, не идиотка, просто у нее начальник такой дурак бессовестный...

Размышляя и прикидывая таким образом, Симон вместе с прочими участниками траурной процессии добрал до христианского кладбища, отграниченного от мусульманского добротным забором и расположен-

ного сразу же за крайними кибитками Джеты-Су. Там, на христианском кладбище, деловитые могильщики без помех предали Иванопуло земле, а оркестранты корейца Ли играли грустный марш беспрерывно, потому что не было у этого марша ни начала, ни конца. Яма, предназначенная для Иванопуло, пришлась у самого забора. Влезши на забор, мусульманские нищие с белыми, светящимися на солнце бородами, глядели на происходившее задумчиво и неодобрительно.

Когда все кончилось, приглашенные влезли в кузов поджидавшего грузовика и поехали на поминки. Теперь грузовик гнал вовсю — шофер, видно, спешил. Приглашенные, сцепившись руками, стояли в кузове и сосредоточенно, все вместе, подпрыгивали на выбоинах дороги.

— Ну, пошли, — сказал Ли, которого в грузовик не позвали — там не хватило места.

— Давайте огородами, — предложил Петька, — быстрее будет. А то к завтраму придем, объедки одни собирать.

— Конечно, — согласился барабанщик, старый кореец Цой Роман. — Все-таки люди — сволочи, я всегда это говорю. Как для них играть — Цой, Ли, другие там! Пожалуйста, играйте! А нам кто сыграет, если нас не приглашают даже в машину?

Цой Роман в людей не верил ничуть и по этой причине был склонен к философствованию. На горький вопрос "а нам кто сыграет?" он, несомненно, ответил бы: "никто нам не сыграет!" — ответил бы, если б было у него на то свободное время. Но времени у него не было, потому что Ли, Петька и Симон уже перемахнули через забор и теперь ходко шли мимо мусульманских могил, направляясь к огородам. Цой Роман осторожно перебросил барабан через гребень забора, а потом, кряхтя, перелез сам. Нищий мусульманский старик помог ему, протянув руку. Спрыгнув на землю, кореец протянул нищему монету, и тот принял ее без благодарности. Кореец был уверен, что доброта и жалость несвойственны человеку, особенно по отно-

шению к незнакомым людям, — а потому требуют вознаграждения. Одинокий кореец уверился в этом давным-давно и теперь, на старости лет, не собирался менять свои убеждения.

Подобрав барабан, Цой догнал оркестрантов, и они, спеша, зашагали вместе.

— Простите, — сказал Симон, — мы вперед ушли...

— Ну и что, — сказал Цой. — Я бы вас тоже обогнал. Но теперь я от вас не отстану.

Миновав кладбище, они вышли к огородам и пошли, перепрыгивая через картофельные грядки. Со стороны это выглядело нелепо: четверо нагруженных музыкальными инструментами людей прыгают через грядки. Но не было того, кто бы заинтересовался их заботой.

Впереди остальных спешил Цой Роман с большим турецким барабаном. Ли немного отстал, он боялся, что резкие движения вызовут приступ радикулита.

К дому Иванопуло они подошли, когда приглашенные гости уже расселись за столами, расставленными во дворе.

— Пospели, черт! — сказал Петька, входя в калитку.

Людей было много, на лавках сидели, тесно прижавшись друг к другу. Рыжую Симон увидел не сразу, она сидела за крайним столом, около арыка.

— Вы пока поиграйте, — сказал оркестрантам сын Иванопуло, долговязый коротковолосый грек с угловато вырубленной головой. — Сейчас вам принесут.

Потом он отвел их к арыку, и они уселись там на траву. Один Цой Роман остался стоять, ему неловко было играть на барабанае, сидя на траве.

Симону вдруг стало жарко, он почувствовал горячую температуру своей крови — температуру стыда.

— А нас не посадят за стол? -- спросил он у Петьки странно высоким голосом.

— Не, — сказал Петька, наклоня геликон и выливая из него слюну. — Мы здесь будем. Жратву сейчас принесут.

Им несли вареное мясо в алюминиевом тазике, хлеб и две бутылки водки.

Цой Роман вытащил из кармана припасенную газету, расправил ее и аккуратно разостлал на траве.

— Порядок, — сказал Петька. — По первенькой... — и налил в стаканы водку.

— Ты парню-то не переливай, — заметил Ли. — Ему еще играть.

— Да я ему на три пальца! — сказал Петька и отхлебнул из Симонова стакана глоток. — Поехали, что ли!

Они выпили и зажевали мясом и хлебом. Симон пил водку впервые в жизни, теплая жидкость медленным огнем прокатилась по его пищеводу и обволокла желудок.

— А я первый раз пью, — сказал Симон с некоторым вызовом.

— Да? Ну и как? — поинтересовался Ли.

— Здорово! — сказал Симон.

— Все начинается с первого раза, — глубокомысленно констатировал Цой Роман.

— Девочку тебе надо для первого раза, — сказал Петька. — А? Честно, девочку ты пробовал?

Симон улыбнулся открыто, ничего не ответил Петьке.

— Не убежит от него, — сказал Ли рассудительно. — Куда гнать-то? Успеет! Это дело не хитрое...

— Ему не надо, — категорически заявил Цой Роман. — Пускай так живет. Баба человеку ничего не дает, только отнимает.

Петьке это не понравилось:

— Ну, ты загнешь, отец! Сам-то, небось, бабу не отодвигал, а парню советы заворачиваешь. Ему, может, сейчас время начинать! Ты его не держи.

— Держать не буду, — согласился Цой Роман. — А совет по опыту даю. Я баб этих перевалил — ой-ой-ой! И наших, и русачек, и каких хочешь. Ей, бабе, чего надо? Черт ее поймет! — заключил кореец раздраженно.

— А сколько перевалил-то, батя? — полюбопытствовал Петька.

— Десятка четыре наберется, — подумав, сказал кореец.

— Негусто! — присвистнул Петька. — Вот я его, —

Петька кивнул на Симона, – к Наташке сведу путьремовской, так она ему всю науку покажет. Она одна чертовой дюжины стоит.

– Стоит, – съядовитствовал Цой Роман. – А потом без носа ходи.

Ли разлил еще, и они втроем выпили. А Симон, обернувшись, глядел не мигая на ту рыжую женщину, сидящую к нему спиной – на ее плотные, обтянутые шелковыми чулками ноги, на округлые, спокойные бедра.

– Играем, – сказал Ли и потянулся за кларнетом.

Играли они долго. Пьющие и едящие люди привыкли к их игре и не обращали на нее внимания. О покойном никто уже не вспоминал, поскольку в самом начале было выяснено, что торговец газводой был отзывчивым другом, прекрасным семьянином, человеком с большой буквы. Оставшиеся в живых, по словам провозглашавших тосты в самом начале, никогда не забудут Иванопуло, и он навсегда останется жить в их сердцах... Вслед за тем торжественность рассеялась, разговор перешел на бытовые, насущные темы, и Иванопуло был с миром забыт навсегда.

Часа через два оркестранты прекратили играть. Гости, устав сидеть за столами, разбрелись к тому времени по всему двору. Сбегав на кухню, Петька принес бутылку водки и бараньи кости с мясом.

– Слушай, Петь, – сказал Симон, когда Петька, выпив водки с Цой Романом, захрустел жилами, намертво приросшими к старым бараньим мослам. – Как бы узнать, как вон ту зовут? Видишь, рыжая такая?

– Старовата она для тебя, – озаботился Петька. – Ну, да ладно. Погоди...

Петька поднялся с земли, отряхнул пыль с брюк и решительно направился к рыжеволосой. Симон следил за ним с восторгом и ужасом. Сейчас он безгранично доверял Петьке и даже готов был, не задумываясь, пожертвовать ради него жизнью.

– Извиняюсь, – сказал Петька, подойдя. – Один

наш музыкант очень желает с вами познакомиться.

— А у него, что, ног нет? — спросила рыжеволосая довольно нелюбезно. Хорошо, что Симон не слышал этого ее вопроса.

— Нет, вы не думайте! — с жаром опроверг Петька. — Просто мы хотим пригласить вас посидеть. Ведь поминки!

Рыжеволосая усмехнулась и, направляемая Петькой, подошла к оркестрантам. Симон вскочил, словно подброшенный освобожденной вдруг пружиной. Корейцы остались сидеть на земле, только кивнули подошедшей.

— Вы садитесь, — сказал Петька, — я сейчас стаканчик достану... Это наш новый музыкант, Семен его зовут.

Рыжеволосая после короткой заминки опустилась на землю и, усевшись, взглянула на Симона с любопытством и словно бы с недоверием.

— Симон меня зовут, — негромко и доверительно сказал Симон, глядя прямо в лицо — но не в глаза — этой женщине и как бы отгораживаясь глухой стеной от корейцев, занятых своим разговором. Женщина, напротив, глядела в глаза Симона открыто и чуть улыбалась, отчего ее плотностоящие крупные зубы за выпуклыми гладкими губами влажно поблескивали.

— А меня — Аврора, — сказала женщина. — Ава...

Они помолчали, Аврора продолжала требовательно и ободряюще смотреть на Симона, пока он не поднял глаза и не встретился с нею взглядом.

— Я тарелочник, — сказал Симон, морща лоб и потея. — Вот мои тарелки. Хотите попробовать? — и Симон протянул Авроре тарелки.

Аврора засмеялась, закинув голову. Она смеялась негромко, опираясь на прямые вытянутые назад руки и продолжала глядеть на Симона. Ее тяжелые верхние веки опустились теперь еще ниже.

Симон смешался было, оглянулся на корейцев, но они не обращали на них никакого внимания. Ли, судя

по его позе и выражению лица, скрутила радикулитная боль, и Цой Роман, пользуясь этим, обращал его в свою веру не без успеха.

— Ну-ну, — сказал, подойдя, Петька. — Стакана и то не достать... Выпьем, что ли?

— Мне вот столечко! — показала Аврора.

— Вам с Семеном один стакан, — сказал Петька, — делите сами. Вы родственница будете?

— Медсестра я, — сказала Аврора. — Ты пей, а мне оставь вот столечко... Семен, Симон. Лучше я буду тебя звать Тарелочник. Длинновато, правда, но ничего.

— А он и есть тарелочник! — сообщил Петька. — Поехали, что ли?

Расходились поздно — кругло светила луна, огромная и близкая. Они стояли у ворот, прощались. Нелюбимые днем летающие твари трещали в темноте, неазартно, с привываньем перебрехивались в разных концах Джеты-Су собаки.

— Провожать иди, дура! — шепнул Петька и легонько толкнул Симона в спину. Симон судорожно глотнул воздуха и нетвердо пошел за Авророй.

— Мама ругаться не будет? — спросила Аврора, когда Симон догнал ее и зашагал рядом. — Поздно ведь.

— При чем тут мама, — сказал Симон. — А вы далеко живете?

— Ну, пойдем, — сказала Аврора. — Дай-ка я тебя под руку возьму, а то темно.

И тотчас Симон почувствовал твердую и горячую упругость ее бока. У него подкосились колени, он чуть не упал. Левая его рука, на которую она опиралась, стала чужой — хоть коли ее иголкой. Потом он перестал ее чувствовать совсем, словно бы ее отрубили по плечо. А потом он вновь ее почувствовал — когда она неизвестно как, самовольно оказалась на талии Авроры и потная ладонь, уверенно возвращаясь к жизни, ощутила чужое тело сквозь тонкую ткань платья.

— Тарелочник! — нараспев сказала Аврора, остановилась и повернулась к нему лицом. Теперь он стоял к ней вплотную, у него кружилась голова, он тонул в ее грудях, в ее выпуклом животе, в сильных и нежных ногах, прикасающихся к его ногам. Он испытывал необыкновенную легкость и вместе с тем непроходящую, пульсирующую тяжесть, удерживающую его на земле. Такого с ним еще никогда не бывало, и он досадливо, невнимательно прислушивался к себе.

— Ну, пошли, — сказала Аврора и легко отстранилась от Симона.

Они шли долго, полчаса или больше — Симон не знал. Они шли рядом, но не тесно, не прикасаясь друг к другу. Симону легко было молчать, потому что он неотвязно думал о своей левой руке, ставшей вдруг тяжелой, тяжелее правой. Симон бережно, как хрупкую ценность, нес свою левую руку и думал о том, как она обнимала Аврору и как это было хорошо и прекрасно. Ему очень хотелось снова обнять ее и так продолжать идти, но он никак не мог решиться это сделать. А еще он был рад, что на улице ночь и темно, потому что ему было бы сейчас неловко глядеть на Аврору.

Аврора жила в низком маленьком домике на окраине Джеты-Су. Во дворе, обнесенном кое-где обвалившимся дувалом, чернело несколько карагачей.

— Пришли! — сказала Аврора, остановившись у приоткрытой покосившейся калитки.

— Ну, я пойду, — сказал Симон, немного помолчав. — Жалко, что так близко...

— Дурачок ты маленький! — сказала тогда Аврора, а потом взяла его голову двумя руками, приблизила на миг к своему лицу — глаза к глазам — и долго поцеловала в губы. Почувствовав у себя на губах теплый, ищущий язык женщины, Симон послушно, не зная еще, зачем так надо, разомкнул зубы и закрыл глаза. И снова он ощутил эту беспоконную, дурманную легкость и тяжесть, и время

перестало быть для него минутами и часами.

Когда он открыл глаза, Авроры не было рядом с ним.

7. КАЛУ

Ефим ждал младшего брата неподалеку от дома, расхаживая взад-вперед в свете жидкого фонаря, единственного на улице. Ефим расхаживал, сцепив руки за спиной и немного наклонив голову. Он был слегка близорук и, оглядываясь время от времени, напряженно всматривался в густую тяжелую темноту, вплотную подступившую к желтому островку фонарного света.

Симон увидел брата, обрадовался. Не отдавая себе отчета в том, что привело Ефима среди ночи к фонарю, Симон вдруг почувствовал необходимость поговорить с братом, перекинуться пустячными, на первый взгляд, фразами, ни словом не упоминая Аврору, но давая, тем не менее, отчетливо понять, что с ним, с Симоном, произошло нечто безмерно значительное и важное.

Сунув руки в карманы, Симон легко подошел к брату и остановился против него.

— Негодяй! — сказал Ефим и неумело ударил Симона по щеке. — Ты думаешь о матери?!

Потерянно глядя вслед уходящему к дому Ефиму, Симон соображал, как ему теперь поступить. Идти домой, выслушивать многословные упреки матери?

А как быть с Ефимом? Ведь он его ударил по лицу – родной брат! И он, Симон, войдет сейчас в комнату как ни в чем не бывало, и будет как ни в чем не бывало смотреть на Ефима, а не схватит стул или камень, что ли... А полчаса назад он стоял с Авророй и целовал ее, а Фимка проклятый неизвестно еще, целовал кого-нибудь или нет...

Отрывисто стукнула калитка, пропустив Ефима, и Симон с горечью и злостью подумал, что никто его, собственно говоря, и не приглашал вернуться домой. Наоборот – его оттолкнули, ударили, прогнали как последнюю собаку. Ладно. Ну, ладно. Он уйдет. Он себя прокормит, и матери сумеет кое-чем помочь. А Фимка проклятый еще пожалеет...

Сжав руки в карманах в кулаки, Симон побрел по улице. Он вспомнил, как шестилетним мальчиком, надев две пары трусиков и прихватив кухонный нож и пару картошек, он сбежал из дома и был пойман на вокзале, у поезда, отправляющегося неизвестно куда... Далеко за его спиной снова хлопнула калитка, и он услышал голос Ефима:

– Симон, немедленно иди сюда!

Злорадно ухмыльнувшись, Симон вытащил руки из карманов, коснулся ладонью ноющей щеки и, не оглядываясь, легко побежал прочь от дома.

Подремать до утра можно было бы и на скамеечке у чьих-нибудь ворот, но Симон, подложив под голову снятые с ног туфли, улегся под забором. Лежанье под забором наполняло его мрачной радостью, он чувствовал себя завзятым бродягой, которому все на свете трын-трава. Вот, он лежит под забором, ему холодно, и пойти ему некуда, и он глядит на рассыпанные по всему небу угольки звезд, на нерезкий Млечный путь без начала и без конца... "Млечный путь бесповоротен. Ни дворов, ни подворотен. Ну так что ж! Путь как путь... Приведет куда-нибудь". Где ж он это читал, кто написал это? И вдруг Симон с удивлением и страхом понял, что написал, придумал это он сам, сейчас, здесь,

лежа под забором и глядя в серебряное от звезд небо. И, поняв, утвердившись в своем открытии, он зажмурил глаза и, без конца повторяя про себя строчки стихов, уснул улыбаясь, как после недолгой, но вконец измотавшей его работы, требующей немедленного отдыха.

Проснулся он от холода. Рассвет только наливался, вызревал за горизонтом. Симон медленно поднялся с земли и, натянув рукава куртки на кисти рук, сонно побрел к станции. Там, в крохотном зале ожидания, можно погреться и дождаться утра, и уже потом, при дневном свете и среди людей, решать, как жить дальше.

На двери станционного домика висел большой амбарный замок. Недолго посидев на ступеньке крыльца, Симон вспомнил о деревянных прилавках станционного базарчика. До базарчика было рукой подать — полсотни метров.

Проходя мимо прочных дощатых прилавков, Симон заметил спящего человека. Спящий лежал на боку, спиной к проходящему Симону, высоко поджав ноги и приблизив колени к низко опущенной, спрятанной на груди голове. Такое положение позволяло спящему укрыть свое компактно уложенное тело ветхой ватной телогрейкой — наружу торчал только затылок, покрытый длинными седыми волосами. Симон взглянул на спящего с завистью, дивясь его изобретательности и умению... Мало ли что потревожило и разбудило спящего старика! Может, шаги Симона, а может, само его присутствие. Сбрасывая с себя телогрейку, старик живо перевернулся и сел, свесив ноги с прилавка. Телогрейку он, впрочем, не отложил от себя и не уронил; держа ее обеими руками за полу, он прикрыл ею колени как плащом.

Симон где-то видел этого старого человека, он был уверен в этом. В Москве, в куйбышевской пересылке, в вагоне ЗАК? Он не помнил. Может, на фотографии? Седая, грязная борода старика, росшая от самых глаз, доходила почти до середины груди. Усы нерасторжимо

сливались с бородой, рот скорее угадывался в заросли, чем был виден. Под невысоким прямым лбом, на который падали спутанные седые космы, маслянисто, по-восточному горели небольшие коричневые глаза.

Симон видел эти глаза, этот лоб.

— Иди, садись! — сказал старик, зачем-то подвигаясь на длинном пустом прилавке.

Симон подошел, сел, и старик передал ему свою телогрейку.

— Спасибо, — сказал Симон, кутаясь в теплый, заскорузлый от грязи ватник. — А вас как зовут? — Симон мучительно, досадливо вспоминал, где же он все-таки видел этого старика.

— А как бы ты хотел? — неожиданно спросил старик, повернув к Симону голову и глядя на него требовательно.

— Что? — переспросил Симон.

— Как бы ты хотел, чтоб меня звали?

— Ну, я не знаю... — пожал плечами Симон.

— Он не знает! — улыбнулся, наконец, старик и легонько шлепнул Симона по спине. — Сначала никто ничего не знает, имей это в виду. Ты подумай, а потом скажи, как бы тебе хотелось меня звать.

— Ну, если вы не хотите... — сказал Симон, медленно придвигаясь к краю прилавка. Ему очень не хотелось отдавать ватник.

— Отчего ж! — вполголоса, но с темпераментом воскликнул старик. — Меня зовут Веня. Из всех имен на свете это самое любимое, самое мое, мое собственное имя. Меня зовут Веня. Хочешь, я крикну? — и старик, действительно, прокричал громко как мог: "Меня зовут Веня!"

— А дальше как? — спросил Симон.

— Да никак, — сказал Веня. — Просто Веня.

— Как же так... — недоверчиво усмехнулся Симон. — Вы же...

— А скажи-ка, — перебил его Веня, — чего это ты говоришь мне "вы"?

— Ну, вы старик, — высоко подняв брови и наморщив лоб, сказал Симон.

— Допустим, — с охотой согласился Веня. — Предположим... Но ты вообще-то задумывался над тем, отчего говорят "вы"?

— Ну, уважение... — промямлил Симон, который никогда не задумывался, отчего говорят "вы".

— Значит, уважение, — живо откликнулся Веня. — А почему ты должен меня уважать? Ты, что — меня знаешь? Или, может, потому, что я сплю на базаре? Так ты ведь, по-моему, тоже не гулять сюда пришел.

— Не гулять, — подтвердил Симон, не зная, что сказать старику Вене. — А вы здесь живете? — подумав, добавил он.

— Скажи-ка: "Ты здесь живешь, друг мой и товарищ Веня?"

— Ты здесь живешь, друг мой и товарищ Веня? — послушно повторил Симон.

— Теперь хорошо, — одобрил Веня. — Да, я живу здесь, на базарном рундуке. Я живу здесь с половины четвертого ночи, потому что именно в половине четвертого меня доставил сюда почтовый поезд. И, представь себе, ты — первый человек, с которым я говорю о чем хочу впервые за восемнадцать лет... Как, кстати, называется этот оазис?

— Какой там оазис! — сказал Симон. — Я сперва тоже думал, что оазис, а это Джёты-Су. Тут даже трава не растет.

— Плевать на траву! — категорически заявил Веня. — Не растет — и не надо. Мы не коровы, мы люди.

Тем временем солнце оторвалось от горизонта, набрало высоту, и наступило утро. Веня торжественно сошел с прилавка и приветствовал восхождение светила стоя. Симон невольно сделал то же самое, и стоял теперь рядом с Веней. Веня оказался малого роста — вровень с Симоном.

— Ну, вот, — помолчав, сказал Веня. — Первое утро свободы. Надо бы прибить к прилавку мемориальную доску... — Задумавшись на короткое время, Веня медленно провел правой рукой от лба ко рту, задержав кисть на подбородке. Взглянув на него мельком, Си-

мон оцепенел: с прикрытой бородой Веня был знаком ему до ужаса и до острой, пронзительной боли в сердце...

— Солнце, — сказал Веня, опуская руку. — Хорошо, что его придумали... Я люблю ночь без луны, но солнце я люблю больше. Еще я люблю дождь в лесу — так же точно, как и зной в пустыне, — и Веня, усмехнувшись легко и серьезно, поглядел на мертвые серые пески, начинающиеся сразу за железнодорожным полотном.

Поглядел на пески и Симон, и они показались ему сейчас почти красивыми. Никогда в жизни ни один взрослый человек не говорил с ним так серьезно и доверительно, как Веня.

— Каждый свободный гражданин имеет право на тайные пороки, — сказал Веня, отвернувшись от пустыни. — А я хоть и ссыльный человек, но намерен, не откладывая, выпить стакан водки и закусить соленым огурцом. На стакан водки я себе за восемнадцать лет заработал.

— У меня тоже есть деньги, — сообщил Симон, извлекая из кармана вчерашний гонорар.

— Это делает тебе честь, — серьезно заметил Веня, отчего Симон немедля покраснел и отвернулся в сторону. — Спать на базаре, не имея ни копейки денег — это уже слишком. В нашем с тобой случае деньги помогают нам сохранять чувство собственного достоинства. В конце концов, не наша вина, что Хилтон не построил здесь отеля — это вина Хилтона... Итак, идем, друг мой, и я осуществлю первое свое желание — выпью и закушу.

— Я твердо решил стать пьяницей, — говорил Веня по пути к магазину, — и ты со временем поймешь, почему. Для пьяного человека время, как мне помнится, перестает существовать. Жизнь — это борьба со временем. А я устал от борьбы. А ты?

— Я еще нет, — сказал Симон, подумав.

— А! — сказал Веня. — Значит, ты еще не оставил надежду съехать с базара и купить автомобиль "ЭМ-1".

— Ничего я этого не хочу! — остановившись, сердито

сказал Симон. — И вообще, я сегодня на базаре первый раз спал... То есть, не то, чтобы спал! Просто я туда пришел. И встретил вас...

— И все бывшее... — подчеркнуто задумчиво вставил Веня.

— Что? — спросил Симон, сбитый с толку.

— Ничего. Ты сказал "вас".

— Ну, тебя! — продолжал Симон. — А мне здесь, думаешь, хорошо?

— Давай разговаривать на ходу, — сказал Веня. — Думаю, что неплохо.

— Ну и зря! — почти выкрикнул Симон. — Плохо!

— А мне хорошо, — безмятежно сказал Веня, — и сейчас будет еще лучше. К концу дня тебе тоже будет хорошо, вот увидишь. Может, даже раньше... Смотри, что я тебе покажу! — и Веня извлек из кармана, поискав, маленькую финку с наборной пластмассовой рукояткой. — Держи, она твоя!

— Моя?! — выдохнул Симон, принимая нож. — Вы мне ее дарите?

— Отдаю навсегда, — уточнил Веня. — "Дарите" — это торжественно, а потому бездарно. Отдаю навсегда!

Симон восторженно разглядывал нож, примерял его по руке.

— Ну, как настроение? — справился Веня, когда они подходили к магазину.

— Во! — сказал Симон и, сжав правую руку в кулак, поднял большой палец.

В магазине пахло хозяйственным мылом, вчерашним хлебом и мышами. Продавец-грек, небрежно стоя за прилавком, грыз семечки. Он делал это удивительно быстро и ловко: свернув ладонь в кулак, подбрасывал семечки, ловил одно зернышко ртом, хрустко разгрызал его и, напрягая щеки, выплевывал шелуху через всю комнату — за порог.

— Двести водки, — сказал Веня, — и пива для моего друга.

— Хм! — поперхнулся грек. — Пива!.. — и посмотрел

на Веню дружелюбно и доверчиво, как на удачно состыкованного человека.

— Пива, — огладив бороду, подтвердил Веня.

— Вот пивзавод откроют — тогда и попьешь, — сказал грек, наливая водку в грязный граненый стакан.

— Значит, пива нет — сказал Веня. — Тогда налей моему другу стаканчик красного.

Грек откупорил бутылку портвейна и плеснул вина в стакан.

— Себе тоже налей, — предложил Веня. — Я угощаю!

— Ну, что ж... — сказал грек, наливая. — Ты новый, что ли? Что-то я тебя здесь не видал.

— Видал, — сказал Веня. — Просто я немного изменился... Ну, давайте!

Они выпили. Грек достал из-под прилавка пригоршню конфет-подушечек — закусить.

— Ты не с путърема? — жуя конфету, спросил грек.

— Нет, — сказал Веня. — Я же председатель Совета министров.

— Смотри, — предостерег грек вполголоса. — Погоришь... — и полез в карман за семечками.

— Дай-ка еще бутылку красного! — сказал Веня.

Грек глядел им вслед задумчиво. Они, выйдя за порог, медленно побрели по улице к Сыр-Дарье. Улица была пустынна, только изредка попадались им навстречу прохожие люди. Веня разглядывал встречаемых с веселым любопытством. Но никому из них не было дела ни до Вени, ни до Симона.

— А знаешь ли, Симон, — сказал вдруг Веня, — я когда-то собирал грибы с мраморной дорожки. Иду себе по дорожке, когда хочу — нагибаюсь, а по краям этой самой дорожки грибы растут. Вот как дело было...

Симон взглянул на Веню недоверчиво.

— Ты, я вижу, мне не веришь, — продолжал Веня. — Ты неправ, Симон.

— А где это было? — спросил Симон.

— Под Москвой, — сказал Веня, — от Минского шоссе направо.

— Зачем же с дорожки-то... — без вопроса произнес Симон.

— Чтоб в траву не сходить, — объяснил Веня. — Хорошие были грибы, крупные. Только я грибов тогда не любил.

— А сейчас? — спросил Симон.

— А сейчас мне все равно, — сказал Веня. — Грибы так грибы.

— Если ты их не любил, — дотошно спросил Симон, — зачем тогда собирал?

— А по дурасти! — сказал Веня. — По дурасти, по молодости.

— Да ладно! — сказал тогда Симон. — С дорожки... А мне, например, мама говорила, что я ананасы ел, когда маленький был.

— Я верю тебе, — сказал Веня. — Ты ел ананасы, а я собирал грибы. А вот шашлык я так и не научился жарить.

Симон поглядел на него искоса, покривил рот. Интересный человек Веня. Шашлык не научился! Повар он, что ли? Может, и повар, конечно.

Молча, беззаботно миновали они последние дома улицы и вышли к реке. Масса беспокойной воды, желтовато-серой, мчалась бесшумно и быстро. Воды было много, очень много, устремленное ее движение походило на сосредоточенную, отлаженную работу одухотворенного механизма. Только вот шума гигантский механизм не производил никакого, и это было удивительно.

— Не знаю как ты, а я хочу выпить, — сказал Веня, глядя на реку. — Я хочу выпить за эту реку — она мне нравится и внушает уважение. Она немного похожа на бегущую толпу немых людей, а?

— Немного, — согласился Симон. — Если прищуриться вот так вот, — он показал, как надо прищуриться, — она похожа на Млечный путь. Волны же блестят как звезды...

— Э, — сказал Веня. — Да ты, брат, мечтатель. Давай выпьем за мечтателей.

И они выпили из горлышка отвратительный портвейн, пахнувший дезинфекцией.

— Это не лучший портвейн, — сказал Веня, зашвыривая порожнюю бутылку в реку. — Капитаны такую бурду не стали бы пить... А что ты знаешь о капитанах, друг мой и мечтатель Симон?

Подымаясь на трепетный мостик,
Вспоминает оставленный порт,
Отряхая ударами трости
Ключья пены с высоких ботфорт.
Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет, —
Так, что сыплется золото с кружев,
С розоватых фламандских манжет.

— Здорово как! — сказал Симон. — Один мой предок был адмирал, он открыл остров Занзибар, — и покосился на Веню — не засмеется ли.

— Я отдаю тебе этот остров, — веско сказал Веня, — так и знай.

— Ладно, — сказал Симон. — А я тебя туда приглашаю. Поедем?

— Почему нет? — согласился Веня. — Поехали!

— Там есть деревня Бубубу, — сообщил Симон, — и растут казуариновые деревья.

— Правильно, — сказал Веня. — Надо, в конце концов, знать, куда едешь.

— Ананасы там тоже должны быть, — добавил Симон. — Я, правда, не помню, какие они.

— Я тебе покажу, — пообещал Веня. — Мимо не пройдем, будь спокоен.

— Да... — сказал Симон. — А кто это написал про капитана? "Сыплется золото с кружев"?

— А! — сказал Веня. — Это Гумилев. Его расстреляли в начале новой эры. Хороший был поэт.

— А что ты здесь будешь делать? — спросил Симон, помолчав.

— Жить, — объяснил Веня. — Жить здесь буду.

— Так это ясно, что жить! — Симон пожал плечами. — А работа?

— Ну, работа! — Веня тряхнул большой головой, и седые его космы рассыпались и разлетелись. — Не все равно, что делать? Ты как думаешь?

— Ну, как... — сказал Симон. — Вот я, например, работаю тарелочником в похоронном оркестре...

— Вот видишь, — несколько не удивился Веня. — Работа как работа... Я бы пошел работать покойником, если только не от звонка до звонка и деньги бы платили. Видишь ли, Симон, всякая подневольная работа бессмысленна — будь ты дворник или министр. Приходишь и делаешь каждый день в сущности одно и то же — дворник метет мусор, министр подписывает бумажки. Дворнику даже лучше — он хоть на свежем воздухе. Но дворников здесь, как я понимаю, не держат. Поэтому я попробую стать ночным сторожем. Не знаешь, нужны здесь такие?

— Надо узнать, — Симон наморщил лоб. — Что здесь сторожить? Песок?

— Ну, это ты напрасно, — сказал Веня. — Люди, друг мой, всегда что-нибудь сторожат: лавку, завод, дерево, друг друга. Наиболее бессмысленное занятие — сторожить. Поэтому я и хочу пойти в сторожа. Что ты думаешь по этому поводу?

— Ты же сам говоришь — работа как работа...

— Естественно, естественно, — Веня засунул короткие руки в карманы брюк почти по локоть. — Ты играешь на тарелках и производишь музыкальный шум — это красиво. А я, скажем, сторожу лавку. Злоумышленники хотят эту лавку ограбить. Они приставляют мне к животу ножик и просят, чтобы я не кричал "караул". Я не кричу. Они грабят лавку и уходят... Не кричать "караул" — это, пожалуй, единственное разумное требование, предъявляемое сторожу.

Они шли вдоль реки, по узкой тропинке, а вода обгоняла их деловито и сосредоточенно, и трудно было отвести от нее взгляд.

– Млечный путь бесповоротен, – вдруг, не обращаясь к Вени, сказал Симон, – ни ворот, ни подворотен. Ну, так что ж! Путь как путь... Приведет куда-нибудь.

– Верно. Верно и хорошо. Чем раньше приходишь к фатализму, тем лучше, – Вени остановился и смотрел теперь на Симона, чуть откинув голову, словно бы издалека.

– Это я написал, – тихонько сказал Симон и, плотно сомкнув губы, покривил рот.

– Я догадался, – Вени продолжал стоять неподвижно и торжественно, и Симон снова ощутил мучительную, ледяную пустоту под ложечкой: он уже где-то видел этого человека.

В тугаях послышались уверенные, но не тяжелые шаги: кто-то шел по тропинке им навстречу. Вени повернул голову, взгляделся. Монолитно гудела река, и гул этот приятно сливался с сухим шумом ветреных тугаев.

К ним подошел вплотную и резко остановился высокий хмурый чечен. Угрожающе поглядев на Вени, он перевел взгляд густокоричневых, со стальным отливом глаз на Симона и вдруг улыбнулся, показав белые, некрупные, но удивительно правильной формы, с ровной кромкой зубы.

– А, еврей! – сказал чечен, явно облегченно. – Тот самый еврей... Как тебя зовут, забыл я...

– Симон, – сказал Симон, узнав того парня, что подходил к нему в первый день их появления в Джеты-Су.

– Меня – Калу, если не забыл, – и сверху, через плечо поглядел на Вени. – Твой друг?

– Друг, – подтвердил Симон.

– Тоже, значит, еврей? – спросил Калу.

Симон ждал ответа Вени с любопытством и, почему-то, с волнением. Ему так хотелось, чтобы Вени оказался евреем.

– Я еврей, – сказал Вени, немного помолчав. – Хорошо ли это, как вы думаете?

— Хорошо! — сказал Калу с большой убежденностью. — Пошли — время завтракать!

У невысокого, редкого костерка сидел, поджав под себя одну ногу и вытянув другую, круглоголовый стриженный чечен лет тридцати пяти. Подле его руки, опертой о землю для равновесия и удобства массивного короткого туловища, лежала фуражка военного образца, без кокарды. Там, где ранее находилась кокарда, свежо зеленел кружочек невыгоревшей ткани.

Хозяин фуражки взглянул на подходящих через плечо и, приглашая к костру, по-хозяйски кивнул головой.

— Усам, мой брат, — сказал Калу, подойдя к сидящему на земле.

Веня сбросил ватник и сел на него, оставив место Симону. Сбоку от костра побулькивал кипятилок в высоком, с резьбой, медном чайнике. Усам повелительно сказал что-то брату по-чеченски, и Калу, обойдя куст, зацокал негромко языком, а потом повторил несколько раз призывно и покровительственно: "О-ху-у, о-ху-у!"

Подобранный, высокий в холке конь подошел к нему, волоча за собою длинный аркан. Сняв с седла хурджин, Калу перекинул его через плечо и вернулся к костру.

— Чем богаты... — сказал Усам, доставая из хурджина темный кусок вареной баранины с белой жировой опушкой и тройку крепких, в ярко-оранжевых шкурках луковиц. В тряпице, в какую завернуто было мясо, запутался винтовочный патрон. Усам поймал его короткими пальцами и, не спеша нащупав в хурджине обойменную планку, извлек ее оттуда, а затем вернул выпавший патрон на его место и спрятал обойму в карман кургузого пиджака.

— Они евреи, — объяснил Калу.

— Ну, что ж, — сказал Усам. — Нацмены, значит. И мы нацмены. Младшие братья.

Отрезав от куска, как от хлебного каравая, ломоть

мяса перочинным ножиком, Усам зажевал, не размыкая губ. Калу придвинул ему лепешку. Отрезал мясо и Симон, исподволь наблюдая, как прореагирует владелец винтовочных патронов на его финочку. Усам никак не прореагировал.

— А старший брат — русаки, — пожевав деловито, продолжал Усам, — да хохлы, да еще эти, как их... которые картошку жрут... белорусы!

— А грузины? — спросил Веня, прислушивавшийся внимательно.

— Грузины! — Усам сплюнул с презрением. — Они говорят: "Какие мы вам нацмены? Мы — великий народ! Наш Сосо со старшего брата семь шкур спустил!"... Что грузины?! Они от нацменов ушли, а русаки их к себе за стол все равно не пустят. Один Гуталинщик у них был — и тот подох.

— Правильно, друг, — сказал Веня и усмехнулся удовлетворенно и немного грустно. — Все правильно. Жалко только, что магазин далеко — я бы с тобой выпил вина.

Усам кивнул Калу, тот, словно бы того и ждя, пошел к коню; потом послышались удары копыт о мягкую землю речного берега.

— Что, евреев тоже всех подряд выселяют? — спросил Усам. — Весь народ? Как нас?

— Почему нет? — спросил и Веня. — Чем мы хуже? Усам поглядел на Веню серьезно.

— Пока еще не всех выселяют, — сказал Симон. — Не всех подряд.

— Вас трудней выселить, чем нас, — сказал Усам. — Вы везде живете... А нас окружили как зверей — и в теплушки. — Глядя в костер густокоричневыми, как у Калу, глазами, он замолчал, словно бы сразу забыв о двух своих случайных сотрапезниках.

— Я поотстал, друг, от жизни за последние двадцать лет, — сказал Веня, немного помолчав вместе с хозяином костра. — Когда вас?

— Двадцать третьего февраля сорок четвертого, — продолжая глядеть в костер, без паузы откликнулся

Усам. — В день Красной армии... Нам сказали — немцы хотят выкинуть десант, и нагнали в горы солдат. Мы все пошли смотреть — мужчины, детишки. Мы же так любим оружие! Какое хочешь — кинжалы, винтовки, автоматы, пушки! Какое хочешь!.. — теперь, перечисляя, Усам повысил голос почти до крика. Он глядел попеременно то на Веню, то на Симона, и в его густо-вишневых глазах приливалось и билось веселье отчаяния, как пламя пожара за раскаленными стеклами окон.

— Ну, вот, — продолжал Усам, — утром пришли, а вечером говорят: мы для вас сейчас устроим в доме культуры концерт художественной самодеятельности. Ну, и устроили...

— Да, — сказал Веня, — гады...

— Подожди, — оборвал Усам, — еще не все! Мужчины тогда пошли в Дом культуры, а в домах дети остались и женщины. А мужчины все пошли смотреть концерт, битком набились — впереди старики, сзади мы все. Русаки на гармошке играют, пляшут. А другие русаки вокруг Дома культуры пулеметы ставят... А еще другие, пока мы на пляски глаза лупили, женщин наших и детишек из домов выгоняли и грузили в грузовики.

— А вещи? — перебил Веня.

— Конечно, — утвердительно покачал головой Усам. — Вещи можно — то, что в руки возьмешь. А что возьмешь, когда на тебя с дитенком автомат наставляют, а твой хозяин ушел к русакам пляски смотреть? Ну и взяли — кто мешок, кто горшок, кто одеяло рваное догадался захватить. Еды почти никто не взял — они ведь не сказали, куда везут, — а мы потом в теплушках от голода началидохнуть, пока сюда доехали.

— А с вами что было? — спросил Симон. — В доме культуры?

— У нас оружие у всех было по домам припрятано, — сказал Усам, — да никто его с собой не взял, только один старик взял, который в первом ряду

сидел. Когда майор на сцену поднялся, сказал: "Вы будете здесь сидеть до утра — немцы, мол, пришли". тот старик в него стрелял, убил. Мы к выходу — там солдаты, и прожектора горят. А у нас руки голые — понимаешь, ничего нет, даже камня!.. Утром нас в грузовики посадили, повезли к железной дороге. Когда мы из аула выезжали — видели: русаки в аул наш входят пешком, мешочки у них на плечах, а больше ничего нет. Они в дома наши пошли жить, и скот наш им отдали, и все, что было у нас. До сих пор там живут — чеченцев в горах никого не осталось, весь народ выслали... А нас тогда на станцию привезли, в теплушки погрузили — там наши женщины с ночи уже сидели, ждали нас. Потом теплушки на замок, на площадку — конвоира, и сюда... Вот такой концерт старшие братья нам показали.

— Ах, Иосиф Виссарионович, Иосиф Виссарионович, — негромко, расстановочно проговорил Веня. — Гуталинщик рваный... — он выругался, так же негромко и неспешно.

— Он тоже, — показывая за узкими дергающимися губами белые до глубокой голубизны зубы с аккуратными, гранеными клыками, на коротком дыханье сказал Усам. — Гуталинщик тоже. Но и те, которые плясали в клубе. И которые за пулеметами лежали. И тот майор, которого старик застрелил. И русаки, которые живут в моей сакле. Все они. Все!

— А вы что сейчас делаете? — долго помолчав, спросил Симон. Он хорошо помнил рассказ Марьи Петровны о разбойнике Усаме.

— Да так, — Усам смотрел на Симона с необидным насмешливым удивлением. — Так, кое-что...

Вернулся Калу, поставил бутылку водки и бутылку вина на землю у костра, почти погасшего.

— Нас тоже выселяли, — сказал Симон. — Почти две тыщи лет назад.

— Откуда? — спросил Усам заинтересованно. — Кто?

— Римляне, суки такие, — объяснил Симон. — Они

захватили нашу землю — Израиль, а мы все время бунтовали. Тогда они нас всех выселили.

— Куда выселили-то? — спросил Калу. — Тоже в пески?

— Просто выселили с родной земли, — сказал Симон. — Идите, мол, и все! А если кто вернется...

— Ну, понятно, — сказал Усам мрачно и, подняв кулак на уровень шеи, резко провел оттопыренным большим пальцем слева направо. — Но у вас хоть можно было идти куда хочешь...

— Так ведь нас не старшие братья выселяли, — пояснил Веня, следивший за рассказом Симона внимательно.

— Да, — продолжал Симон. — А до этого они разрушили наш храм, одна стена осталась, теперь она называется "Стена плача".

— Стена плача... — повторил Веня, тихонько покачивая головой.

— Ты ведь знаешь про Стену плача? — спросил Симон.

— Мало, — сказал Веня, — очень мало... Просто, когда при евреях говорят "Стена Плача", ему есть о чем вспомнить из своей жизни.

— А теперь там евреи не живут?

— Теперь живут! — поспешил Симон. — Теперь там опять еврейская страна, там одни евреи живут! Государство Израиль — знаете?

Усам отрицательно покачал головой.

— Хорошо, что вы вернулись на родину, — сказал Калу. — Мы тоже вернемся.

— А я не знал, что у вас такая история, как у нас, — сказал Усам. — У вас там горы есть?

— Конечно, есть! — воскликнул Симон. — У нас там все есть. Гора Кармель, Галилея, и Иерусалим стоит на холмах.

— Иерусалим, — сказал Усам. — Это я знаю, слышал.

— Мне иногда кажется, — сказал Симон негромко, — что вот я иду по дороге, слева от меня холмы,

голубые и серые холмы, а справа, в долине, река, не очень широкая. И небо — синее-синее, и нету облаков, совсем чисто... Вроде похоже, как здесь — а все свое.

— Родина! — сказал Усам и умолк, застыл.

Весомо, тяжело шумела великая река Сыр-Дарья, и четверо людей на ее берегу не слышали ее шума. С каменными полуулыбками на губах сидели они вокруг догорающего костра, и глаза их были далеко отсюда. Глаза их видели белые потоки Чечни и Иордан в зеленых берегах, и только один Веня, быть может, видел мраморную тропинку парка за глухим забором.

Так сидели они вокруг костра.

Потом Усам поднялся и отошел к коню, и Калу с ним. Симон повернулся к Вене, сидевшему опустив голову на грудь, и словно бы длинная стальная игла медленно вошла в его сердце и его душу, робко соседствующую с сердцем, и он подался назад, отпрянул, не отводя глаз и не смея спросить.

Веня заметил это, усмехнулся резко, кашляюще. Затем он протянул руку и, взяв с земли Усамову фуражку армейского образца, надел ее на голову. И, прикрыв ладонью бороду, оборотился к Симону.

8. АВРОРА

А Аврора?

То была, несомненно, красивая женщина, отнюдь не полная, но, как принято говорить, в теле. Она словно бы переполняла самую себя своим нежным горячим мясом, сдерживаемым и охлаждаемым шелковистой шкуркой. На бесплодной земле Джеты-Су Аврора являла резкий контраст по сравнению с другими женщинами — сухими как вяленая рыба либо отечными, одутловатыми, носящими на теле следы сердечной болезни. На прогорклой земле ссылочного поселка Аврора цвела бурно и вызывающе. Разве что молодые девушки-гречанки, стройные и большеглазые, могли соперничать с таким жизнестойким аппаратом, как Аврора, — но молодые девушки не занимали Симона до поры. В них он определял без всякого интереса равных себе существ, в принципе, наверняка достижимых — в то время как Аврора была для него представительницей иного, неизведанного окончательно мира взрослых людей. И вот открылась возможность познать этот мир и возвыситься до него. О материальном содержи-

мом этого мира, заключенном в тридцатилетней медсестре, Симон также подумывал — с приятной тревогой и без смущения. Он представлял себя собственником, полновластным хозяином роскошной Авроры — и ему мгновенно становилось жарко, и он черт знает что выделял со своей собственностью. Впрочем, что именно выделял — он в расплывчатых своих видениях не уточнял. Черт знает что — и все! При этих выделяваниях он, конечно, ничего Авроре не говорил — разные там "я вас люблю". Всякие разговоры — когда наступит время выделявания — казались ему неуместными и даже постыдными. Потом, может быть, или, лучше, до — но только не во время. О чем тут еще говорить? Смех, да и только.

Аврора, как сказано было, жила на окраине Джеты-Су в маленьком глинобитном домике-кибитке, где кроме нее обитала разветвленная казахская семья. Гости-степняки наезжали регулярно, и сколько человек постоянно обитало в кибитке, не знал никто, в том числе и хозяин, у которого Аврора снимала комнату с отдельным входом, пробитым в стене.

— Дай перелезть-то! — эту фразу Аврора слышала изо дня в день, в половине седьмого утра, вот уже полтора месяца. Произносил ее с сонным кряхтением один и тот же человек по имени Равиль, татарин с путьрема, спавший в постели Авроры. Равиль любил спать у стены и никогда не пускал туда Аврору, и это начинало ее раздражать.

Татарину было лет сорок, не более того. Он был человек простой, крутого нрава. Прибыл он в Джеты-Су после отсидки по уголовному происшествию, организм имел здоровый и чистый: мыл ноги каждый вечер хозяйственным мылом, когда не бывал пьян. На вине экономил категорически — спирт Аврора приносила с работы неограниченно, — зато волок всякую домашнюю нужность общественного пользования: рукомойники, ведра, вешалки. Иной раз приносил и пищу — сельдь, лук, — но не часто.

— Дай перелезть-то! — сказал Равиль, и Аврора,

просыпаясь, машинально натянула одеяло повыше. Ей ни к чему было открывать глаза — она и так знала, чем сейчас будет заниматься татарин. Лениво переползя к стене, она слышала: надел штаны, натянул сапоги. Коротко постучал носиком рукомоЙника. Отворил дверцу комода, достал бутылку, со скрипом вытянул пробку. Шумно потянул носом, произнес удовлетворенно: "Спиртянский..." Налил рюмку, выпил, зажевал холодной картофелиной и луком. Спустя малое время звякнул откидываемый крючок и хлопнула дверь. Все.

Аврора освобожденно потянулась, вздохнула. Она взяла отгул на сегодня, спешить ей некуда. Хорошо бы спровадить Равиля куда-нибудь на вечер.

Нет, не потому она, конечно, взяла отгул, что вот уже целую неделю как ее упрасивал об этом Тарелочник. Вовсе не потому! Просто ей давно уже хотелось поваляться попозже в постели и не идти на эту проклятую работу, где каждый норовит получить освобождение или, на худой конец, выпросить противочесоточную спиртовую настойку... А если даже и п о т о м у — это, в конце концов, ее дело. Ах, Тарелочник, смешной какой парень! Жалко его немного, честное слово. Щупленький, дрожит весь. Дрожать-то не надо, чего дрожать... Да ведь и сама-то она дрожала лет пятнадцать тому назад. Пришел такой-сякой Змей Горыныч с усиками, в пиджачке в полосочку, на танцы приглашает, в кино. А потом: "Я тебя вдвое старше, мне уже тридцать, ты меня должна слушаться. Вот так вот ляг-полежи. Да не бойся ты, я тебе плохо не сделаю, только хорошо!.." А может, и не в полосочку, и никакой-такой Змей Горыныч. Как же его звали, дай Бог памяти, — Сережа, что ли, или Игорь?.. Хорошо в постели поваляться, и идти не надо никуда. Тарелочника бы сюда, щупленького — не так, чтобы чего-нибудь там такое, а просто. Просто вот лежать у стенки, а он чтоб рядом. Не храпит же он, небось, как Равиль, татарин чертов.

Она условилась с Тарелочником на двенадцать

часов, на углу Амангельды и Казахской. Тарелочник хотел явиться в десять, но Аврора не согласилась — рано. Теперь, привольно лежа в своей постели, она подумала о том, что зря не согласилась на десять. Можно было бы пойти к реке, и там, на берегу, в тугаях, целоваться с Тарелочником от души, как девочке, как пятнадцать лет назад. Так, чтоб голова кругом шла, чтоб ноги не держали... Надо, кстати, захватить с собой какое-нибудь покрывало — не на земле же валяться.

И луком от Тарелочника не воняет, как от татарина чертова.

Аврора резко повернулась лицом к стене, подтянула коленки к животу. Блаженно зажмурив глаза, она увидела берег реки, и квадратик покрывала на берегу. Тогда она зажмурилась еще сильнее, и не было уже никакой реки, а был Тарелочник и она, Аврора, и Тарелочник плыл по ней, как по реке, и утонул, а она поддерживала его и не давала ему утонуть.

Симон явился за полчаса до двенадцати. Сегодня, к его большой радости, никого не хоронили, и он был свободен весь день. Поглядывая по сторонам, он ждал появления Авроры, нервничал. Что ему сказать, когда она придет? Самую первую фразу, первое слово? Не молчать же, в конце концов! А что сказать? "Здравствуйте, Аврора!" А потом? "Пойдемте немного погуляем!" Нет, не годится! При чем тут "погуляем"? Да она просто-напросто начнет хотеть — и все. "Погуляем!.." Лучше так: "Что-то сегодня прохладно, ветер. Не выпить ли нам вина?" Это вроде неплохо. "Не выпить ли нам вина?"

Симон отошел от угла и, наискосок перейдя улицу, поравнялся с биллиардной Майсиди. Это, собственно говоря, была обыкновенная столовая с буфетом, а грек Майсиди, директор столовой, установил в кладовке небольшой биллиардный стол с железными шарами. Мужчины Джеты-Су пропадали в биллиардной с утра до ночи, играя на деньги и на

выпивку. Грек неплохо зарабатывал на этом деле.

Столовая была закрыта — дверь ее заперли изнутри, просунув ножку стула в ручку. Несколько греков и чеченов терпеливо ждали, сидя на корточках, прислонившись спинами к выбеленной стене столовой.

— Закрыто... — сказал Симон, подойдя вплотную к двери и подергав тихонько.

— Зубан играет, — объяснил грек, сидевший к двери ближе других ожидающих. — С утра с самого заперся и играет.

Симон вздохнул и побрел обратно через улицу. Играл майор Жаманов, Зубан, и ничего нельзя было с этим поделаться. Когда захочет, тогда и уйдет — на то он и начальство. "Не выпить ли нам вина?" А какое Зубану дело до того, что ближайший магазин — в трех кварталах и что Симон не успеет сбежать за вином и обернуться до двенадцати?

Аврора опоздала минут на десять. Она шла по середине улицы, осторожно ставя ноги, обутые в туфли на высоких каблуках. Ветер распахивал ее плащ, и тогда можно было разглядеть яркое крепдешинное платье, вплотную облегавшее плавную крепкую фигуру. Голову Авроры венчало ярко-рыжее сооружение из завитков, воланов и локонов. Нужно было проявить максимум изобретательности и умения, чтобы построить такую ажурную башню на собственной голове.

Симон смотрел на голову Авроры как замороженный человек, потерявший на время способность владеть собой. Аврора, подходя, отметила такое состояние Симона и улыбнулась чуть высокомерно.

— Здорово, — сказал Симон с большой искренностью. — Это вы сами сделали?

— Ну, конечно, — снисходительно пояснила Аврора. — Просто нужно смочить волосы сахарной водой. А ты не знал?

Тут Симон наконец вспомнил и сказал:

— Что-то сегодня прохладно, ветер. Не выпить ли нам вина?

— Успеем... — сказала Аврора. — А впрочем, зайдика к Майсиди. Деньги дать?

— У меня есть, — вспыхнул Симон. — Вы же знаете — я зарабатываю.

— Ах да, — сказала Аврора. — Ну идем, я подожду тебя на улице.

Сидевшие у стеночки греки и чечены толпились теперь у двери столовой: Майсиди открывал.

Следом за майором Жамановым из столовой вышел молодой лейтенант МГБ, партнер майора по биллиарду. Оба были навеселе. Неторопливо миновав толпу, они направились к середине улицы — впереди майор, за ним лейтенант. Поравнявшись с Авророй и Симоном, майор остановился.

— Интересный человек, — сказал майор, обращаясь к лейтенанту, но не поворачивая к нему головы. — Какой-такой?

Лейтенант не сомневался в том, что под интересным человеком майор подразумевал Аврору и что к Симону эта реплика, равно как и вопрос, отношения не имела.

— Товарищ майор спрашивает, где вы работаете, — немного выдвинувшись вперед, сказал лейтенант.

— На заводе буровой дроби, — сказала Аврора. — Медсестрой. А что?

— Ссылная? — на этот раз спрашивал Жаманов. — Спецпереселенка?

— Вольнонаемная, — сказала Аврора. Ей, видно, неприятен был этот уличный допрос.

— А это кто? — продолжал спрашивать майор.

— Ссылный, — сказал Симон. — Я ссылный.

— Э? — переспросил Жаманов. Он глядел то на Аврору, то на Симона.

— Он мой брат, — сказала тогда Аврора.

— Бе-е! — шутливо удивился Жаманов. — Такой маленький, а уже ссылный... Ну, идите!

И они разошлись.

— Гады, — сказал Симон. — Какое они имеют право?

— Так это ж Зубан, — объяснила Аврора, — зам-

начальника РО МГБ. Не обращай внимания... На, бутылку положишь, — и она протянула Симону сумку, в которой лежало покрывало. — Я тебя на углу подожду.

Симон вошел в столовую. Майсиди стоял за буфетным прилавком, разливал водку в стаканы. У прилавка поджидало своей очереди выпить человек пять-шесть.

— Давай, иди сюда! — позвал Майсиди, увидев Симона. — Чего будешь?

Он видел и разговор на улице, и как Аврора сумку передала и ушла на угол. На то и окно, чтоб глядеть.

— Вина, — сказал Симон. — Бутылку.

— Вина нет, — сказал грек. — Водка. И ликер могу.

— Тогда ликер, — сказал Симон.

Грек налил ему густозеленой жидкости в граненый стакан.

— И конфетку? — спросил грек.

— Какую там конфетку! — Симон подумал, что грек издевается над ним.

— Как хочешь, — сказал грек, придвигая стакан. — Пей на здоровье.

Симон выпил залпом, задохнулся, схватил-таки развернутую на всякий случай греком конфетку. Ликер не понравился Симону.

— Зубан чего хотел? — спросил Майсиди, подождав, пока Симон переведет дух.

— Спрашивал, кто такие, — сказал Симон. — Ссылные, не ссыльные...

— Это он просто так, — предположил кто-то из мужчин, стоящих у прилавка. — Делать ему не хрена.

— Точно, — согласился другой. — Он нас за три версты узнает — и спрашивать не надо.

— Это он, конечно, из-за бабы, — решил Майсиди. — Теперь тебе, парень, в КПЗ сидеть.

— Да, — согласился кто-то из очереди. — Теперь бежи до хаты и сиди тихо. И с бабой с этой не ходи, играйся с пацанками. — Сказано это было доброжелательно.

— Ладно, — резко обрубил Симон. — Ну, ладно... Давайте бутылку. — Он вытащил из кармана деньги. — И конфет двести грамм. — стакан ликера делал свое дело.

— Ай-яй-яй, — сказал Майсиди, когда дверь за Симоном захлопнулась. — Ну, стерва баба. Ей кабана надо или директора завода, а она с мальчишкой игры играет.

Очередь засмеялась, потянулась за стаканами.

— Что ж ты долго, Тарелочник? — сказала Аврора, когда он подошел к углу. — Купил?

— Ликер, — сказал Симон. — Вина не было.

— Ну и хорошо, — сказала Аврора. — Ликер даже лучше... Что это ты бледный такой?

— Просто так, — сказал Симон, мстительно вспоминая советы у буфетного прилавка. — Что-то холодно.

— Бедненький, — сказала Аврора. — Замерз... А у тебя пальто есть или только курточка?

— Есть пальто, — сказал Симон, с трудом сдерживая зубовную дробь. Он вдруг понял, зачем понадобилось Авроре класть в сумку покрывало, и ему стало непокойно и суетно.

— Ну, пойдем, — сказала Аврора. — Пойдем к реке.

Ему захотелось оттянуть то, к чему было припасено покрывало. К Вене надо зайти по дороге, вот что. Веня поможет, скажет, как надо.

— У меня есть один товарищ, он тут по дороге работает сторожем, — сообщил Симон, не глядя на Аврору. — Можно к нему зайти...

— У него склад или что? — спросила Аврора. — Помещение есть?

— Конечно! — сказал Симон. — Сторожка теплая... Он в геологоразведке работает.

— Ишь ты какой! — Аврора игриво погрозила пальцем с длинным розовым ногтем. — "Сторожка теплая". А потом твой товарищ пойдет погулять, да?

Симон промолчал. Ему хотелось к Вене, к его

язвительной мягкости, к его тайне, которой он никогда не касался и к которой Симона тянуло так же властно и неотвратно, как и к Авроре — тянуло, разворачивая на пути, подбрасывая на ухабах и почти вытряхивая вон душу.

Веня сидел на пороге своей сторожки и пил черный чай из эмалированной, оббитой по всему корпусу кружки.

— Хорошо быть сторожем, — приветствовал Веня подошедших. — Я всегда был в этом уверен. Разве ты, друг мой и товарищ Симон, пришел бы ко мне в гости с такой красивой дамой, если бы я работал, скажем, маляром или электромонтером?

— Здравствуйте, дедушка, — сказала Аврора. — Какая у вас борода интересная... А он мне говорит — товарищ мой сторожем работает...

— Он не солгал, — сказал Веня. — Мы с ним товарищи, и я сторож. Все верно. Он вообще, как я успел заметить, не склонен лгать — разве что подгонять иногда известные события по собственной мерке. Но поскольку события эти известны всем, такая подгонка, естественно, не ложь, а просто творческий переклад... Как там у тебя дома, Симон?

— Ничего, — благодарно промямлил Симон. — Успокоились. Брат даже прощенья просил.

— Прекрасно, — заметил Веня. — Рукоприкладство никогда не служило признаком прогресса... Я вижу у тебя сумку, а услуги сторожа и хозяина сторожки, — тут Веня нагло и поощрительно взглянул на Аврору, — требуют оплаты.

— Ах да! — облегченно воскликнула Аврора. — У нас ликер... Вы пьете ликер?

— Несомненно, — сказал Веня. — Вы видели когда-нибудь сторожа, который из принципиальных соображений не пил бы ликер?

— Нет, — легко засмеялась Аврора. Веня нравился ей, и это было приятно.

— Тогда зайдем в сторожку, — сказал Веня, открывая перед Авророй ветхую дверь.

Аврора вошла и, увидев, что Веня с Симоном задержались на крыльце, ухмыльнулась. Сторожка была тесная: стол, закрытый газетой, вплотную к нему топчан вдоль стены. На топчане заскорюзный матрац с выглядывающей из дыр свалывшейся ватой... Не убирая усмешки, Аврора вытянула из сумки покрывало и набросила его на матрац.

— Я чувствую, мой друг, — говорил тем временем Веня, придерживая дверь и не впуская Симона в сторожку, — ответственный момент наступает. Мужайся. Это дело не хитрое, но требует все же кое-какой сноровки. Ты задумывался над этим?

Симон скривил брови и засопел.

— Итак, ты не задумывался, — продолжал Веня. — Но еще не поздно... Скажи-ка, ты не хочешь на ней жениться?

— Нет, — сказал Симон и покрутил головой.

— Тогда все это просто великолепно, — заверил Веня, — ве-ли-ко-леп-но!

Симон взглянул на Веню с вопросом и потянулся к двери.

— Нет-нет, погоди! — глубоким шепотом вскричал Веня. — Еще рано... Мне нравится эта твоя затея, ты видишь, как я взволнован! Я хочу дать тебе ряд необходимых советов, но для этого мне нужно собраться с мыслями и кое-что вспомнить... Ты, значит, должен без смущения обнять ее вот так, — Веня легонько похлопал себя по ляжке, — а потом... Потом надо валить, — это Веня произнес в раздумье, обращаясь к самому себе. Он, правда, был взволнован. — У меня лет пять тому назад была одна знакомая из женского лагеря, бытовичка, так она, видишь ли, мой друг...

Симон упрямо шагнул и потянул дверь. Хлопотливо пожав плечами, Веня вошел в сторожку за ним следом.

— Стопочки у вас есть? — деловито спросила Аврора, когда они вошли. — Пить из чего будем?

— Женская рука! — сказал Веня, оглядывая по-

крывало на матрасе. — Вот что значит женская рука... А как ты полагаешь, друг мой Симон, что лучше: женская рука или женская нога? — мысль о том, что в его халупе вдруг очутилась приведенная Симонем женщина, не давала, видно, ему покоя.

— Ах вы, хулиган! — пошутила Аврора. — А еще, называется, товарищ!.. Стопочки есть?

— Есть кружка, — сказал Веня, выплескивая остатки чая в угол.

— У меня сегодня отгул, — сказала Аврора, придвигая к Вене бутылку ликера. — Праздник, можно сказать... Вот мы и зашли.

— Можно было по такому случаю пригласить подругу, — заметил Веня. — Что же ей одной скучать? — он вылил ликер в кружку и передал Авроре.

— Давайте выпьем, что ли, — поторопил события Симон.

— Подругу в другой раз пригласим, — сказала Аврора. — А зачем вам все-таки такая борода? Вам без бороды лучше.

— Хуже, — сказал Веня. — Куда хуже...

— Ну, ладно, — сказал Симон, отпив из кружки.

— Пойти пройтись, что ли... — задумчиво произнес Веня. Ему, надо думать, не хотелось уходить. Ему хотелось сидеть здесь, в теплой сторожке. Гулять по степи и размышлять над тем, что Симон делает с этой красивой, здоровой женщиной — этого Вене почему-то совсем не хотелось.

— Да сидите, — предложила Аврора. — Куда спешить-то? Время есть.

Симон одним глотком выпил остатки ликера из кружки и обиженно сжевал конфетку. "Куда спешить-то..." Как это, куда спешить? И почему это никто у него не спрашивает — спешить или не спешить? И Веня тоже придумал: то говорит "обнимай", а теперь сидит как пень и уходить не собирается. Что за люди, честное слово!

— Время есть, — охотно согласился Веня. — И ликер есть. Давайте измерять время ликером, — и он вылил в кружку остатки ликера из бутылки.

Заглянув в кружку, Симон обнаружил, что ликера там чуть меньше половины. Тогда он решительно придвинулся к Авроре и обнял ее правой рукой пониже талии. Сердце его прыгало как мяч. Он был уверен, что Аврора как-либо откликнется на это прикосновение. Он не знал — как, но полагал, что Аврора должна откликнуться.

Она никак не откликнулась — как если бы Симон обнял ножку стола. Она продолжала разговаривать с Веней. Тогда ладонь Симона, вначале словно бы отяжелевшая и напрочь отнявшаяся от прикосновения к боку Авроры, снова стала обыкновенно ощутима, и он, с нажимом, скользя пальцами по шелку платья, с интересом открывал для себя новые, внутренние слои ткани, высокий чулок, широкие плотные резинки, уходящие от чулка вверх, — разнообразные многочисленные предметы, отделявшие его руку от тела женщины. Наконец он наткнулся на застежку-молнию и захотел потянуть, открыть — но помедлил и в самый последний момент побоялся это сделать.

— Ты чего, Тарелочник? — участливо спросила Аврора, поворачивая к нему голову. — Выпей вот еще немножечко.

Симон выпил еще немножечко и поглядел на Веню умоляющими глазами.

— Ну, ладно, — сказал Веня, подымаясь. — Вино кончилось, и время истекло... Пойду-ка я все-таки прогуляюсь.

— А у меня еще спирт есть в сумке, — сказала Аврора. — Вы пьете спирт?

— Безусловно, — сказал Веня. — Но я пойду сначала померзну, а потом мы все вместе отпразднуем мое возвращение.

Симон глядел на Веню признательно и жалко. Он бы, наверно, расплакался от благодарности — если бы не думал лихорадочно о том, как невозможно ему хочется расстегнуть-таки эту самую молнию.

Веня вышел, прихватив ватник.

— Запри дверь, — шепотом сказала Аврора.

Симон выбрался из-за стола и, подойдя к двери, накинул крючок на петлю. Когда он вернулся к Авроре, она уже расстегнула молнию и теперь, закинув руки за голову, наощупь расстегивала мелкие пуговицы на спинке платья. Симон подошел и стоял, глядя.

— Иди сюда, — прошептала Аврора, придвинула за плечи окостеневшего Симона, привалила его к себе. Он почувствовал на своем лице ее большое лицо и ее полуоткрытые, расплзающиеся губы на своих губах. Он закрыл глаза, и тогда ему показалось, что он проглочен каким-то гигантским, с целый мир, существом и более не существует.

”...как же его звали, Змей Горыныча? Эдик? Или Игорь? И что он мне тогда говорил? Ляг-полежи вот сюда, а теперь вот так сделай. И руки мои отпусти, тебе говорю!..”

— Ляг, Тарелочник, ляг вот сюда!

”...на нем был пиджак в полосочку, а потом он все с меня снял, и с себя тоже. А потом мне, кажется, было больно — или нет, я не помню. Неужели было больно?..”

— Сними куртку, Тарелочник, все снимай. Да погоди, бешеный какой, я разденусь!

Она встала, потянула платье вверх за подол. Симон отвернулся, не глядел. Хорошо, если б было темно, ночь.

— Снимай, Тарелочник, глупый!

Он потянулся к вороту куртки, расстегнул.

— А брюки? — упрекнула Аврора, и быстрые ее пальцы, как по клавишам, пробежали по пуговицам ширинки и оставили ее открытой. — Да погоди же!

В дверь постучали.

— Кто там? — спросила Аврора, оборачиваясь на стук. — Минуточку!

— Непредвиденные обстоятельства, — сказал Веня из-за двери. — Я здесь ни при чем, извините меня.

— Что ж вы делаете? — спросил Симон с топчана, глядя, как Аврора натягивает платье.

— Застегнись! — из-под платья сказала Аврора. — Быстрее!

Когда грузовик подъехал к сторожке, они втроем уже сидели за столом, и Веня разбавлял спирт водой.

— Бедному жениться — ночь коротка, — сказал Веня, разбавив. — Приходите к концу дня, тогда я смогу подышать свежим воздухом без помех.

Аврора закинула голову, засмеялась, легонько толкнула Симона плечом. С таким же успехом она могла бы толкнуть плечом бревно или стенку дома — Симон сидел застыв, сцепив под столом кисти рук, привалившись грудью к столешнице. Он бы убежал, упал бы на песок, бился головой о землю — но густая, тяжелая вялость связала его и не давала ему шевельнуться. Смех Авроры он слышал как бы из другой комнаты и никак не мог догадаться, чем же он вызван.

— Выпей глоток, — сказал Веня. — Надо.

Он отхлебнул из кружки, поперхнулся, потянулся за конфетой. Руки его пришли в движение, а потом он поднял и голову и огляделся.

Подъехавший грузовик гуднул, и Веня вышел встретить начальство.

— Пойдем погуляем, Тарелочник, — сказала Аврора, — а вечером, может, зайдем сюда.

— Пойдем на реку? — живо спросил Симон, глядя, как Аврора сворачивает покрывало и кладет его в сумку.

— Можно, — сказала Аврора. — Погуляем немного.

Они вышли и побрели через заброшенное поле к реке. Поле было неровное, бугристое, и идти по нему Авроре было неловко. Она передала сумку Симону и взяла его под руку.

— Смешно все вышло, — сказала Аврора. — Надо же!

— Что вышло? — сказал Симон, не глядя на Аврору. — Ничего не вышло!

— Ну кто же виноват? — несколько раздраженно сказала Аврора. — Мне тоже неприятно. — Тупили ее на высоких каблуках глубоко проваливались в землю, и она прихрамывала.

— А что ж вы тогда смеялись? — упрямо не глядя на Аврору, спросил Симон. — Когда он сказал "бедному жениться — ночь коротка"?

— У, злюка! — сказала Аврора, ероша Симону волосы. — Нельзя быть таким злюкой... Смеялась — и все. Смешно получилось. Но мы это исправим, да?

— Да, — сказал Симон несколько более покладисто.

Сразу за полем начались тугаи. Тропы не было в тех тугаях, и они шли, раздвигая руками зеленющие и сухие стволы тростника. Колючки низкорослых кустов цеплялись за их одежду.

— Ну и забрались, — сказала Аврора. — Хороша прогулка, ничего не скажешь... — Ее раздражало это блужданье по зарослям. Сегодня утром, в постели, она иначе представляла себе все это.

— Ничего, — сказал Симон. — Вы идите за мной, здесь уже близко.

— Надо же было им приехать, — сказала Аврора. — Так славно сидели в сторожке.

Тугаи кончились внезапно, без перехода. На берегу реки работали люди, копали кетменями и лопатами водоотводные каналы. Между берегом и тугаями стоял холодный буфет, сколоченный на скорую руку из фанерных щитов. На буфете было укреплено красное полотнище: "Товарищи путьремовцы! Превратим пустыню в цветущий сад!"

— Это еще что!.. — сказала Аврора, останавливаясь. Вдруг она испуганно, резко повернулась и бросилась назад, к тугаям: у буфета, потягивая вино из бутылки, стоял Равиль, татарин.

Аврора бежала сквозь заросли, колючие ветки

хлестали ее по ногам, рвали чулки. Сухие камыши трещали. Симон поспевал за Авророй, но перегнать ее не мог. Наконец она остановилась, досадливо вытащила из-под плаща, из-за спины, длинную ветку, усеянную кривыми шипами.

— Порвала? — отрывисто, зло спросила она, левой рукой далеко отодвигая полу плаща.

— Да, — сказал Симон.

Платье было разорвано, как ножницами разрезано.

— У, черт, — сказала Аврора. — Только этого мне не хватало. — Она прислушалась — никто ли не идет следом за ними. Ветер посвистывал в тугаях, постреливали сухие ломкие стволы. — Пошли, а то догонит.

— Кто? — тоскливо спросил Симон. — Кто догонит-то?

— Никто, — обрубил Аврора. — Кто надо.

Запахнув плащ поплотнее, она снова пошла, почти побежала. Выйдя на поле, она прибавила шагу, шла то широко, то мелко, стараясь угадать твердые пятки земли. На Симона она не оглядывалась.

Пройдя почти половину поля, Аврора споткнулась.

— Ну, все, — упавшим голосом сказала Аврора. — Каблук...

Нагнувшись, она стянула туфлю с ноги. Каблук был сломан у самого основания и болтался на полоске кожи.

— Не расстраивайтесь, — сказал Симон и поставил сумку на землю. — Хотите, я куплю вам новые туфли...

— А! — махнула рукой Аврора. — Купишь ты мне туфли...

Сняв второй туфель, она взяла его за задник и пошла в чулках.

— Давайте я в сумку положу, — предложил Симон.

Она остановилась, протянула ему туфли.

— Наденьте мои, — сказал Симон. — Все же лучше, — и, видя, что она не возражает, торопливо —

носском за пятку — скинул свои туфли. Она улыбнулась невесело, нырнула ногами в разбитые Симоновы полуботинки.

— Куда мы теперь пойдём? — спросил Симон с надеждой.

— Куда пойдём... — горько повторила Аврора. — Домой я пойду, хорошо погуляли.

— А мне можно с вами? — спросил Симон.

— Ты что! — сказала Аврора. — А соседи? Они что скажут?

— Значит, не пойдём... — сказал Симон и, опустив голову, закусил нижнюю губу.

— Ладно, — сказала тогда Аврора, пытаясь поправить разбитую вдребезги прическу. — Идиотка я все же порядочная, мало мне... Ладно. Я пойду переоденусь, в порядок себя приведу хоть немного. А ты приходи туда же, на угол, в семь часов.

— Пойдем к Вене? — спросил Симон и, уставившись на Аврору, замолчал в мучительной тоске ожидания.

— О господи! — сказала Аврора. — А куда же мы пойдём — к тебе домой, чай пить?

— Хорошо, — сказал Симон успокоенно. — Так я приду в семь часов.

— Босиком, что ли, пойдешь? Проводи меня, — сказала Аврора.

Он явился около семи, походил у столовой Майсиди. Там было полно, люди громко разговаривали, шумели разноголосо. Шум этот выливался, вываливался на улицу сквозь приоткрытую дверь. Симон почуял сложный запах столовой пищи, вспомнил, что ничего еще сегодня не ел, но голода не испытал. Он стоял на углу и повторял про себя: "Хуже всякого страданья, хуже смерти — ожиданье". "Хуже смерти" ему не нравилось, но он ничего другого не мог сейчас придумать — он ждал и был поглощен этим процессом всецело.

А Аврора все не приходила. В четверть восьмо-

го он представил себе, как она смачивает волосы сладкой водой. Минут двадцать спустя — как он касался рукой молнии на ее платье. Он почти физически ощущал эту молнию,вшитую в тонкий шелк — и не мог устоять на месте, делал несколько шагов взад-вперед, а потом возвращался на угол.

А Аврора все не приходила.

Спустя время он вспомнил, как она целовала его и как он словно бы летел и парил подобно облаку, не ощущая собственного тела.

Тогда он легко подался вперед и зашагал по улице в том направлении, откуда должна была появиться Аврора.

К ее дому он подошел в темноте. Калитка была закрыта на щеколду, и он, не нащупав замка, пошел вдоль низкого дувала. В одном месте дувал обвалился почти до земли, и Симон, перешагнув через глиняный вал, вошел во двор. Дом был темен, только одно окно, незанавешенное, светилось. Спотыкаясь о грядки, Симон подошел к нему почти вплотную и остановился, прислонившись плечом к карагачу. Несколько таких карагачей росло врассыпную по всему двору.

Стол виден был в освещенной комнате, большой стол, покрытый клеенкой. На столе стояла еда — сваренные целиком очищенные угловатые картофелины, засыпанные кусками лука, и тушенка в эмалированной миске. Бутылка белого стекла, без этикетки, стояла на столе, и с ней рядом железный чайник. Широкая кровать с никелированными спинками была у стены, против стола. Покрывало, знакомое Симону, лежало на кровати и несколько подушек, больших и маленьких. В шкаф, вплотную придвинутый к кровати, вбит был гвоздь, на нем висело несвежее вафельное полотенце. На коврике над кроватью ярко изображены были олени и лев, подкрадывающийся к оленям. На подоконнике стояла селедочница, там плавали в постном масле куски селедки.

Аврора сидела за столом, спиной к окну. Воло-

сы ее были приведены в порядок и восстановлены в прическу. Халат Авроры, незастегнутый, по-видимому, на груди, свободно отставал от плечей и оставлял открытой шею. Аврора, опершись подбородком о согнутую в локте руку, молча наблюдала за тем, как мужчина в майке наливал в стакан одновременно из бутылки и из чайника. Налив, мужчина выпил залпом и потянулся за картофелиной и луком... Аврора чуть повернула голову, и теперь Симон видел ее профиль. Она не похожа была на утреннюю Аврору — лицо ее выражало досаду и сонливость. Она не была красива, как утром, и это задело Симона. Ему было жаль, что она сейчас не так красива, как утром.

Мужчина что-то сказал — что, не слышно было, и Симон вслушивался напрасно. Ему очень хотелось услышать, но звук голосов не доносился из комнаты во двор.

Слушая ответ Авроры, мужчина коротко поглядывал на нее из-за миски — поднеся миску к лицу, он ел мясо. Ответ, видно, не пришелся ему по вкусу: поев, он смаху поставил миску, удар миски о стол был слышен Симону. Он еще что-то сказал Авроре, резко и повелительно. Аврора отрицательно покачала головой.

Тогда, обойдя вокруг стола, мужчина подошел к ней сзади и, наклонившись, схватил ее за плечи. Она снова покрутила головой, теперь уже упрямо. Руки мужчины скользнули вперед и вниз, за плечи Авроры, и локти его размеренно задвигались — он, наверно, гладил Аврору, проводил ладонями по ее груди под халатом, — оттого локти и двигались. Откинувшись назад, Аврора положила голову на голое плечо мужчины и улыбалась с закрытыми глазами. Эта улыбка надорвала что-то внутри Симона, а затем напрочь оторвала все, что было прикреплено изнутри к его ребрам, и свернула на сторону. Вцепившись пальцами в подоконник, Симон глядел на улыбающуюся с закрытыми глазами Аврору. Она

выгнулась на своем стуле, чтобы мужчине удобней было гладить.

Мужчина позади Авроры прекратил двигать локтями и стал тащить ее со стула. Она словно бы уснула и не сопротивлялась, но и не помогала мужчине в его деле. Он тяжело оторвал ее от стула и, качаясь, подтолкнул к кровати. Халат ее, действительно, был до пояса расстегнут и теперь распахнулся, и Симон видел грудь Авроры, большую и чуть свисающую. У кровати они на миг остановились, и мужчина, дернув от плечей книзу, сорвал с Авроры халат. Под халатом у нее ничего не было. Теперь, когда она перестала улыбаться, Симон смотрел на обнаженную Аврору и на всю картину с бешеным любопытством, не испытывая более почти ничего. Теперь, когда она перестала улыбаться, у Симона внутри все вернулось на свои места, и только ноющая остаточная боль напоминала ему о недавних перемещениях.

Не отпуская Авроры, мужчина одной рукой суетливо расстегнул ремень и рывком спустил брюки до сапог. Потом он протянул руку, пытаясь дотянуться до выключателя на стене, но ему не удалось этого сделать. Тогда он повалил Аврору на кровать, наискосок и, упав на нее, заворочался и заерзал на ней, как бы пытаясь поглубже закопаться в постель. Симону не видно было Авроры — только ее раскинутые в стороны ноги, белые и плотные, медленно подрагивающие. Еще он видел мужскую спину в высоко задравшейся майке, ерзающий жилистый зад в то возникающих, то пропадающих буграх мышц и брюки, спустившиеся на кирзовые сапоги, заляпанные кое-где подтеками глинистой грязи. Это все он видел отчетливо, словно бы начерченное пером в одной плоскости.

Картина не изменялась и, продолжаясь, не приносила ничего нового. Симон повернулся и побрел прочь. В нескольких шагах от дома, прямо против окна, он наткнулся на лавочку и чуть не упал. На лавочке, не случайно поставленной здесь, сидел ста-

рый казах, хозяин дома. Он сидел, подавшись вперед, глаза его желто, по-кошачьи светились в темноте. Он глядел в окно, как на экран из зала летнего кино-театра.

— Во дает! — сдавленно прошептал старик, ловя Симона за куртку. — Ай, татарин, ай, молодец!

Симон вырвался из ловящих рук старика, обернулся к окну. Татарин больше не ерзал, лежал смирно, ноги его в сапогах валялись на сбившемся покрывале, знакомом Симону. Симон нагнулся, пошарил, нашел обломок глиняного кирпича. Размахнулся, швырнул обломок в окно, в лицо, в рожу окна. Стекло, звякнув, лопнуло.

— Эй, малый! — закричал казах, вскакивая с лавки. — Ты что?! Держи его!

Симон, прыгнув в сторону, перемахнул через забор и побежал.

9. ТРЕТИЙ

Он бежал к Вене. Сторожка приветливо светилась единственным окном и, подбегая, Симон подумал о том, что сейчас он должен был бы подходить сюда не один и что все переменялось и перепуталось непонятно почему и по чьей воле. Эти сложные, дремучие соображения не оформились в сознании Симона в слова. Подбегая к теплому огоньку на окраине поля, он только зафиксировал необъяснимость происшедших сегодня событий, вот и все. Ночной огонек дружеской сторожки способствовал этому, что ли.

Веня лежал на топчане, прикрыв лицо газеткой — от света. На столе помещалась откупоренная банка консервов "Частик в томатном соусе", тройка сморщенных, словно бы выжатых после стирки соленых огурцов и бутылка водки и вина.

— Как видишь, я приготовился, — подчеркнуто безразличным тоном сказал Веня. — Но крабов в кокотнице сегодня не будет.

Симон подошел к топчану, сел и положил голову на стол, лбом на скрещенные руки.

— Ты что — один? — приподнявшись, спросил Веня. — А она где?

— Не придет, — устало сказал Симон.

— Нет? — спросил Веня. — А почему? Ты не дотерпел до вечера?

— Дотерпел, — сказал Симон. — А она...

— А, — сказал Веня. — Она, значит, обманула тебя. Так тоже бывает, но я забыл тебя предупредить об этом днем.

— Я все видел, — сказал Симон, подымая голову. — Понимаешь, я все видел.

— Да, — сказал Веня. — Это, наверно, было тебе ни к чему.

— Нет, к чему, — сказал Симон. — Понимаешь, я думал, что это все совсем по-другому.

— Да, — сказал Веня. — Только, наверно, тебе не стоило это узнавать. А, впрочем, может, так даже и лучше.

— Она была дома, — сказал Симон. — А он...

— Кто он? — спросил Веня.

— Я не знаю, — сказал Симон. — Я смотрел в окно.

— Когда ты там был? — спросил Веня. — Ты устроил скандал?

Симон отрицательно покачал головой.

— Я только оттуда, — сказал Симон. — Они лежали вместе.

— Ты домой заходил? — спросил Веня.

— Куда? — переспросил Симон.

— К матери, — сказал Веня.

— Нет, — сказал Симон. — Мне не хотелось. Я пришел сюда.

Он снова опустил голову на стол и замолчал. Поджав губы, Веня потянулся за бутылкой и кружкой.

— Я думал, это все по-другому, — сказал Симон, не подымая головы, и речь его поэтому была глуха и монотонна. — А он просто на ней лежал и дергался. А она была совсем голая.

— А он? — спросил Веня.

— Он нет, — сказал Симон. — Он был в сапогах, и лежал на ней.

— Да, — сказал Веня. — Так всегда бывает. Лучше,

наверно, к этому начать привыкать пораньше... Со мной, ты думаешь, такое не случалось?

Симон поднял голову. Глаза его были красны и сухи, как мутные камешки.

— Ну, не совсем такое, — поправился Веня. — Я не говорю тебе, что и в моем случае он был в сапогах, а она была голая. Я, видишь ли, Симон, слишком отчетливо представлял себе свое будущее, а потом все получилось не так, как я предвидел. Нельзя рисовать себе будущее по своему усмотрению, понимаешь? Это страшная ошибка, катастрофическая!

— Да, — сказал Симон.

— Они, что, не погасили свет? — сказал Веня.

— Не погасили, — сказал Симон.

— А тебя они видели? — спросил Веня.

— Нет, — сказал Симон.

— Так вот, — сказал Веня. — Я в один прекрасный день нарисовал себе такую красивую картинку, просто загляденье. И дома там были, и деревья, и я сам. До мраморных дорожек я тогда, правда, еще додуматься не мог... А так все было очень красиво, просто замечательно. И я там жил, на этой самой картинке, и даже знал, для чего мне следует жить. Ты можешь ли себе это представить — жить во дворце, жрать каждый день крабов в кокотнице и пить киндзмараули, — и к тому же знать точно, что такая твоя жизнь необходима народу и потому драгоценна! Да... В другой прекрасный день выяснилось, что я водил по бумаге пальцем, а не карандашом.

— Он с нее халат сорвал, — сказал Симон. — Но она сама хотела.

— Ты не слушаешь меня, друг мой и товарищ Симон, — сказал Веня и улыбнулся невесело. — А ведь если сопоставить свою беду с чужой, то на душе станет легче. Что ты скажешь?

Симон молчал.

— Ну, хорошо, — сказал Веня. — Тебе трудно, тяжело и плохо. А помнишь, я как-то подарил тебе финский ножик, и настроенье твое сразу исправилось. Помнишь?

— Помню, — сказал Симон. — Я его всегда ношу.

— Вот видишь, — сказал Веня. — Теперь я расскажу тебе одну историю, и она, я думаю, развлечет тебя. Погляди-ка на меня повнимательней. Гляди, гляди!

Симон глядел. Веня медленно закрыл бороду ладонью, и глаза Симона похолодели, прояснились.

— Я тебе кого-то напоминаю, верно? — спросил Веня, не убирая руку. — Ты прав, Симон. Я много раз задавал себе вопрос, почему я не похож, скажем, на Наполеона или на Петра Первого. Или даже на Гитлера. Я был бы счастлив, если б был похож на Гитлера как две капли воды. Я жил бы сейчас в Бобруйске, на улице Второго Интернационала, и Сема, мой старший сын, приходил бы ко мне в воскресенье с внуком или, может, даже с двумя.

Веня надолго замолчал, выпил водки, а Симону налил вина и подождал, пока выпьет и он. Потом поскреб в седой лохматой голове и, поймав на себе вопросительный взгляд Симона, продолжал:

— Но я не всегда так думал. Раньше, когда у меня и в помине не было никакой бороды, а были только усы, я глядел на себя в зеркало и испытывал восторг. Мне тогда и в голову не приходило, что мое лицо убьет меня, послужит причиной моей смерти. А что бы ты думал? Восемнадцать лет — это целая жизнь, и вот я потерял ее из-за моего проклятого лица. Я ненавижу свое лицо, Симон! Раньше или позже оно похоронит меня, сведет в могилу. Так уж получилось, ничего не поделаешь: раньше я сходил с ума от любви к этому проклятому куску мяса с глазами и носом, а теперь теряю разум от ненависти к нему. Оно вроде бы и мое, и не мое — как общественная уборная. Во всяком случае, оно не только мое — это уж наверняка, и каждый, кому не лень, может высказаться по этому поводу... Ты, понимаешь ли, все равно не сумеешь сопоставить меня с тем, о ком я тебе хочу рассказать, — у тебя это просто не получится. Я буду рассказывать о НЕМ — о третьем, который стоял над нами обоими, мной и вторым мной. Ну, как бы тебе это объяснить... Вот,

скажем, два абсолютно одинаковых человека, и на них направили сильный свет, и тени их совместились в одну. И вот эта общая тень, этот контур и есть ОН. Я не смогу толком рассказывать о себе, потому что двадцать лет назад был совершенно другим человеком, не имевшим ничего общего с теперешним мной. Я, значит, буду говорить о НЕМ...

Он снова замолчал, глядя на свои руки, лежащие на столе. Кисти у него были небольшие, сухощавые, правильной формы.

— Так значит, это... — начал было Симон.

— В тридцать пятом году он жил в Бобруйске, — прервал Веня, — по улице Второго Интернационала, дом четырнадцать. Он жил там с женой и двумя детьми, Сеней и Соней. Дети были названы в память его родителей: отец погиб во время кишиневского погрома, а мать расстреляли петлюровцы. А его самого звали Вениамин, Веня. Он работал сменным инженером на электростанции, на жизнь ему хватало, и он, как всякий сменный инженер, мечтал о повышении в должности и прибавке к зарплате. Близких друзей у него не было, да и приятелей, с которыми можно выпить без всякой причины, тоже. Люди инстинктивно чурались его, избегали. Когда он входил в комнату, прекращались разговоры, прекращался смех. Его никто никогда не похлопывал по плечу, не посылал к такой-то матери. Потому что он был похож, как вылитый, на Сталина. Он и мальчишкой был на него похож, и когда подрос. Он знал об этом. Он, дурачок, отрастил усы и, никому об этом не рассказывая, терпеливо ждал, когда в его жизни произойдет нечто, что позволит ему занять новое место среди людей, похожих на самих себя. Он вырезал из журналов, газет и книг фотографии Сталина, изучал их. Ему доставляло огромное удовольствие сравнивать их со своими собственными фотографиями и не обнаруживать никакой разницы. Снося холодок на работе, упиваясь испуганным шепотом на улицах, он ждал своего дня. И дождался.

Как-то его вызвали в кабинет начальника. Когда он

явился, посасывая трубку, никакого начальника в кабинете не было. За большим столом сидел незнакомый человек в штатском, лет пятидесяти. Как только Веня переступил порог, человека этого словно пружиной подбросило с кресла. Некоторое время он глядел на Веню ошалело, а потом, как ему показалось, сел с некоторой опаской.

— Рад с вами познакомиться. Мне так много о вас рассказывали... но то, что я вижу...

— Простите?

— Это изумительное сходство, вы сами понимаете, с кем...

— Понимаю, конечно, понимаю...

— Каждый советский человек должен гордиться тем, что природа так богато одарила его...

— Я горд, я счастлив, товарищ...

— Суслов.

— Товарищ Суслов.

Генерал НКВД Суслов долго и многословно объяснял Вене, каким драгоценным даром наделила его природа, и Веня соглашался с генералом. В заключение разговора Суслов предложил Вене поехать на пару дней в Москву за казенный, разумеется, счет.

— А как же работа? — справился Веня. — Отпуск, может, попросить?

— Ну, это мы уладим, — успокоил генерал, с осторожностью дотрагиваясь кончиками пальцев до Вениного плеча.

Они ехали в международном, обшитом лакированной рейкой вагоне, в двухместном купе. За окном бежали желтые поля и зеленые луга, и Веня словно бы въезжал в этом самом международном вагоне в сказку, волшебную и страшную.

— Товарищ Сталин безмерно занят, — журчал Суслов, попивая чай с лимоном. — Он почти не отдыхает, почти не спит. А все эти приемы, посещения театров — где взять время?

— А вы видели товарища Сталина? — замирая, спрашивал Веня.

— Мне посчастливилось несколько раз видеть Иоси-

фа Виссарионовича, — торжественно докладывал генерал. — Может быть, и вам выпадет такое счастье...

Слыща такое, Веня замирал от тихого ужаса и умолкал.

Не доезжая Москвы, ночью, поезд остановился на полустанке. Сулова и Веню ждала большая черная машина. Перед рассветом она доставила их по глухим дорогам к деревянному, в глубине соснового леса, особняку. Сулов провел Веню на второй этаж, распахнул перед ним дверь в просторную, богато обставленную спальню.

— Отдыхайте, — сказал Сулов. — Завтра у нас ответственный день.

Потерянно улыбаясь, Веня разделся, горкой сложил вещи в кресло и полез под широкое, крытое красным шелком пуховое одеяло.

Проснулся он поздно. Солнце обильно заливало комнату лимонно-золотым светом, воздух был настолько свеж и ароматен, что, казалось, доброжелательные специалисты тайно насытили его бодрящим запахом лесной хвои. Потянувшись к креслу, Веня с изумлением обнаружил, что одежда его исчезла. Не было и ботинок, поставленных накануне на ковер у самой кровати.

Зато были высокие хромовые сапоги, подбитые изнутри тонкой белой лайкой. Свесив с кровати ноги, Веня обнаружил за изголовьем стоячую вешалку с кителем светло-зеленого сукна и темными, аккуратно выглаженными галифе. На столе стояла большая ваза с фруктами, бутылка "Киндзмараули" и графинчик коньяку. Не зная, как поступить, Веня сидел на кровати, сосредоточенно разглядывая сапоги. В дверь постукали тихонько, почти нежно.

— Да, — откликнулся Веня, — пожалуйста!

— Доброе утро, — сказал Сулов, входя. — Чудесный денек! — и, как ни в чем не бывало: — Одевайтесь, и прогуляемся перед завтраком. Не спешите, я подожду вас внизу.

Одевшись в приготовленное платье, Веня натянул

сапоги и подошел к зеркалу в резной золоченой раме. Содрогнувшись от смертельного страха, от страха за свою жизнь, он увидел Сталина, Иосифа Виссарионовича, вождя, учителя, полководца, корифея науки, друга детей и прочая, и прочая...

Он попятился к столу, налил полный фужер киндзмараули, выпил залпом. И, уже спускаясь по лестнице вниз, вдруг сообразил, что в жизни никогда не пробовал такое изумительное, необыкновенное вино. Это, как ни странно, укрепило его и возвысило в собственных глазах. В фойе первого этажа он вошел не спеша, чуть улыбаясь, держа нераскуренную трубку в руке.

Суслов ждал его.

— Фантастика! — пробормотал Суслов, когда Веня показался на лестнице. Затем генерал поднялся с вертящегося табурета у рояля и, невольно вытянувшись, глядел на спускающегося Веню.

Они шли по усыпанной крупным золотистым песком дорожке парка — Веня впереди, за ним, чуть отстав, генерал.

— Там парник и оранжерея, — пояснял генерал, — а это прудик для рыбной ловли. Здесь биллиардная — зайдем?

В чуть притемненном — от жары — биллиардном зале стоял небольшой стол для карамболя и второй, огромный, старинный, с резными боковинами. На зеленом поле выстроена была пирамида шаров слоновой кости. В темном буфете светились большие и малые бутылки, в хрустальных массивных вазах мерцали фрукты, как разноцветные фонарики.

— Это ваша дача? — негромко спросил Веня, подавленный тяжелой роскошью биллиардной.

— Нет, ваша, — сказал генерал. — Но вы, по всей вероятности, переберетесь отсюда поближе к Москве. Там и дом будет посолидней, и, сами понимаете...

— Что я должен делать? — совсем уже тихо, почти шепотом, спросил Веня.

— Об этом мы поговорим попозже, — радушно улыбнулся Суслов. — Через часок приедет один мой

приятель, милейший человек. Вот тогда и поговорим...

Милейший приятель, действительно, прибыл через часок. Увидев Веню, он долго щурил глаза, а потом, наконец, сказал Суслову:

— Нет слов... Поздравляю.

Обедали в беседке, втроем. Когда они подошли к беседке, там был уже накрыт стол, обильно уставленный закусками и горячей едой в блюдах, накрытых серебряными колпаками. В бутылках бархатно чернело вино — то, что Веня пил утром, и сверкала водка.

— Ну, со знакомством, — сказал милейший приятель, разлив водку в рюмки и намазав маслом и икрой разогретый калач. — За ваше здоровье! — и он потянулся рюмкой к Вене.

— Я как раз хотел спросить, что мне надо делать, — сказал Веня, выпив и принимая протянутую Суловым вазочку с икрой.

— А я вам сейчас все расскажу, — сказал Милейший. — В отдельных случаях, когда того потребуют обстоятельства, вы будете подменять того человека, на которого вы так похожи. Вопросов по этому поводу никаких не задавайте для вашей же пользы. Вы будете ходить, садиться и вставать, как вам укажут. Говорить вам или что-либо спрашивать на работе категорически запрещено. Все то, что я вам сообщаю, является государственной тайной. В случае разглашения, как вы догадываетесь... — тут Милейший взглянул на Веню отрывисто, словно бы без предупреждения выстрелил в него из двух стволов, а потом вдруг усмехнулся. — Но бывают же чудеса на белом свете.

— А моя семья? — спросил Веня, с усилием двигая сухим языком.

Милейший сосредоточенно занимался супом, поэтому ответил за него Сулов:

— Ваша жена и дети будут жить вместе с вами. Вам даже не придется за ними ездить, мы сами их доставим.

— Завтра вам предстоит пройти главную проверку, — отвлекся от супа Милейший. — Но, я думаю, все будет в порядке... Контакт с вами я буду поддерживать через генерала Суслова. Все ясно?

— Да, — сказал Веня. — А можно спросить — часто мне надо будет работать?

— Нет, — сказал Милейший. — Редко. В отдельных случаях... Ну, ладно, хватит о работе! — он отвалился на спинку стула. — Шашлык вы вместе жарить? Нет? Придется научиться. И еще вот что. Усваивайте помаленьку такую привычку: правой рукой проводите время от времени по усам. Вот-вот, верно!

Милейший скоро уехал, а Веня с Сусловым до сумерек проиграли на биллиарде, попивая вино. Генерал ни о чем не расспрашивал Веню, потому что знал о нем все, что только может быть известно одному человеку о другом. Наутро за ними пришла машина. Задние стекла ее были тщательно закрыты занавесками, и пассажиров от водителя отгораживало толстое стекло. Но, тем не менее, Суслов попросил Веню ни о чем с ним в дороге не разговаривать.

Они ехали долго, оставляя Москву где-то сбоку. После полудня перед машиной внезапно возник шлагбаум. Несколько вооруженных солдат в форме НКВД стояли у того шлагбаума. Знаком попросив Веню остаться на месте, Суслов вышел к охране. Предъявив начальнику охраны какие-то документы, он вернулся в машину. Шлагбаум пошел вверх, машина рывком взяла с места.

Второй шлагбаум перекрывал дорогу километрах в трех от первого. У машины, что стояла около караульной будки, сбоку от дороги, прогуливался Милейший. Как только водитель сусловской машины притормозил, генерал выскочил вон, и место его рядом с Веней занял Милейший.

— Как самочувствие? — не здороваясь, спросил Милейший. — Вы, я надеюсь, ничего не пили с утра? Правильно делали... Поглядите-ка на меня! Хорошо... Что я вам вчера рекомендовал делать почаще?

Веня провел правой рукой по усам.

— Хорошо, — сказал Милейший. — Не забывайте об этом. Трубка с вами?

Веня молча кивнул головой. Он боялся Милейшего, и задавать ему вопросы не решался.

В виду высокого каменного забора показался третий шламбаум. На голой, очищенной от леса и кустарника земле высилось казарменное помещение с пулетметным гнездом на крыше. Машина затормозила далеко от шламбаума и приближалась к нему медленно. Милейший, проворно выбравшись из машины, предъявил удостоверение дежурному офицеру на шоссе и побежал к казарме. Малое время спустя он вышел оттуда в сопровождении военного с орденами на груди. Дежурный офицер поднял капот машины, и орденосец внимательно осмотрел двигатель. Вслед за тем Веня услышал, как отпирают, а потом захлопывают багажник... Наконец, Милейший вернулся в машину, а орденосец сказал что-то в телефон, укрепленный на опорном столбе шламбаума. Дежурный офицер занял место водителя. Шламбаум медленно пополз вверх, и одновременно вползли в каменный забор металлические створки ворот.

Веня, вспотевший от страха и волнения, глядел по сторонам, стараясь не вертеть, однако, головой. Сразу за воротами машина остановилась, и Милейший приказал знаком: выходи! Они шли довольно долго пустынным парком, пока на выстриженной поляне, фасадом к ним, не показался большой двухэтажный дом с колоннами и торжественным крыльцом-подъездом. Оставив Веню в обшитом темными деревянными панелями фойе, Милейший исчез в глубине дома. Вернувшись, он застал Веню там же, где оставил его: в центре комнаты, стоящим.

— Пошли! — негромко сказал Милейший и подтолкнул Веню в спину.

Они миновали темный глухой коридор, заканчивающийся небольшой одностворчатой дверью. Открыв дверь, Милейший выпустил Веню во внутренний дворик, а сам не вышел за ним, остался в доме.

Чистенький дворик был желт от солнца и песка, и после темного коридора Веня сощурился, осматриваясь. Дворик был пуст, только в дальнем его углу, спиной к Вене, сидел на корточках щуплый человечек в

полосатой пижаме и жарил шашлык на низком мангале. Время от времени шашлычник, не оглядываясь, протягивал руку, брал с земли бутылку с уксусом и сбрызгивал куски мяса, нанизанные на вертелы. Серосиний дымок стлался над шашлычником и его мангалом.

Взяв трубку в левую руку и поглаживая усы правой, Веня не спеша приблизился к шашлычнику. Тот то ли не реагировал, то ли попросту не слышал, и тогда Веня кашлянул. Тот, в пижаме, оглянулся и посмотрел на Веню через острое плечо. Перед Веней сидел на корточках Сталин, и Веня окаменел, и рука его так и осталась лежать на усах.

Сталин, в свою очередь, медленно провел рукой по усам, а потом вытащил из кармана пижамной куртки трубку и сунул ее в рот.

— Хорош! — сказал Сталин одобрительно. Он обращался, несомненно, к Вене, но одобрял словно бы третьего какого-то человека, здесь отсутствующего. — Хорош, ничего не скажешь!.. Ну, иди.

Веня повернулся на цыпочках и, кажется, побежал. Добежав до двери, он обернулся — Сталин продолжал глядеть на него через плечо.

Милейший ждал в коридоре. Веня почти упал на него, войдя.

— Испугались? — спросил Милейший, жестко поддерживая Веню. — Ну, кажется, все в порядке. Поздравляю.

Обратный путь занял меньше времени: Суслов, поджидавший Веню у второго шлагбаума, вез его на другую дачу. Дача эта оказалась куда парадней первой: были колонны, портики, каменные и деревянные беседки в парке. От центральной прогулочной дорожки уходили в светлый березняк тропинки, выложенные полированными мраморными плитками.

— Что это? — спросил Веня, останавливаясь у такой тропинки.

— А это для собирания грибов, — объяснил Сулов. — Трава же сырая, да и вообще так удобней.

Суслов провел Веню по дому, набитому коврами, пальмами, фикусами, тяжелыми буфетами и громоздкими кожаными диванами. Здесь был и кинозал, а обязательная бильярдная помещалась в подвальном этаже. Мимо одной двери Суслов прошел не останавливаясь.

— А там что? — спросил Веня, понемногу осваиваясь с ролью хозяина большого дома.

— Там службы, — походя сказал Суслов. — Кухонный персонал, уборщики, охрана, врач. Вам не придется с ними общаться... Пойдемте, я покажу вам детскую. Сегодня к вечеру доставят игрушки для ваших детишек.

— А когда я смогу их увидеть? — спросил Веня.

— Завтра утром они будут здесь, — доложил Суслов. — А это моя комната.

В комнате Суслова стояло на столе несколько телефонных аппаратов, один из них в деревянном лакированном ящике. Проходя по дому, Веня нигде больше не видел телефонов.

Наутро, как обещал Суслов, привезли Цилю с детьми.

— Ну, ладно, — сказала Циля, осмотрев дом. — Хорошо... Лишь бы это не кончилось плохо.

— Не будем об этом думать, — сказал Веня. — Мне и самому как-то не верится.

Месяц прошел в безделье. Часа по полтора-два в день тратили на составление меню, каждый вечер смотрели картины в домашнем кинозале. Суслов отлучался редко, и, отлучаясь, всегда запирал дверь своей комнаты на ключ. Время от времени ненавязчиво наставлял: ходите медленней, шаг поуже, правой рукой не жестикулируйте, держите ее либо за спиной, либо закладывайте за борт кителя.

Раз в неделю приезжал парикмахер, с которым разговаривать Вене было строжайше запрещено. Сам же парикмахер был нем как могила. По его угодливости можно было судить, что он принимает Веню за того, настоящего.

Однажды Суслов, приехав из города, зашел к Вене и казенным голосом попросил Цию оставить их вдвоем.

— Сегодня мы поедem в театр, — натянуто улыбаясь, сообщил Суслов. — Китель полупарадный с брюками... Это большая честь!

Заставив для чего-то Веню надеть сиреневые шелковые кальсоны — а Веня и в лютые морозы в прежней своей жизни кальсоны не признавал — генерал до самого конца присутствовал при одевании. Разгладив ладонью складочку на спине кителя, Суслов взыскательно осмотрел Веню и, кажется, остался доволен.

— Зачем кальсоны? — волнуясь, спросил Веня. — Никто ведь не увидит!

— Так надо, — решительно заверил Суслов. — По протоколу.

Длинная черная машина ждала у подъезда. Когда они выехали из ворот, к ним подстроились еще четыре такие же машины с зашторенными задними стеклами. Перед выездом на шоссе три машины обошли их, и автомобиль Вени, таким образом, оказался четвертым в колонне.

К Большому театру подъехали, когда спектакль уже начался. Несколько охранников — все в штатском — вышли из эскортировавших машин и, взяв Веню в кольцо, провели его к правительственной ложе. В темной ложе были люди, и только одно незанятое кресло стояло ближе других к бархатному барьеру. Сев, Веня скосил глаза и в соседе слева от себя узнал Молотова. Вене интересно было поглядеть на Молотова, и он немного повернул к нему голову.

— Не пяль глаза, — заикаясь, прошептал Молотов. — Смотри на сцену. — И он, как показалось Вене, фамильярно ему подмигнул.

В большом изумленье Веня послушно повернулся к барьеру.

— Не облакачивайся, — прошептал Молотов. — Сиди прямо.

Веня однажды был в Большом театре, но оперу не

любил. Уныло глядя на поющего Ивана Сусанина, он гадал, кто сидит справа от него, но оглянуться не смел. Улучшив все же момент, он скользнул взглядом вправо и увидел большого жирного еврея с короткими руками. До конца первого акта он размышлял, настоящий ли это Каганович или подставной, как Молотов. Впрочем, может Молотов и есть Молотов, кто его знает...

Как только дали занавес и зажегся свет, кто-то в рядах партера поднялся и крикнул: "Родному товарищу Сталину — ура!" Немедленно вслед за тем весь театр повернулся к правительственной ложе. Люди аплодировали, кричали "ура!". Веня смутился.

— Встань! — заикнулся позади него Молотов. — Кивай!

Услужливо удержанный кем-то от поспешного вскакивания, он поднялся с достоинством и, уже привычно проведя рукой по усам, несколько раз кивнул головой. После этого дверь правительственной ложи бесшумно распахнулась, и Веня понял, что пора выходить.

В небольшом зале, смежном с ложей, был сервирован стол с холодными закусками, фруктами, вином. Буфетчик рассчитанным движением придвинул стул, и Веня сел.

— Как всегда, Иосиф Виссарионович? — склонившись, спросил буфетчик.

Веня решил на вопрос не отвечать, но на всякий случай слегка кивнул головой. Буфетчик, далеко вытянув длинную руку, налил ему "Киндзмараули".

— Прекрасно поют, Иосиф Виссарионович, не правда ли? — прилежно заикаясь, спросил Молотов, сидевший рядом.

— Не совсем, — мстительно шурясь, проговорил Веня. Теперь он был уверен, что Молотов не настоящий, и что он, Веня, рангом повыше. Каганович продолжал вызывать у Вени опасение: тот сидел в стороне, нажимал на закуску и не обращал на Веню никакого внимания.

Как только в зале погас свет, они вернулись в ложу.

— Куда вылез! — заикнулся Молотов, как только Веня чуть подался вперед, к барьеру. — Сиди глубже!

— А ты заткнись! — дружелюбно оборотясь к Вячеславу Михайловичу, прошептал Веня. — Ишь, разошелся!..

Второй антракт прошел скучно. Молотов держался настороженно и к Вене более не подсаживался. Выпив боржому, Веня раскурил трубочку и, не глядя на окружающих людей, попыхивал дымком.

Незадолго до конца третьего акта дверь ложи отворилась. Каганович, кряхтя, тяжело поднялся с кресла. К выходу он, однако, не пошел, а глядел на Веню, словно бы желая пропустить его вперед. Веня поднялся неторопливо, вышел. Охрана окружила его.

Суслов появился невостановившись откуда, забежал вперед, предупредительно открыл дверцу машины. Кортёж тронулся. Машина Вени шла теперь третьей. Генерал был доволен, разговорчив.

— Я наблюдал за вами из зала, — сказал генерал, откинувшись на спинку дивана. — У вас просто врожденный талант, вот что я вам скажу.

От похвалы генерала Вене сразу стало легко, он чувствовал волнуемую приподнятость, как актер после блестяще сыгранной премьеры. Его так и подмывало спросить о Молотове, но задать прямой вопрос он все же не решился.

— А Вячеслав Михайлович, — сказал, наконец, Веня, — странный, все-таки, человек. Я его представлял себе немного другим.

— Да? — сказал Суслов. — Каким же?

— Ну, как бы вам сказать... — замялся Веня. — Более интеллигентным, что ли.

— М-м-м, — сказал Суслов. — Вы, я надеюсь, не поспорились?

— Ну, что вы, — сказал Веня. — Мы с ним, по сути дела, почти ни о чем и не говорили.

— Ну и прекрасно, — сказал генерал. — На работе вам следует только отвечать на вопросы... Вы, я вижу, взволнованы, и это неудивительно. Сейчас приедем и как следует отметим сегодняшний вечер.

Циля, уложив детей, в тревоге ждала возвращения мужа. Она боялась за Веню. Она боялась Суслова, боялась роскоши этого дома, боялась круглых кустов парка, в которых по ночам сидели охранники. Она была напрочь лишена артистизма и врожденного таланта — и боялась. Услышав могучий мягкий шум подъезжающей машины, она бросилась из дома во двор и успокоилась лишь тогда, когда увидела своего Веню. Это, собственно, был не Веня — это был товарищ Сталин Иосиф Виссарионович. Но Циля, стоя за колонной крыльца, не испытывала гордости за своего мужа, вдруг занявшего столь высокое служебное положение.

— Отдыхать! — освобожденно воскликнул Суслов, войдя в дом. — Мы заслужили отдых. Вы должны гордиться вашим мужем, Циля Львовна.

Через десять минут они уже сидели за столом в малом банкетном зале.

— Погуляем по-семейному! — предложил Суслов. — Ваше здоровье, Циля Львовна.

Генерал пил сегодня крепко, и Веня не отставал от него. Часа через два Циля впервые в жизни увидела своего мужа совершенно пьяным.

— Не пей больше! — попросила Циля. — Тебе же вредно... Пойдем спать!

— Ничего подобного! — проговорил Веня чугунным языком. — Мы будем пить... Гляди, сколько еще есть вина!

— Ты никогда не был таким пьяным, — сказала Циля. — Утром у тебя будет болеть голова!

— Шагом марш! — сказал тогда Веня. — Мы будем пить, а ты — шагом марш наверх!

Такого Циля также никогда еще не слышала от Вени и, более удивленная, чем расстроенная, она поднялась в спальню. В темноте спальни, лежа в широчайшей кровати, Циля перебрала в памяти события сегодняшнего вечера и немного поплакала.

А мужчины пьянствовали часов до четырех утра. Зеленый, цвета незрелого яблока рассвет застал их в саду, где генерал Суслов мочился на мраморную тро-

пинку, а Веня, покачиваясь, блевал на круглый декоративный куст, внутри которого терпеливо сидел охранник.

Работой, как и обещал Милейший, Веню не перегружали. После Большого театра он побывал во МХАТе, отсидел несколько часов на совещании передовиков-колхозников и однажды был предъявлен послу иностранной державы в связи с вручением верительных грамот. Зато разъезды на бешеных скоростях случались часто – примерно раз в неделю. Суслов в таких случаях садился в машину вместе с Веней, и они, в окружении четырех машин эскорта, часами гоняли по Подмоскovie и по самой Москве. Веня прекрасно понимал, что, пока он мчится по Арбату, другие машины подъезжают к Кремлю по Каменному мосту, и в одной из них сидит, покуривая трубочку и поглаживая усы, тот; главный... И еще он понимал, что, если кому-либо вздумается стрелять или кидать гранату в того, главного, – граната или пуля угодят именно в него, в Веню. Однажды по пьянке Веня поделился своими опасениями с Цилей, и та долго глядела на него круглыми от ужаса глазами, а потом завела речь о том, что прежняя их жизнь в Бобруйске была ненамного хуже нынешней, а кое в чем даже и лучше.

Пил Веня много, и в этом занятии Суслов всячески его поощрял. Циля ничего не могла поделать со своим мужем – опьянев, он становился высокомерен и груб, отсылал ее вон из комнаты и несколько раз обещал застрелить. Суслов, постоянный партнер по пьянству, в семейные сцены супругов не вмешивался. Желая оградить детей от вечно веселого отца, Циля не стала возражать, когда Суслов в последних числах августа предложил ей отправить Сеню и Соню в закрытую школу-интернат. После первого сентября дети стали появляться на даче только по воскресеньям.

В октябре Суслов, по просьбе Вени, предложил Циле съездить на три недельки в Сочи. Как только зашел разговор об этой поездке, Циля обрадовалась, сказала:

— Как здорово! Помнишь, как мы мечтали отдохнуть где-нибудь на юге...

— Конечно, дорогая, — сказал Веня. — Но на этот раз ты поедешь одна — у меня ведь работа...

Без Цили пьянство приняло хронический характер — даже кино перестали заказывать. Суслов, втянув Веню, пил теперь куда меньше его.

— Знаете, во сколько обходится ваше содержание? — спросил как-то Суслов, наблюдая за тем, как Веня "лечится" с утра ледяным пивом.

Веня поглядел на него мутными глазами.

— Не знаю, — сказал Веня.

Суслов назвал цифру.

— О-го! — сказал Веня, отхлебывая из бокала.

— Да, — сказал Суслов. — Скажите, могли ли вы каких-нибудь полгода назад даже подумать обо всем этом? — и, широко поведя рукой, Суслов указал на стол, комнату, парк за окном. — Вы живете как бог, как при коммунизме! И это только начало, потому что вы еще не научились хотеть.

Вечером того дня Суслов, отлучившись ненадолго, привез двух девиц лет по восемнадцати. Девушки, надо думать, были предупреждены, вопросов Вени не задавали и проявили послушание и многоопытность. О таких девицах бобруйский Веня мог раньше разве что мечтать, да и то расплывчато.

Циля вернулась третьего ноября, а седьмого все уже было кончено. Но за несколько дней до возвращения Цили у Вени произошла встреча, запомнившаяся ему навсегда.

Его привезли ночью в Кремль, показывали какие-то комнаты и коридор, по которому ему предстояло вскоре пройти. Порепетировав в пустом помещении, Веня зашел в уборную и на ее пороге столкнулся с Молотовым.

— Ну, как живем, сынок? — с большой наглостью похлопав Веню по спине, спросил Молотов.

— Что ж это вы больше не заикаетесь? — не ответил на вопрос Веня и поморщился презрительно. — Вылечились?

— А я отдыхаю, — объяснил Молотов. — Вы на девятой даче живете? Зашли бы в гости, что ли... Или не ведают? Кто с вами работает-то? Не Суслов?

— Ну, Суслов, — сказал Веня. — А что?

— А ничего, — сказал Молотов. — Суслов — хитрая стерва, мясо живучее. На пианино он вам не играл?

— Играл, — сказал Веня. — Он, по-моему, очень приятный человек.

— Ну, конечно, — сказал Молотов. — Вам работа нравится?

— Это не работа, — заявил Веня. — Это мой долг перед народом.

— Понятно, — сказал Молотов. — Это, между прочим, называется толчок, — Молотов указал на толчок, — а это — писсуар. Правильно? Ну, вот видите... Мы же с вами в уборной, а не на Лубянке. До лета вас, может, дотянут — и все.

— То есть, как это? — холодея, спросил Веня. Он видел, что его собеседник знает куда больше, чем он, и слушал, не пропуская ни слова.

— А так, — сказал Молотов, — Вы когда-нибудь презерватив видели использованный? Видели? Прекрасно! Что с ним делают? Выкидывают его, да так, чтоб соседи не видели. Вот и вас так тоже выкинут.

— Да что вы несете! — Веня повернулся, чтобы уйти.

— Вы куда? — удержал его Молотов. — Вы ж не за тем сюда пришли, чтобы со мной разговаривать. Делайте свое дело!.. Таких долдонов, как вы, больше года не держат. Других находят. Сам-то вас вызывал? Не вызывал?

— Не вызывал, — сказал Веня, стоя у писсуара. — Что, у него других дел нет?

— Этого не скажу, — сказал Молотов. — Не знаю... Так что вы запомните, коллега: нам с вами постареть не дадут.

— Что, — спросил Веня, — и вам тоже?

— Конечно, — сказал Молотов. — Мне совсем чуть осталось дурака валять, Иосифа Виссарионовича уму-разуму в сортире учить. Такое ведь тоже не каждый день бывает, а?

— Ну, ладно, — сказал Веня, помолчав. — Мне надо идти.

— Пусть лучше за вами ходят, так приятней, — сказал Молотов. — Седьмого, может, увидимся.

Веня вышел из уборной удрученным, на Сулова поглядывал в машине искося, спрашивал себя: неужели Молотов говорил правду?

На рассвете седьмого ноября за Веней приехал Милейший.

— Товарищ Сталин вами доволен, — сказал Милейший. — Вам поручено подменить его сегодня на параде и демонстрации. Ясно?

В десять утра без нескольких минут Веня поднялся на приступочку, установленную в самом центре трибуны мавзолея. Теперь его малый рост не был очевиден; Веня выглядел ничуть не короче своих соседей слева и справа. Молотов в серой каракулевой шапке стоял слева от Вени — ему, видно, так было предписано протоколом.

— Сейчас увидите спектакль почище, чем в Большом, — легко заикаясь, шепнул Молотов. — Так что приготовьтесь...

Из Кремля выехал на сером коне Ворошилов. Конские подковы цокали по брусчатке площади, в застывшей тишине было слышно, как металл царапал камень.

— Какая чушь! — прошептал Молотов, чуть наклонясь к Вене. — В двадцатом веке человек ездит верхом на животном...

Веня взглянул на Ворошилова и, прикоснувшись к усам, скрыл ухмылку: Молотов был прав, человек с саблей в руке, верхом на лошади, выглядел нелепо. Командующий парадом доложил Ворошилову обстановку, и тот приказал начинать.

Парад, вопреки Вениным ожиданиям, прошел довольно скучно. Солдаты маршировали и ехали на конях, везли пулеметы и пушки. Потом на Красную площадь со стороны Охотного ряда выползли танки, а в небе появились кургузые самолетчики, образуя в поле-

те слово "СТАЛИН". На трибунах вспыхнули аплодисменты, и Веня тоже немного похлопал в ладоши.

Сразу вслед за танками на площадь хлынули демонстранты. Они двигались гигантской, плотной, нескончаемой лентой довольно близко к мавзолею. Создавалось впечатление, будто они движутся по кругу: миновав Василия Блаженного, выходят на набережную Москвы-реки и мимо Манежа возвращаются на Красную площадь. Впечатление усиливалось тем, что люди эти, проходящие там, внизу, были совершенно одинаковы. Едва появившись на площади, они впивались в Веню глазами и, приблизившись к мавзолею, открывали рты и кричали "Товарищу Сталину слава!" и "Ура!". Многие из этих людей пришли с малыми детьми. Проходя мимо Вени, они подымали своих детей высоко над головой и протягивали их Вене. При этом их лица были искажены фанатическим восторгом, они кричали что-то, срывая голос, и протягивали детей. Это было настолько неожиданно и страшно, что Веня отступил от края трибуны и чуть не упал со своей приступки. Молотов, наблюдавший за Веней из-под очков, мягко поддержал его сзади за спину.

— Они отдают вам своих детей, — прошептал Молотов. — Можете съесть их, зажарить и съесть. А можете просто разрезать их на куски... Гордитесь! — и он усмехнулся, отчужденно глядя на толпу там, внизу.

А толпа внизу все двигалась и двигалась, час за часом, и дети в руках у родителей не плакали. Они смотрели на Веню заворожено, как кролик на удава. А родители кричали "Родному товарищу Сталину ура!" и потрясали детьми в вытянутых руках.

На исходе четвертого часа Веня уже не различал отдельных лиц в толпе. Он видел только детей, которых он мог изжарить и съесть под восторженные крики родителей "Да здравствует товарищ Сталин — друг детей!" Потом он вдруг увидел Соню и Сеню, которых он протягивал самому себе. А потом в его памяти возникла полузабытая, с пробелами история, рассказанная ему в детстве: старый еврей ведет своего ребенка, сво-

его сына к камню, чтобы там зарезать его и отдать Богу. Но вдруг появляется из куста овечка, и старик приносит в жертву ее... Устало взглядываясь в клубящуюся толпу, Веня искал и искал — но овечки не было нигде.

Вернувшись на дачу, Веня прошел к Циля и, сев за стол, опустил голову на руки.

— Что-нибудь случилось? — спросила Циля, дотрагиваясь до Вениного плеча. — Неприятности?

— Мне кажется, я больше не могу, — сказал Веня, не подымая головы. — Такого со мной никогда не бывало. Еще немного — и я бы сошел с ума.

Циля села на стул рядом с мужем, несколько раз бережно провела рукой по его волосам.

— Тебе же со мной теперь никогда не советуешься, — сказала Циля. — Может, поедем обратно в Бобруйск? Скажи им...

— Я попробую, — сказал Веня. — Если еще не поздно.

Он зашел к Суслову, сказал, стоя в дверях:

— Мы с Цилей решили уехать обратно в Бобруйск. Эта работа, все-таки, не по мне.

Суслов захохотал тревожно:

— А вы шутник, шутник! Вина, коньяка? Вам надо отдохнуть, на вас лица нет... Стоит, пожалуй, отправить Цилю Львовну куда-нибудь в Гурзуф.

— Вы должны меня понять, — сказал Веня, не входя в комнату. — Я больше не смогу...

— Ну, вот что, — сказал Суслов, заходя по комнате. — Вы сейчас идите отдохните, подумайте. Вечером поговорим.

Вечером приехал Милейший.

— Мы довольны вашей работой, — сказал Милейший. — Ясно?

— Мы твердо решили, — как на молитве покачивая верхней частью туловища, упрямо сказал Веня. — Мы хотим уехать в Бобруйск.

— Кто это "мы"? — брезгливо спросил Милейший.

— Я и Циля Львовна, моя жена, — сказал Веня.

— Ну, довольно! — сказал тогда Милейший, ударяя ладонями по столу. — Хватит!.. Я даю вам три минуты на размышление. Если вы не перестанете валять дурака, пеняйте на себя.

Сняв часы с руки, Милейший положил их на стол рядом с собой. Три минуты спустя он поднялся и сказал, показывая в улыбке золотые зубы:

— Ну, то-то! Этот разговор пока останется между нами.

— Но я не передумал, — пожав плечами, сказал Веня. — Я жил без всего этого, — он кивнул головой, и кивок этот пришелся на темный дубовый буфет и на торжественный, как саркофаг, диван тисненой кожи, — и дальше проживу.

Милейший рассмеялся негромко, почти добродушно.

— Вы любите вашу жену, — оборвав смех, спросил Милейший, — как там ее зовут — Песя, Хая?

— Циля Львовна, — сказал Веня.

— И детишек ваших, наверно, любите? — продолжал Милейший.

Веня вспомнил сегодняшнее утро, увидел Красную площадь, черную от людей, и промолчал.

— Так вот, — сказал Милейший, — вам придется с ними расстаться, и вы их больше никогда не увидите — если не одумаетесь.

— Вы меня не пугайте, — сказал Веня. — Я даже не знаю, кто вы такой... Я буду жаловаться товарищу Сталину!

— Сволочь! — крикнул Милейший, отшвыривая ногой стул. — Жидовское отродье! Ну, я тебе покажу... — он подскочил к Вене с поднятыми руками — но не ударил, медленно отступил, бормоча матерщину, от маленькой фигурки в парадном кителе. — Присмотри за ним! — бросил он Суслову.

— Есть! — вытянулся Сулов.

— Только пусть он оденет свои тряпки, — приказал Милейший.

Через час Веню арестовали и увезли в Москву.

— С тех пор я не видел ни Цили Львовны, ни детей, — сказал Веня, потирая лоб и оборачиваясь к Симону. — Ее забрали и она наверняка погибла. А дети, может, попали в детский дом — они не были похожи на меня.

— Ты сидел в Лефортово? — спросил Симон. — Там отец мой сидел...

— В Лефортово я сидел года полтора, — сказал Веня, — в одиночке. Потом Воркута, Колыма, Магадан. Потом Норильск. Потом Абезь... Бывают, как видишь, чудеса на свете — уцелел. Бороду вот велели не стричь до конца дней.

За окном прорезывался рассвет, на востоке различимы стали высокие облака.

— Давай выпьем по глотку и приляжем на часок, — сказал Веня, — нельзя же сторожить круглые сутки.

— Сделай вот так вот, — попросил Симон и показал, как.

Веня усмехнулся и закрыл ладонью бороду от подбородка книзу. Вжавшись в угол, Симон долго, с ненавистью и страхом, смотрел на сидящего перед ним человека.

10. ПЕРЛАМУТРОВАЯ РЕКА СЫР-ДАРЬЯ

Они спали часа два, а потом приехал на дряхлом "виллисе" Сан Саныч и разбудил их. В машине, кроме хозяина, помещались два врача из поселковой больницы и главный инженер завода буровой дроби — все вольнонаемные.

— Эй, дед! — закричал Сан Саныч и нажал на гашетку гудка. — Спишь, что ли?

— Сплю, — проворчал Веня, выходя на крыльцо. — И вижу сны... За бензином?

— Ну-ну, — сказал Сан Саныч, выходя из машины. — Извини, что в такую рань... Две канистры давай по двадцать и запаску — заднее совсем лысое, — и он ткнул ногой заднее правое колесо. — Напиться у тебя есть?

— Смотря чем, — сказал Веня, вытягивая из кармана штанов ключ от склада. — Вода в бачке.

Сан Саныч быстро поднялся на крыльцо и вошел в сторожку.

Симон спал на топчане, накрывшись курткой. От дверного скрипа и стука он проснулся и приподнял голову от сложенного в подушку ватника.

— Симон! — удивился Сан Саныч. — Ты здесь?! А я

вчера к вам заезжал — мать говорит: совсем сынок от рук отбился... Со мной поедешь?

— Куда? — спросил Симон, садясь.

— На тот берег, — сказал Сан Саныч. — У нас бредень с собой. Давай, поехали! Домой рыбы отвезешь. Ну, хочешь?

— Конечно! — сказал Симон. — Но я бреднем никогда не ловил.

— Ничего, научим, — сказал Сан Саныч. — Что это ты какой-то мятый весь — не спал, что ли?

— А что он только что делал? — спросил Веня, входя. — Играл на арфе?

— Не бурчи, — улыбнулся Сан Саныч. — Возьми вон в багажнике бутылку пива. А мы тебе на обратном пути рыбки подбросим.

— Мы на тот берег, — сказал Симон. — Я там никогда не был.

— Возьми, — сказал Веня, протягивая Симону неоткупоренную банку консервов. — Придешь?

— Вечером, — сказал Симон. — Спасибо.

— Хороший старик, — сказал Сан Саныч, отъезжая от сторожки. — Только пьяница.

Симон хотел было сказать что-нибудь в защиту своего друга, но раздумал: что им говорить, когда они ничего не знают? Не знают ни о старике-шашлычнике в полосатой пижаме, ни о Молотове, дурака валявшем в кремлевской уборной. Ничего не знают, наконец, о том, как выглядит Красная площадь в день седьмого ноября с высоты трибуны мавзолея... Веня оказался прав совершенно: Аврора и ее татарин отодвинулись после ночного рассказа на далекий план, более угадываемый, чем видимый. Милейший своей глянцевитой харей заслонил копошающуюся в кровати пару. Вспоминная картину в окне, Симон не испытывал жалости к себе — как вчера. Теперь он рассудочно и ровно ненавидел Аврору, и отдельные детали, воспоминания о которых еще несколько часов тому назад мгновенно доводили его до исступления: предназначенная татарину нагота Авроры, ее разбросанные, вздрагивающие, со-

гнутые в коленях ноги, между которыми помещался ерзающий татарин, — эти детали не могли вызвать всплеска в ненавидящей душе Симона. Он ненавидел холодно и ровно.

Брезгливо оглядывая степь, по которой они ехали, он ненавидел также и ее: здесь, на ней произошли события вчерашнего дня и вечера, эта степь является продолжением березового леса, по которому проложены были мраморные тропинки Вениной дачи. Симон воспринимал свою историю и Венин рассказ совместно, слитно — потому, быть может, что, не случись вчерашнее, не было бы и ночного рассказа в сторожке. Одно было вызвано другим, а потому взаимосвязано. Вот жизнь, будь она проклята! А разве не связано сидение в Джеты-Су с тем, что в тысяче километров от подмосковного березового леса стоит забор из колючей проволоки, отгораживающий землю от земли, и тот, кто приблизится к этому забору, будет убит как предатель и перебежчик границы? Или что еврейский человек Веня подменял Сталина на мавзолее Ленина, вместо того чтобы пасти коз в Галилее или выращивать апельсины под Яффой — разве это не связано с тем, что Симона загнали на десять лет в Джеты-Су! Все одно к одному на этой земле, огороженной колючей проволокой. А что до Авроры с ее голожопым татаринком — так иначе и быть не могло, иначе просто не могло и случиться. Татарину — одно, а ему, Симону — другое. Пускай татарин лезет к Авроре за пазуху и срывает с нее халат. Хорошо бы иногда на час-другой превращаться в татарина, надо бы.

Дорога упиралась в берег реки, в перевоз. У перевоза стояла широкая лодка с низкими бортами. Лодка была прикована цепью к стволу прибрежного дерева, на цепи болтался тяжелый замок.

— Давайте в темпе! — выпрыгивая из виллиса, сказал вольнонаемный главный инженер, энергичный человек. — Кидай все в лодку! — Главный инженер был чем-то взвинчен, то ли просто засиделся в машине. Он передвигался по берегу большими скачками, не по пря-

мой линии. Вместо того, чтобы, согласно собственному предложению, нести что-либо в лодку, он скакал взад-вперед между берегом и машиной. На природу он, видно, выезжал не часто — вот и скакал. Так иногда бывает с непосредственными людьми, даже когда они в возрасте. Главному инженеру, впрочем, вряд ли закрылся четвертый десяток. Но пока довольно о главном инженере.

Они-таки перенесли в лодку бредень, ведро, саксауловое полено и ящик пива, доставленный из Казалинска, и переправились на тот берег. Тот берег был гладок и чист, и маленькие, с ладошку, волны вползали на него с нежностью. Солнечный поток, падая сквозь высокие облака, сливался с потоком воды и тек вместе с ним к морю. Река была перламутрового цвета; шевелясь, она легко меняла оттенки, вспыхивая то серебром, то глубокой голубизной. Это завораживало и не давало отвести взгляд, и Симон, подумав, решил не переносить свою ненависть к этой земле на перламутровую реку: ведь вода реки не стояла на месте, она стремилась, и ничто не могло удержать ее. Возможно, вот эта самая вода, текущая мимо него, вырывалась — по земле ли, по воздуху — за железный пограничный забор и достигала далеких стран. Вот эта, может быть, капелька воды упадет каплей дождя на землю Изреельской долины, из которой, если повернуться лицом к северу, видны башни Иерусалима. Значит, ненавидеть воду реки не за что, она здесь, на ненавистной земле, временно, вроде бы проездом — как и Симон, проездом оказавшийся на берегу стремящейся воды и сам стремящийся вдаль, за железный забор, в свою Изреельскую долину и свой Иерусалим. С водой реки, выходит дело, он вроде бы сродни... И Симон поглядел на перламутровую воду доверительно, а потом, словно согнутый внезапно кем-то огромным как небо и как мир, послушно наклонился и притронулся к воде ладонями.

Сан Саныч и прыгающий инженер растянули тем временем бредень на берегу, а врачи, насбивав суш-

няка и расколов саксауловое полено, развели костер.

— Мы с тобой пойдем вдоль берега, — сказал Сан Саныч Симону, — а ты давай быстренечко в воду!

Инженер без возражений скинул одежду и, взяв бредень за один конец, вошел в реку. Симон и Сан Саныч также разделись и, зайдя по пояс, пошли с бреднем. Инженер невдалеке от них фыркал и рычал, а Сан Саныч делал ему знаки рукой, чтобы тот вел себя тихо и не пугал рыбу.

Они забрели метров на сто и почувствовали, что бредень отяжелел и вести его стало трудно. Тогда Сан Саныч и Симон остановились, а инженер стал по дуге заходить к берегу. Симон вглядывался в показывающиеся из воды ячейки бредня — неужели поймали? Хоть бы одна рыбешка попалась, вот здорово было бы!

Попались длинные серебрянки и ленивые усачи, всего с ведро рыбы. Теперь по берегу скакал Симон, а инженер деловито вытаскивал из бредня добычу.

— Ну как? — сказал Сан Саныч. — Рад? Еще разок забредём и уху заварим.

Симон был рад реке, и что рыбу поймали, и что уху сейчас будут варить. Потом он вдруг забыл обо всем на свете — осталось только нервическое, взвинченное ощущение радости, да еще перламутровая река, упорно стремящаяся. "Из пыли золотой и серебра, из трав и рыб — река ко мне добра" — это возникло где-то в самой сердцевине Симоновой радости и, продвигаясь, оформилось в слова. Симон прислушался к этим словам, шепотом повторил их, а потом задумался, высоко изогнув брови. "Ну, так возьми, река, меня с собой, за горизонт холодный, голубой!" Симон глянул вниз по реке. Да, пожалуй, это можно — холодный горизонт. Пожалуй, можно...

— Что с тобой? — спросил Сан Саныч, подойдя к Симону почти вплотную. — Ты что, оглох? Пошли в воду!

— Я сейчас, — сказал Симон, глядя сквозь Сан Саныча. — Я только схожу туда...

— Куда? — несколько озабоченно спросил Сан Саныч.

— Туда! — Симон неопределенно махнул рукой вдоль берега.

— К костру, что ли, — предположил Сан Саныч, глядя вслед уходящему Симону. — Недоспал, наверно, парень.

— Там, за песком, за тридевять земель, — повторял Симон слова, словно бы угаданные им, увиденные мельком в сером зеркале реки и угаданные, — живет моя долина — Изреель. — Симон остановился, поковырял ногой влажный песок, а потом внимательно осмотрел ямку. — Туда мы все придем издалека... — Он снова двинулся вдоль берега, и вдруг остановился как вкопанный, и вот уже побежал, размахивая руками, к костру: — Туда мы все придем издалека. Ну, так возьми меня с собой, река!

Он подбежал к костру, улыбаясь бессмысленно.

— Что, поймали? — предположил один из врачей, сидевший на песке у огня.

— Что? — спросил Симон. — А-а, ну конечно! Ведро целое! Вот такие! — и он, ударяя правой ладонью по левой руке у локтя и выше, указал — какие.

— Врешь, — сказал врач без особой, однако, уверенности. — Не может быть...

— Вот увидите... — сказал Симон. — А у вас карандашика, случайно, не найдется?

— Есть, — сказал врач. — А тебе зачем?

— Мне очень надо, — сказал Симон. — Я сейчас отдам.

Прихватив у костра обрывок растопочной газетки, он отошел в сторонку и записал на узком газетном поле:

Из пыли золотой и серебра,
Из трав и рыб — река ко мне добра.
Ну, так возьми, река, меня с собой
За горизонт холодный, голубой!
Там, за песком, за тридевять земель,
Живет моя долина — Изреель.
Туда мы все придем издалека...
Ну, так возьми меня с собой, река!

Записав, он прочитал записанное, удовлетворенно сложил бумажку и, подойдя к груде сброшенной одежды, нашел свою куртку. Спрятав бумажку в карман куртки, Симон застегнул его на пуговицу, а куртку накинул на плечи. Теперь дело было сделано, и радость Симона, прежде скованная, стала прозрачной и легкой.

Уху варили в ведре, под контролем Сан Саныча. Пряный саксауловый дымок смешивался с запахом кипящей ухи, четверо мужчин и мальчик вождеденно глядели на варево. Они собственными руками поймали рыб в реке, умертвили их, сварили и теперь сообща съедают, сидя вокруг костра. Симонова радость не проходила, он ощущал сквозь ткань куртки сложенный листок бумаги в кармане. Другие люди ничего не знали про этот сложенный листок. Знал он один, и это тайное знание приятно возвышало его в собственных глазах. Хлебая уху из эмалированной миски, он уверенно наслаждался вкусом и ароматом пищи. Он не помнил об Авроре, не помнил о Вене. Ему хотелось неограниченно долго сидеть здесь у костра, на берегу, и, быть может, придумать еще несколько строк к тем, появившимся.

— Едет кто-то, — сказал Сан Саныч, ни к кому в отдельности не обращаясь. Симон не слышал его. — Ухи много там осталось?

Лодка мягко ткнулась в песок. На берег тяжело выпрыгнул майор Жаманов. Гребец, рядовой МГБ, остался на веслах.

— Присаживайтесь, майор, — пригласил Сан Саныч. — Может, водочки?

— Это что? — не ответил на приглашение Жаманов. Вопрос его не сопровождался жестом, и поэтому неясно было, что майор имел в виду.

— Уха, — широко улыбнулся Сан Саныч. — Ну, так что, налить?

— Документы! — сказал майор. — Документы давай!

Врачи подчинились молча и без задержки. Ворча, протянул удостоверение и Сан Саныч. Шевеля губами, Жаманов придирчиво изучал документы.

— А ты? — он ткнул пальцем в сторону главного инженера.

— Вы ж меня знаете, товарищ майор, — сказал инженер, приподымаясь на локте. — Я позавчера...

— Документы давай! — возвысил голос майор. — Ишь, понимаешь...

Получив требуемое, Жаманов строго взглянул на инженера, укоризненно покачал головой и, так и не открыв документ, вернул его владельцу.

— А старик где? — помолчав, задал вопрос Жаманов.

— Какой еще старик? — досадливо переспросил Сан Саныч. — Документы наши вы проверили — так в чем же дело?

— Активисты сообщили мне, — сказал Жаманов, выпятив живот и заложив руки за спину, — что два спецпоселенца — старик и мальчик — пересекли реку. Мальчик находится здесь. А где старик?

Сан Саныч придвинулся к Симону, обнял его за плечи.

— Мальчик, как видите, с нами, — сказал Сан Саныч. — А старика мы тут не видели. Так что...

— Да-а, нет старика, — с сожалением сказал Жаманов. — Ну, что ж... А мальчик пойдет со мной.

— Это почему же? — спросил Сан Саныч. — На каком основании? Он с нами сюда приехал, с нами и вернется.

— Мальчик пересек реку и удалился от места ссылки более чем на пять километров, — объяснил Жаманов. — Поэтому я арестую его и доставлю в КПЗ. Мальчик, встать!

Сан Саныч обнял Симона покрепче, не давая ему подняться на ноги. Симон обернулся и взглянул на него потерянно и тоскливо.

— Сопротивление? — с угрозой спросил Жаманов. — Нестеренко!

Гребец оставил весла, полез на нос лодки и прыгнул оттуда на берег.

— Арестуйте этого мальчика! — приказал Жаманов.

— Не делайте глупостей, — прошептал Сан Санычу один из врачей. — Отпустите его, или будет беда... Нам нужно ехать к Габидулину, начальнику РО МГБ.

Рука Сан Саныча дрогнула на плече Симона, и он поднялся с земли.

— Иди в лодку, — приказал Жаманов. — Вольнонаемные могут остаться. Но если вы увидите здесь ссыльного старика и не скажете мне об этом, я арестую вас всех за недоносительство.

Из КПЗ — тесной голой каморки с зарешеченным окном — Симона вызвали часа в четыре дня. Конвоир провел его через пыльный двор РО МГБ и доставил в кабинет подполковника Габидулина. Подполковник сидел за столом, Жаманов — у низкого окна, облокотившись о подоконник. Но, войдя в кабинет, Симон прежде всего увидел мать. Мира стояла сбоку от стола начальника — ей, видно, не предложили сесть, вот она и стояла.

— Объяви им, — сказал Габидулин и отвернулся.

— Ссыльный Ашкенази Симон, — торжественно, нараспев произнес Жаманов, поднявшись со стула, — нарушил предписание о ссылопоселении. В случае повторного нарушения он совместно со своей матерью будут арестованы и, согласно закону, осуждены к двадцати годам каторжных работ каждый. Ясно? Распишитесь!

— Но мы ни в чем не виноваты, — не двигаясь с места, негромко сказала Мира. — Наше дело будет пересмотрено и нас освободят...

— Э-э, Ашкенази! — сказал тогда Жаманов проникновенно. — На советскую власть не обижайся! Те, которые по двадцать пять лет получают, тоже не обижаются.

— Подписывайте предупреждение и идите, — сказал Габидулин, придвигая к краю стола лист исписанной бумаги.

Домой они возвращались молча. Только однажды, уже у самого дома, Мира сказала:

— Ты так не должен больше делать, сынок. Мы ведь ссыльные, и ты своим баловством всех нас ставишь под страшный удар. Брось ты этот оркестр, сиди лучше дома! А с осени, может, в школу тебя возьмут.

— Нет, мама, — сказал Симон, не глядя на мать. — Не

брошу... Просто я больше нигде не буду уходить из Джеты-Су. Я ведь не знал, сколько там километров.

– Ничего, сынок, – сказала Мира. – Но мы все так беспокоимся, когда ты идешь к своему старику и не приходишь ночевать. Он, говорят, пьяница...

– Да, – подтвердил Симон, останавливаясь у калитки, – он пьяница. Он так хочет. Это ведь его дело.

– Он может плохо влиять на тебя, – сказала Мира.

– Но я уже большой, – сказал Симон, не входя во двор. – Больше, во всяком случае, чем ты думаешь. Мне интересно с ним, и я буду к нему ходить.

– Открывай калитку, – сказала Мира. – Есть хочешь? Ты ведь почти двое суток не был дома.

Братья не вернулись еще с работы. Симон молча съел тарелку тушеной картошки, пахнувшей мясом. Потом он лег на свой сундук, лицом к стене, и пролежал так конец дня, и ночь, и следующее утро до полудня. Он не отвечал на вопросы и не реагировал на реплики, и его в конце концов оставили в покое. А он, лежа лицом к стене в людной комнате, вспоминал, придумывал, запутывал небывалые события, а потом распутывал их либо попросту разрубал, мешал истину с вымыслом и сам не знал, где проходит граница между ними. Много чудесного возникало перед его глазами на выбеленной стене, и он старался найти и запомнить слова для описания этого чудесного. По его воле и прихоти менялись картины и ситуации; тяжелые капли дождя колотили по земле Изреельской долины, Пинхас Ашкенази пил кофе в парижском кафе, а адмирал Лоренцо Лакиш надевал кирасу перед штурмом укрепленной деревни Бубубу. А он, Симон? Он появлялся, когда это было надо, вот так. Лежа лицом к стене на своем сундуке, он без малейшего для себя усилия перемещался с места на место и из века в век. Он желал быть неограниченно свободным и лично принимать участие во всем, что происходило в его воображении – или, на худой конец, внимательно и пристрастно наблюдать за событиями со стороны.

Он, действительно, был взросел – куда взрослей, во

всяком случае, чем предполагала Мира. До срока научился он смотреть и фиксировать — но не умел еще видеть и обобщать увиденное. В свои пятнадцать лет он просто не в состоянии был сделать то, что мы сейчас от него потребуем. Но мы все равно потребуем, и поможем ему далекими воспоминаниями и памятью поколений, неповторяемой памятью. Он подыметя со своего сундука, движимый той неодолимой силой, что пригнула его к реке и заставила гладить воду ладонями. Он подыметя и будет записывать то, что сутки кряду придумывал его мозг — в камере РО МГБ, и в кабинете начальника, и здесь, на узком сундуке, привезенном кем-то когда-то из Америки. Он положит перед собою стопку бумаги, и будет писать, и получится у него вот что:

1. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Самым удивительным было то, что солнце, утвердившись в зените неба, прекратило свое движение к закату краю и, таким образом, освещало Возвращение семьи Ашкенази предельно ровно и полно. Более того: солнце помещено было в футляр из цветных стеклышек: голубых, зеленых, красных, фиолетовых. Свет, летящий на землю, был поэтому цветным; земля была покрыта цветными лоскутами света. Это создавало ощущение праздника и радости.

Долина, в которую вернулись Ашкенази, придя на землю Израиля, ограничивалась по краям невысокими сглаженными горами. Она была невелика, эта долина, и Симон, привстав на носки, мог окинуть ее взглядом из конца в конец. Множество людей располагалось в долине, и никто не удивлялся красивому цветному свету, равно как и приятной негромкой музыке, неизвестно откуда звучащей. Ничуть не удивлялся всем этим чудесам и Симон. Он принимал их как прекрасное должное, как дополнения к главному чуду — чуду Возвращения на Родину.

На голубой бетон аэродрома садились один за дру-

гим большие серебристые самолеты, из них выходили радостно плачущие люди и попадали у самого трапа в круг нарядных девушек, плавно танцующих. Симон смотрел на радостно плачущих и искал среди них своего отца, Пинхаса. Но его не было нигде.

Тогда Симон поднимал лицо к небу и к солнцу, на которое не больно было смотреть, и вызывал в памяти образ отца. Отец подходил к Симону и опускал руку на его плечо, а Симон наклонял голову и касался щекой отцовской ладони. И после этого прикосновения, мимолетного и потрясающего, Пинхас вновь исчезал, растворялся в свете солнца, в котором отныне существовал его образ.

Наблюдая за прилетающими самолетами, Симон не знал, не мог вспомнить, как прибыл в долину он сам. Во всяком случае, не в самолете. После двух тысяч лет просто невозможно взять и "прилететь на Родину"! Единственно возможно "прибыть в страну евреев", а это означает явиться пешком или, скажем, придти с верблюжьим караваном. Вот там, в стороне от летного поля, колышутся, как кроны больших деревьев, двенадцать верблюдов, соединенных между собою серебряными цепочками. Весьма возможно, что на одном из этих верблюдов и прибыл Симон.

Здесь, в долине, он видел себя как бы со стороны. Он не знал, где его мать и его братья, хотя — он был в этом уверен — они находились где-то неподалеку, в толпе, среди людей. Но он не желал видеть их немедленно и делить с ними радость и восторг Возвращения.

Постояв у летного поля, Симон пошел к светлому каменному городу, видневшемуся невдалеке. Он шел, бережно ступая, не желая сделать больно земле под своими ногами. На окраине пальмовой рощицы ему повстречался мальчик, его сверстник. Когда они поравнялись, Симон остановился как вкопанный: во встречном он узнал самого себя.

— Шалом! — сказал встречный, также останавливаясь. — Меня зовут Симон.

— Меня тоже, — сказал Симон. — Мне кажется, мы здорово похожи. Ты не из России?

— Нет. Я здешний. А ты вернулся один?

— Моего отца убили русские, — сказал Симон.

— А моего — римляне. Он погиб на Западной стене иерусалимского храма, во время штурма.

— Тебе, значит, две тысячи лет? — недоверчиво спросил Симон.

— Пять, — сказал мальчик. — Пять тысяч. А может и все десять, точно не скажу. А тебе, думаешь, сколько?

— Пятнадцать, — сказал Симон неуверенно.

— Ну, что ты! — улыбнулся новый знакомец Симона. — Мы же ровесники, и даже похожи как две капли воды... Это еще что! Я тебя познакомлю с моим другом, тоже Симоном. Я бы вас перепутал, честное слово, так вы с ним похожи! Его отца сожгли в Испании, а дядька его открыл остров Занзибар.

— Не может быть, — решительно возразил Симон. — Занзибар открыл адмирал Лоренцо Лакиш, который...

— Так, значит, он твой дядька? Тогда я вас просто перепутал.

Симон помолчал, рассуждая над услышанным.

— Это Иерусалим? — спросил, наконец, Симон, указывая на город.

— Нет, — сказал второй Симон. — Это Гамзу. Вспоминаешь? Ну?

— Вспоминаю, — сказал Симон. — Ну конечно. Гамзу...

— Хорошо, — сказал второй Симон. — Тебе многое надо вспомнить, чтобы жить.

Навстречу им девочка лет тринадцати гнала небольшое стадо овец. Овцы шли плотно, голова к голове, и девочка вприпрыжку попевала следом за животными. Ее волосы, черные и блестящие, растрепались и рассыпались, и она, время от времени подымая тонкую руку, отбрасывала их с лица за спину.

Девочка кивнула второму Симону, и тот кивнул ей в ответ.

— Это Рахиль? — спросил Симон.

— Видишь, ты узнал, — сказал второй Симон. — Ты хорошо вспоминаешь...

— Но, мне кажется, — сказал Симон, немного помолчав, — наша земля теперь немного не такая, какой мы ее оставили две тысячи лет назад. Как ты думаешь?

— Конечно, — сказал второй Симон. — Ты прав. Она стала еще дороже нам и еще лучше. И мы стали лучше.

— А кто не дошел... — сказал Симон и замолчал, и увидел отца в потоке цветного солнечного света. Отец приблизился, и опустил руку на его плечо, а Симон наклонил голову и прикоснулся щекой к отцовской ладони.

— Раз мы здесь — значит, они тоже дошли, — сказал второй Симон. — Они возвратились и они вместе с нами. Думаешь, нас здесь два миллиона? Двадцать! Двести!

— А Рахиль — ты с ней хорошо знаком? — спросил Симон.

— Неплохо, — сказал второй Симон.

Долина была зелена и розова, и слышалась негромкая музыка, и Симон глядел вслед уходящей Рахили. Он вспомнил еще и о колодце с приваленной крышкой, и поискал его глазами — но колодца нигде не было видно.

— Давай немного посидим, — сказал Симон и опустился на землю. Потом он, повернувшись на живот, лег и, зажмурив глаза, прижался лицом к земле. Земля пахла медом.

— Моя земля, — сказал Симон и улыбнулся счастливо. — Адама шели...

Когда он открыл глаза, солнце светило ровно и ярко, не окруженное более футляром из цветных стеклышек. Музыка не звучала, и никого не было рядом с Симоном. По голубому асфальту шоссе мчались легковые автомобили и автобусы, по соседнему полю, кашля голубым дымом, бежал трактор на высоких колесах. Чуть поодаль, на окраине городка, сверкал стеклами заводской корпус.

Симон вернулся, увидел, вспомнил.

И теперь ему предстояло начать жить.

2. ПЬЕР ЛЕБО

В кафе "Ротонда" поэта Пинхаса Ашкенази звали Пьером Лебо.

Пинхас заходил в кафе ежедневно, после полудня, вместе со своим приятелем Мишелем Познанским, молодым еврейским прозаиком. Мишель приехал в Париж из Польши в 19-м году, Пинхас — два года спустя, также из Польши, где очутился проездом из России. Пинхасу наскучило затянувшееся половодье человеческих страстей, бушующее вот уже четыре года подряд. Русские люди фантазировали, убивали друг друга, договаривались, разрывали договора, строили, сжигали построенное. Уцелевшие от погромов и гибели евреи, наспех покинув черту оседлости, втянулись в эту безумную, бесконечную, засасывающую круговерть. Что-что, а фантазировать евреи умели хорошо. Надев галифе с лампасами и сев на коня, Коган полагал, что теперь он Иванов, что трын-трава — это неоспоримая реальность и что не позже чем завтра наступит всеобщее благоденствие. До завтра, однако, следовало дожить... Тем временем пылали, как гигантские семи-свечники, старинные синагоги, и старые евреи металась по русской земле, растеряв детей и внуков, оцепенело прижимая к груди свитки Торы, спасенные от огня.

Пинхас Ашкенази смотрел на это с грустью. За чужим половодьем он предпочитал наблюдать с берега, и желал быть подлинным хозяином своих чувств — будь то буря или затишье. Имущество не отягощало ему руки, единственным его достоянием была свобода, и он намеревался ею воспользоваться. Мир манил его, дороги и бездорожья мира — а не тот участок земли, где он волею случая был произведен на свет. Теперь, двадцать пять лет спустя, земля эта носила на себе красных, белых, зеленых и желтых, миротворцев и погромщиков, борющихся друг с другом, с голодом, с сыпнотифозными вшами и с венерическими болезнями. Пинхаса Ашкенази не

трогал исход этой борьбы. Он стремился прочь отсюда, в мир, где ветер пахнет травами, а не кровью и гарью пожарищ. И, как предел предстоящих странствий, рисовалась ему земля с округлыми, сглаженными временем горами, сочащаяся библейским медом и молоком — земля, которую евреи не могли забыть с незапамятных времен, как нельзя забыть мечту, и куда они теперь стали понемногу возвращаться для новой жизни и нового будущего.

Мишель делил с Пинхасом крохотную комнатку под крышей пятиэтажного обветшалого дома. Денег у приятелей почти не было — гонорары из идишистских изданий кормили их впроголодь. Это, однако, не заботило Пинхаса. Он много писал, стихи его были обнажены и вызывающе резки, каждая строчка была как провод под током. Он писал так, потому что слишком многое довелось ему увидеть по ту сторону русской границы, и это увиденное не хотело выветриваться из памяти и уступать чему-либо свое место. Мишель Познанский восторгался "сумасшедшими" стихами Пинхаса, но понять их не мог. Он был европейцем, Мишель Познанский, где ему было разобраться с российским евреем, спасшим себя самого, как свиток Торы, от огня и пожара русской пролетарской революции.

Пьером Лебо прозвали Пинхаса не ради красного словца — он был, действительно, красив необычайно. К красоте своей он относился снисходительно, давно привыкнув к восторженным, удивленным и завистливым взглядам незнакомых людей. Он был небрежно кудряв, под темно-каштановыми, спадающими на лоб волосами светились, как синие камни, крупные миндалевидные глаза. Они вспыхивали и светились ясным невозмутимым светом, источником которого служит дух поэта. Только поэту дан такой взгляд в нашем мире, соседствующем с независимым миром поэта.

— Вот идет Пьер Лебо, поэт! — говорили посетители кафе "Ротонда", когда Пинхас стремительно входил в зал, высоко неся свою красивую голову. — Природа,

все-таки, способна на чудеса... Поглядите только, какая порода!

Можно быть уверенным, что дед Пинхаса, нищий старик рэб Ицхак бен Давид из местечка Полонное крайне бы удивился и призадумался, услышь он такие разговоры. Покачивая головой и пожимая плечами, он долго прикидывал бы и вычислял, кому же именно из предков обязан его Пиня тем, что посетители парижского кафе обозначали более применимым к коню, чем к еврею, понятием "порода".

А Пинхас садился за свой столик вместе с Мишелем, и официант без напоминания ставил перед ними кофе и больше ничего не ставил, потому что у них не было денег. Посетители, специально приходившие поглазеть на поэта Пьера Лебо, приносили кафе куда больше дохода.

В тот полдень, о котором пойдет речь, к столику Пинхаса подошел начинающий маршан Нахман Рабинович, шестидесятилетний еврей, эмигрировавший из Одессы. Нахман был не один: он держал за руку парнишку лет пятнадцати, худого до голубизны.

— Ты ведь из Полонного, Пьер? — спросил Нахман, присаживаясь. — Вот я и говорю: этот мальчик из твоих мест.

— Мы раньше жили в Полонном, а потом переехали в Проскуров, — сказал мальчик.

— А как тебя зовут? — спросил Пинхас, вглядываясь в мальчика. — И как ты попал сюда?

— Симон Штейман, — сказал мальчик. — Всех наших убили в Проскурове, а меня не нашли.

— Кто убил? — спросил Пинхас, придвигая к себе мальчика, легкого как сухая древесная ветка. — Красные, белые?

— Люди убили, — сказал Симон. — Я прятался в стоге сена и видел. Их всех убили во дворе.

— Садись, — сказал Мишель, придвигая стул для Симона. — Выпей кофе.

— И пирожных, — добавил Рабинович подошедшему официанту.

Пинхас сидел молча, глядел на Симона. Полончанские Штейманы! На Бакуновской улице в каждом втором доме жили Штейманы. Чей же это мальчик? Рувима Штеймана, варщика клея? Или тандейтника Нахума? А, может, рэб Лейзера, огородника, приходящегося Ашкенази родственником по материнской линии? Пинхас глядел на Симона, и хотел спросить, и не спрашивал. Не все ли, в конце концов, равно — чей? Всех, всех людей, и его, Пинхаса, в первую очередь!

— Это ужасно... — сказал Мишель, помешивая ложечкой в чашке.

— У тебя кто-нибудь есть на свете, Шимеле? — спросил Пинхас, взглянув на Мишеля почти с ненавистью. — Кто-нибудь!

— Я не знаю, — сказал Симон, криво вздергивая брови над темными, тусклыми глазами. — Брат матери уехал в Палестину, и мы тоже должны были ехать, но потом началась революция.

— А ты хочешь ехать в Палестину? — Пинхас резко придвинулся к Симону. — Тебе кто-нибудь о ней рассказывал?

— Очень хочу, очень, — мальчик впервые взглянул на Пинхаса доверчиво и с надеждой. — Отец говорил, что там не будет гоев и все будут евреи... А вы тоже хотите ехать в Палестину?

— Да... — трудно помолчав, сказал Пинхас. — Я тоже. Поедем вместе?

— Что ты говоришь? — спросил Мишель по-французски. — Откуда ты возьмешь деньги?

Пылали синагоги, как гигантские семисвечники, и семисвечники придорожных деревьев обугливались от жара и возгорались. И разноцветные нелюди убивали людей, и дети казнимых, костеня от животной тоски и человеческого ужаса, смотрели на казнь из стогов и подвалов, и запоминали. И еще запоминали: "Отец говорил, что там не́ будет гоев и все будут евреи..."

— Я пойду на этот конский маскарад! — сказал Пинхас и усмехнулся невесело. — Эй, гарсон! Принесите-ка

мальчику бифштекс. Это вы, Нахман, додумались кормить его пирожными? Мясо нужно ему, мясо с кровью, а не ванильный крем, Нахман!

— Так ты все-таки решаешь идти! — спросил Мишель.

— Не я решаю, — сказал Пинхас. — Он, — и указал на Симона.

— А фрак? — спросил Мишель. — Нужен фрак... Нет, ты сошел с ума, Пьер!

— Слушайте, Нахман, — сказал Пинхас, хлопнув Рабиновича по плечу. — В вашем возрасте нужно уметь что-то делать. Вы уже научились торговать картинами?

— Ну, как вам сказать... — сказал Нахман выжидающе. — В Одессе, как вы догадываетесь, я торговал не картинами... А вы, что, хотите пойти со мной в долю?

— Да, — сказал Пинхас. — Мне нужен напрокат фрак, на один вечер. Дайте деньги, ночью я верну вам вдвое.

— А гарантии? — понуро спросил Нахман. — Вы ведь знаете, под фрак берут большой залог. Вы можете представить гарантии?

— Я не знаю, какой берут залог, — сказал Пинхас, — но за гарантии я уплачу вам дополнительно. Ну, Нахман?

Нахман молчал.

— Объясни ему, в чем дело, — сказал Пинхас Мишелю. — А я пока что пойду спрошу у Крикри.

— Ты с ума сошел! — повторил Мишель. — У Крикри?!

— Да, — сказал Пинхас. — У нее... Скажи-ка мне, Шимеле, разве вон та дама, в углу, чем-нибудь отличается от той, в другом углу?

— Одинаковые, — сказал Симон, поглядев. — Разве нет?

Когда Пинхас вернулся к своему столику, Нахман отсчитывал деньги.

— Я даю половину, — сказал Нахман. — Больше не могу.

— Нет гарантий? — улыбнулся Пинхас. — А вот Крикри во мне уверена: она дала больше, чем я про-

сил. Крикри, имейте в виду, неплохо разбирается в мужчинах.

— В таком случае, мне она не дала бы ни сантима, — пошутил Нахман. — И была бы права.

Густая толпа запрудила площадь перед входом в зал, фасад которого был сплошь обклеен афишами. "Войдите — и увидите красивейшего мужчину Франции!", — звали афиши. "В полночь жюри вынесет свой приговор". "Победителю — слава и деньги!". На этой последней афише над крупными буквами надписи изображен был огромный вопросительный знак.

Кассы всюду торговали билетами, толпа душно пахла потом и духами.

— Претенденты тоже покупают билеты, — сообщил деловой Нахман Рабинович, успевший в толпе разузнать подробности о нынешнем конкурсе мужской красоты. — И за право участия тоже платят...

— Вот что, Нахман, — сказал Пинхас, извлекая из фракчного кармана потрепанный кошелек. — Вы ведь, все-таки, были в Одессе деловым человеком... Вот вам остатки ваших денег, и начинайте работать. Иначе вы в очередной раз прогорите.

Молча приняв кошелек, Нахман бросился в толпу. Минуту спустя его лысина сверкала уже у самой кассы.

Стоя на окраине толпы, Мишель и Пинхас ждали возвращения Нахмана Рабиновича.

— Что ты сделаешь, если победишь? — спросил Мишель. — Там ведь масса денег... Можно взять Нахмана в компанию и открыть альманах.

— Ну, так будет еще один альманах! — воскликнул Пинхас. — Разве парижанам не хватает альманахов?.. Нет, Мишель. Я уеду в Палестину, это решено. Первым же пароходом.

— Хочешь пахать землю? — озабоченно, с оттенком иронии спросил Мишель.

— Во всяком случае, не выпускать там альманах на идиш, — сказал Пинхас. — Я отвезу мальчика и погля-

жу, что делать дальше. Я хочу писать о Иерусалиме, а не о Жмеринке.

— В Жмеринке тоже живут евреи, — возразил Мишель.

— Живут... — усмехнулся Пинхас. — Они тяжелы, как мешки с мукой. Но и они двинутся, вот увидишь, и приползут в Палестину — если только их не перебьют в этой самой Жмеринке до последнего человека. Так почему же я должен ползти за ними, а не лететь впереди?

— Ты литератор, пойми это, — терпеливо сказал Мишель. — Тебе нужна культурная среда — Париж, Берлин, Лондон... Ты, если на то пошло, отвезешь одного мальчика — а тысячи оставишь здесь. Вот если б мы открыли еврейский альманах...

— Нет, — отрубил Пинхас. — Нет, Мишель! Я должен попить воду Иордана, понимаешь? После России, после Европы. Пора мне! А потом, может быть, мы откроем альманах.

К ним подошел Нахман с билетами.

— Готово, — сказал Нахман. — Претенденты идут через служебный ход. — Он одернул на Пинхасе фрак и заботливо разгладил ладонью складку на спине. — Я видел там пару наших конкурентов.

— Ну, и как? — спросил Мишель.

— Сладенькие, как засахаренные каштаны, — сказал Нахман.

— Зато фраки у них не прокатные, — сказал Мишель.

— Ну, пошли, — сказал Пинхас. — Пора кончать.

Сорок членов жюри размещались на ярко высвеченной сцене, лицом к публике: модные художники, блистающие драгоценностями старухи, кавалерийский генерал при регалиях и со шпорами, владельцы рекламных агентств, два депутата Национального собрания, несколько безукоризненных красоток без общественного положения, один писатель-академик и один английский лорд с лисьим черепом. "Этот, видно, для определения породы, — подумал Пинхас, разглядывая лорда из ложи претен-

дентов. — Кого здесь не хватает — так это Крикри...”.

Пинхасу предшествовал огромный густочерный негр с необъятными плечами. В Африке он, несомненно, прошел бы на ”ура”, но парижане приняли его довольно прохладно. Один только кавалерийский генерал долго аплодировал и поднял табличку с высшей оценкой — ”10”. Прочие члены жюри тактично предложили африканцу по два-три балла.

— Пьер Лебо, житель города Парижа, двадцать пять лет! — объявил председатель жюри, когда негр, неизвестно чему улыбаясь в тридцать два зуба, покинул сцену.

Пинхас стремительно поднялся по ступенькам и остановился перед столом жюри. Зал оценивающе притих. Молчали и члены жюри, настороженно выжидая первой реакции зала. Медленно поворачивая голову, Пинхас холодно оглядывал членов жюри. Первыми не выдержали безукоризненные красотки, они звонко захлопали в ладоши и показали оценку — десять баллов. Тогда зал облегченно выдохнул восторженное ”а-а!” и аплодисменты волнами прокатились по рядам. Владельцы рекламных агентств деловито шушукались между собой, а лорд удовлетворенно покачивал лисьим черепом. Старухи умиленно трясли пудренными щеками, драгоценности брезгливо вспыхивали на их дряблых шеях.

Пять дней спустя они отплывали из Марселя на пароходе ”Републик”. Мишель Познанский и Нахман Рабинович провожали их. Стояла удручающая жара, в густом воздухе лениво бродили запахи плавящегося асфальта, дыма и тронутой порчей рыбы.

— Возвращаясь, — сказал Мишель, обнимая Пинхаса. — Ты сам понимаешь, что издание альманаха... — Мишель махнул рукой и, отведя в сторону вдруг потемневшие глаза, — добавил: — Обними нашу землю...

— Ты знаешь, как я к тебе отношусь, — сказал Нахман, дождавшись своей очереди. — Рекламные агенты после твоего успеха прямо-таки рвали нас на кус-

ки. Какая-то сумасшедшая старуха купила у меня твой фрак и дала вдвое... Мы бы открыли дело, Пьер! "Пьер Лебо и Нахман Рабинович".

— Дядя Пиня, идемте, а то он может уйти без нас, — сказал Симон и потянул Пинхаса к трапу.

3. ЗАНЗИБАР

— По моим подсчетам, он должен быть где-то здесь... — и дон Лоренцо ткнул в карту оправленной в золото зубочисткой слоновой кости.

Адмирал португальского королевского флота Лоренцо Лакиш только что позавтракал на борту своей каравеллы "Непорочное зачатие": цыплята с орехами, салат, бутылка малаги. Так, кое-что на скорую руку... Вообще-то говоря, больше всего на свете дон Лоренцо любил фаршированную рыбу с красным свекольным хреном, но такую роскошь адмирал мог позволить себе только в самой темной комнате своего дома в Лишбоа, с ключом от которой он никогда не расставался: там, в комнате, в старинном дедовском сундуке хранились массивные серебряные семисвечники, тфилн, галес и ветхий свиток торы. Дед дона Лоренцо не был адмиралом — нет, он давал деньги в рост добрым католикам, за что добрые католики и закололи его копьями во время погрома. Было это давно, лет сорок тому назад... Так или иначе, но в первый сейдер пасхи адмирал Лакиш, отправив слуг, возжигал в темной комнате дедовские семисвечники и, трогательно и искренне радуясь благополучному исходу евреев из египетского рабства, распевал хриплым голосом молитвы на полузабытом древнем языке своего деда. В этом до последнего времени ему составлял компанию его брат Шмуэль, богатый торговец драгоценностями, относившийся к морским занятиям младшего брата весьма скептически.

— Ну, что ж! — пожимал, бывало, широкими плечами Шмуэль. — Зевулон тоже был моряком. Ты знаешь, кто такой Зевулон, а, Яшка?

Дон Лоренцо очень не любил, когда его называли Яшкой. Да и — зная крутой нрав скорого на руку адмирала — вряд ли кто-либо осмеливался называть его так в глаза... Но здесь, в темной комнате с дедовскими семисвечниками, за пасхальным столом, за которым они сидели вдвоем с братом и больше никого не было — здесь адмирал жадно ловил звуки своего настоящего имени, произносимого Шмуэлем, и довольно покачивал головой: да, конечно, он, Яшка, прекрасно знает, кто такой Зевулон. Более того: в сугубо сухопутном семействе Лакишей он и себя считает в какой-то степени Зевулоном. Жаль, ни отец, ни братья — кроме одного Шмуэля — не дожили до расцвета морской славы Яшки-Лоренцо.

А теперь вот и Шмуэль! Даже кровное родство с доном Лоренцо не спасло его от костра. Если бы еще Лоренцо был в это время в Лишбоа, а не открывал новые земли для португальской короны! Но Великий инквизитор был человек проникательный, в этом ему нельзя было отказать: он знал, когда следует нанести удар. Шмуэля сожгли, обвинив его в том, что он-де сеял среди христиан дьявольский соблазн и смуту и уговаривал их делать обрезание и переходить в еврейство. В день сожжения возмущенные горожане разгромили не без пользы для себя с десятков еврейских лавок. Имущество сожженного было конфисковано и передано в королевскую казну.

Оплакав мужа и отсидев положенные законом семь дней на полу чужого дома, жена Шмуэля Дебора, беременная вторым ребенком, наложила на себя руки. Ее первенца, пятнадцатилетнего мальчика Симона, привел в дом дона Лоренцо какой-то еврейский старик и оставил там до возвращения адмирала из морских странствий. Лоренцо, никогда не помышлявший о семье и предпочитавший всем прочим дамам кабацких потаскух за их открытый характер, без раздумий оставил мальчика у себя. Он решил сделать из него настоящего моряка и взял с собою в первое же плавание. И вот теперь юнга Симон Лакиш сидел против

своего дяди в адмиральской каюте каравеллы "Непорочное зачатие".

— Да, наверняка здесь, — повторил дон Лоренцо, еще раз ткнув в карту резной зубочисткой.

Каравелла адмирала, благополучно обогнув каверзный мыс Доброй надежды, шла теперь на северо-восток вдоль африканского побережья. Васко да Гама, выслав дону Лоренцо вперед, остался в двух сутках пути за кормой "Непорочного зачатия". Собственно, Васко да Гама не посылал своего разведчика так далеко вперед, но шторм у мыса Доброй надежды увеличил разрыв, и дон Лоренцо был благодарен этому шторму нельзя сказать как: теперь он был почти уверен, что первым ступит на берег таинственного и богатого острова Занзибар. Конечно, он должен быть где-то здесь, может быть, в дне пути — если только не врет тот арабский купчик, чью лоханку со слоновой костью захватили вчера после короткого абордажного боя. Хорошо, что он, Лоренцо, догадался захватить араба с собой, а не сразу отправил его на тот свет. Но чем дальше Лоренцо от Занзибара, тем ближе араб к реке. Мы, конечно, не варвары, и на дворе уже, слава Господу, 1502 год после этого самого непорочного зачатия — но все же... Не испытывайте судьбу, не бросайте денег на ветер и не ставьте на араба.

— Слушай-ка, Симон, — взглянул адмирал на племянника, — скажи там кому-нибудь — пускай приведут купца.

Когда мальчик вышел, Лоренцо натянул на тонкую нателную рубаху кожаный жилет, оставлявший открытой мускулистую, поросшую черными колечками волос грудь, и, затянув на животе широкий ремень, прицепил кинжал с крупным рубином на рукояти.

Едва переступив порог, араб с грохотом повалился на пол, а потом пополз к адмиралу на коленях.

— Ну, ты... — сказал Лоренцо брезгливо. — Как, ты говоришь, тебя зовут?

— Абд-Улла, великий господин! — араб, не поды-

маясь с колен, уперся руками в пол. — Я объехал весь мир, прежде чем аллах привел меня на твою победоносную каравеллу.

— Аллах тут ни при чем, — заметил Лоренцо. — Просто я взял на abordаж твое корыто, вот и все... Так ты, значит, утверждаешь, что был на Занзибаре?

— Я как раз шел оттуда с моим товаром.

— Про товар забудь, — посоветовал Лоренцо. — Когда мы увидим остров?

— Солнце еще не сядет, — сказал араб, немного подумав.

— Ну, смотри, — сказал адмирал раздельно, и араб снова плашмя повалился на пол. Лоренцо не было нужды продолжать — араб, надо думать, понял, что его ждет, если португальцы не выйдут к Занзибару к заходу солнца.

Пока араб валялся на полу, Симон подошел к дяде и подергал его за широкий рукав рубахи:

— Можно я спрошу его?

— Валяй, — разрешил адмирал. — Можешь его даже зарезать.

— Ты много ходил по свету, Абд-Улла? — спросил мальчик.

— Нет такого большого города, — сказал араб, приподнявшись с пола самую малость, — на базаре которого я бы не открывал свою лавку, молодой господин.

— Врет! — рявкнул дон Лоренцо. — Врешь, собака!

— Ты знаешь что-нибудь о такой стране, — продолжал Симон, — Палестине?

— Я был в нашем священном городе Иерусалиме и молился там аллаху в мечети Аль-Акса.

— "В нашем"! — насмешливо повторил адмирал подмигивая племяннику. — С каких это пор Иерусалим стал вашим? В нашем!

— Я оговорился, великий господин, — послушно поправился араб. — В вашем.

— Ну, вот, — сказал дон Лоренцо, продолжая улыбаться уже без насмешки. — Теперь другой разговор... А ты знаешь — в чем "нашем"?

— Нет, — сказал араб, справедливо подозревая подвох.

— А тебе и не надо, — сказал адмирал, гася улыбку. — Так что ты там делал, собака, в нашем Иерусалиме?

Мальчик беззвучно смеялся, морща лоб, высоко вздернув короткие черные брови над глубоко посаженными глазами: араб действительно был похож на собаку. Он все сидел на полу, поджав под себя ноги и опершись о ковер прямыми вытянутыми руками.

— Твой раб торговал там кожами, — уныло сообщил араб.

— А как там... — сказал Симон, глядя на Абд-Уллу и, видя его страх и непонимание, добавил: — Ну, как там вообще?

— Хорошо, — с осторожностью сообщил араб, не ведая, что от него хотят услышать. — Тепло.

— Там что — море, горы? — уточнил вопрос адмирал.

— О, там все есть! — сказал араб уже более уверенно. — Море, горы. Это прекрасная страна! Если закрыть глаза и пить воду из реки, можно подумать, что это молоко.

Дон Лоренцо слушал внимательно, молча покачивая головой.

— Те, кто живут там, воистину счастливы, — продолжал араб с воодушевлением. — У них все есть — золото, серебро, драгоценные ткани. Я бы и сам поселился там навсегда, если бы не моя торговля.

— Тебя только там не хватало, — проворчал дон Лоренцо, сжав голову ладонями. — А кто там теперь живет?

— Ну, как... — араб, пытаясь угадать нужный ответ, снизу взглянул на адмирала. — Разные люди.

— Евреи там есть? — спросил адмирал напрямик.

— Ну, конечно, — облегченно подтвердил араб. — Много! Это же их земля — вот они там и живут... — араб, кажется, начал понемногу догадываться.

— Ты расскажи поподробнее, — допытывался Симон. — Обо всем рассказывай!

Купец долго плел удивительные небылицы. Его не прерывали.

— Ты ходил туда на корабле? — спросил вдруг адмирал.

— Да, великий господин, — подтвердил араб. — Надо идти вдоль берега Африки все время на север, а потом повернуть на северо-запад. Там Палестина.

— Ну-ка, иди нарисуй вот здесь, — позвал дон Лоренцо. — Иди, не бойся!

Араб приблизился, склонился над картой.

Если великий господин прикажет, — прошептал араб в большое, с мясистой круглой мочкой адмиральское ухо, — я покажу ему страну Офир, куда еврейский царь Шеломо посылал за золотом своих моряков.

Откинувшись в кресле, адмирал посмотрел на араба с недоверием.

— Клянусь аллахом! — воскликнул пленный шепотом. — Я покажу, если только великий господин отпустит меня...

— Хорошо, — сказал дон Лоренцо. — Я высажу тебя на Занзибаре, и можешь убираться на все четыре стороны... Рисуй! Да не здесь — на другой карте.

— Так... — приговаривал араб, уверенно продолжая линию восточного побережья Африки за мысом Доброй надежды. — Так... Вот здесь живут черные люди Зимбабве. Ты пройдешь в глубь их земли — до развалин древней крепости, сложенной из тесаных камней. В одном дне пути от развалин, на берегу лесной реки — вот здесь — ты найдешь глубокие ямы, вырытые в земле. Это и есть копи царя Шеломо.

— А почему бы тебе самому не отправиться туда? — хитро спросил адмирал.

— Мне моя жизнь дороже всего золота царя Шеломо, — усмехнулся купец. — Я ведь торгую не только слоновой костью... Однажды я вывез две сотни зимбабве и продал их на невольничьем рынке Занзибара. Так что если черномазые поймают меня, они меня съедят даже не сварив... Ты отдашь мне слоновую кость, господин?

— Нет, — твердо сказал дон Лоренцо. — Не отдам... Пошел!

Араб неслышно выскользнул из каюты. Придвинув к себе карты с пометками Абд-Уллы, адмирал долго рассматривал их, записывая что-то на полях. Затем откинулся на спинку кресла и, резко выбросив руки вперед, хрустнул костями.

— Ты пойдешь в страну Офир? — спросил Симон, внимательно наблюдавший за доном Лоренцо.

— Не сейчас, Симон, не сейчас! Потом...

— А в Палестину?

— Понимаешь, малыш, — дон Лоренцо обнял племянника за плечи и, притянув к себе, прижал к своим коленям, — король доверяет мне. Я занимаю высокое, очень высокое положение. И если я обману короля, люди скажут, что все евреи — обманщики и предатели, что им нельзя доверять. Понимаешь?

— Они доверяли и отцу, — тихо сказал Симон. — Он их не обманывал...

— Да, малыш, да. Мы можем искать среди гоев славу и богатство — а справедливость надо поискать где-нибудь в другом месте. Вот я... — адмирал еще ближе притянул к себе мальчика и заговорил шепотом. — Ведь и дураку ясно, что Васко да Гама должен быть моим помощником, а не я — его. И, родись я португальцем, так оно и было бы, будь покоен. Но они никогда не дадут мне стать первым.

— А там, — сказал Симон, — в Палестине, ты был бы первым?

— Я не могу обмануть короля! — словно бы не слыша мальчика, продолжал адмирал. — Будь я хотя бы простым капитаном — другое дело. Я бросил бы все, собрал отряд и...

— Ты взял бы меня с собой?

— Ну, конечно! — воскликнул дон Лоренцо. — Мы разделались бы с этими грязными арабами не хуже Иисуса Навина.

— Ты ведь хорошо умеешь воевать... — поддакнул мальчик.

— Да, — подтвердил адмирал, — это я умею.

— И ты бы стал там самым первым, — сказал мальчик.

— Мы высадились бы сначала в Зимбабве, — продолжал адмирал, с размаху грохнув кулаком по столу, — и забрали там золото. Это ведь наши копи, черт подери! Мы купили бы оружие, вооружили людей и отвоевали наш Иерусалим. А, Симон?

— Да, дядя, — сказал Симон. — И я бы тоже стал адмиралом.

— Все евреи приехали бы туда, малыш, потому что это единственное место в мире, где их не стали бы жечь и убивать только за то, что они евреи. Я научил бы их воевать, малыш, и тогда бы мы никого не боялись — ни арабов, ни христиан, никого!.. Но я не могу так обмануть моего короля, — понизив голос, закончил адмирал. — Во всяком случае, не сейчас.

— А когда? — упрямо спросил мальчик. — Когда всех сожгут на костре?

— Сейчас я им всем должен показать, кто я такой. Я, я — а не Васко да Гама — открою Занзибар и присоединю его к португальской короне. А вот потом...

— Да они ведь все равно скажут, — воскликнул мальчик, — что не ты открыл, а он!

— Я не знаю, когда я приду с отрядом в Иерусалим, — устало сказал дон Лоренцо. — Но я хочу, чтобы кости мои, по крайней мере, лежали в той земле. Запомни это на всякий случай, малыш.

— Значит, мы не пойдем? — спросил мальчик, еще надеясь.

— Пойдем, но не сейчас... А это было бы здорово — еврейская армия, еврейский флот! Вот увидишь — все туда пойдут, все наши. И звать бы не пришлось — сами пойдут. Инквизиция их своими кострами уговаривает так, что лучше и не придумаешь. Надо только научить их воевать! За полторы тыщи лет целое море слез налили у Стены Плача — хватит! Хватит, а, Симон?

По дощатой палубе застучали тяжелые матросские башмаки, кто-то — с мачты — проревел ликующе и протяжно: "Земля-я-я!" Дон Лоренцо, отшвырнув кресло, выбежал из каюты. На северо-востоке чистый горизонт затянула темная и низкая пелена суши.

— Купца сюда! — приказал дон Лоренцо. — Живо!

Араба приволокли, изрядно помяв его от радостного возбуждения.

— Это? — выдохнул адмирал.

— Занзибар! — подтвердил араб, молитвенно сведя ладони.

— Куда подходим?

— Бубубу, — сказал араб, прикинув.

— Что?! — взревел дон Лоренцо. — Ты что там бубнишь, собака?!

Кто-то из матросов, размахнувшись недлинно, ударил араба по тонкой смуглой шее.

— Так город называется — Бубубу, — выдавил араб, стуча зубами и опускаясь на палубу. — Клянись аллахом...

— Двадцать человек, — прокричал дон Лоренцо, переступая через араба, — вооружиться: аркебузы, палаши, легкие кирасы. Приготовиться к десанту в районе города Бубубу! — и, проходя мимо корабельного священника, добавил вполголоса: — Давай молебен!

Через полтора часа можно было уже разглядеть ветвистые, как метелки, казуариновые деревья на берегу. Убрав часть парусов, каравелла маневрировала, втягиваясь в узкую, хорошо защищенную от океанской волны лагуну. Солдаты десанта, валяясь на палубе, играли в кости в счет будущей добычи.

Адмирал дон Лоренцо Лакиш в своей каюте тщательно затягивал ремни и застегивал пряжки кирасы. То была непростая работа, одному человеку справиться с ней было нелегко; Симон помогал адмиралу.

— Дядя Лоренцо, — попросил Симон, взясь со

спинными застёжками, — разреши мне высадиться на берег с десантом...

— Нет, — отрубил адмирал, не оборачиваясь к племяннику.

— Ты же сам сказал, что нам надо учиться воевать...

— Учиться воевать надо живым, а не мертвым, — проворчал дон Лоренцо, горбя спину и проверяя тем прочность застёжек. — Хочешь погибнуть во славу португальской короны?.. Вот что, Симон, — адмирал, топая, подошел к столу и сел, с трудом втиснувшись в кресло в своей кирасе. — Поди-ка сюда! Я ведь иду на берег не в игрушки играть с туземскими детишками, да и они вряд ли кинутся меня целовать. Меня там могут проткнуть копьем или подстрелить из лука как утку. Чего ты улыбаешься? Адмиралы сделаны из того же мяса, что матросы... Так вот, слушай. Возьми-ка карту этого араба — здесь обозначен путь на Офир и на Палестину. Вернись — отдашь мне, а не вернись — береги ее как зеницу ока. Может, тебе когда-нибудь удастся войти с отрядом в наш Иерусалим... Ты все понял, малыш?

Симон молча кивнул головой и спрятал карту под рубаху.

На палубе громко, визгливо запел рожок. Солдаты десанта, попрятав игральные кости, строились вдоль борта.

— Пора, — дон Лоренцо поднялся из-за стола и двумя руками надвинул на голову блестящий металлический шлем.

На берегу лагуны кричали и грозно размахивали копьями воины передового отряда укрепленного города Бубубу.

4. СТЕНА ПЛАЧА

Вызолоченная закатным солнцем белая стена, сложенная из прямоугольных каменных плит, отбрасывала резкую тень на землю, на которой, при-

валясь разрубленным левым плечом к холодному телу стены, сидел Лакиш бен Ицхак. На белой тряпиче, расстеленной в пыли рядом с лежащим, темнела круглая высохшая лепешка с двумя очищенными луковицами на ней. Эту еду принес Лакишу сын его — худощавый подросток, молча переминавшийся с ноги на ногу здесь же, в нескольких шагах от отца.

Рядом с лепешкой лежала на земле праща и горстка камней величиной с кулак. Раненый неотрывно глядел то ли на пращу и камни, то ли на лепешку и время от времени шевелил губами. От этого черная его с проседью борода, довольно длинная, приходила в неторопливое движение, а потом снова застывала, закрывая шею и верх груди.

Наконец он поднял голову и взглянул на мальчика так, словно бы это он, Лакиш, пришел сюда, к Западной стене Храма, и, случайно повстречав здесь своего сына с лепешкой и луковицами, не очень-то и удивился этой неожиданной встрече.

— Сядь сюда, Симон, — сказал Лакиш, кивком головы указывая на место рядом с собой. — Давай-ка мы поужинаем, а?

— Ты захочешь есть до утра, — сказал Симон, опускаясь на землю. — Дома еще осталось немного муки и связка лука.

— Пожалуй, скоро мне уже не захочется есть, — Лакиш протянул правую, здоровую руку и погладил сына по голове. — И сумеет ли твоя мать испечь хлеб из остатков муки — это тоже неизвестно... Так что возьми и ешь, — и он, разломив лепешку, протянул половину ее и луковицу Симону.

Дома и дворцы Иерусалима густо покрывали выжженные солнцем холмы выше и ниже Западной стены. Они были белы, дома и дворцы, и эта слепящая белизна, от которой веяло скорбным и торжественным холодом смерти, подчеркивала немую агонию большого города. Горячее синее небо касалось крыш верхних построек Храмового холма, лениво висе-

ло над узкими крутыми улочками, ведущими к Западной стене, и над лагерем римлян по ту сторону укреплений; там отчетливо, как из соседнего двора, слышались резкие выкрики военных команд, смех, вибрирующее в застоявшемся душном воздухе конское ржание.

— Я хочу поговорить с тобой, Симон, — сказал Лакиш, глядя поверх головы сына на белый город. — Тебе уже пятнадцать лет, и ты должен кое-что понять. Я не буду тебе ничего растолковывать. Ты только постарайся запомнить — а потом, если только это "потом" для тебя наступит, ты своим умом дойдешь до того, что тебе непонятно будет сейчас. Самое главное, что тебе нужно сейчас сделать, — это постараться запомнить. Идем!

По узкой лестнице они поднялись на стену и сели рядышком, прислонясь спинами к наспех возведенной бойнице. Заметив движение на стене, римские лучники послали несколько стрел; одна из них, ударившись о камень бойницы, переломилась с треском.

— Как там дома, — без вопроса сказал Лакиш, чуть повернув голову и выглядывая из-за бойницы.

— Да так... — Симон быстро пожал плечами и наморщил лоб, словно бы припоминал в деталях, что же происходит дома. Короткие, над глубокими отцовскими глазами брови мальчика, не выгибаясь, уползли высоко вверх. — Боятся, молятся. Воды совсем нет.

Лакиш знал, что воды нет, что боятся. Он не слушал мальчика. Без страха и без ярости — умиротворенно глядел он на лагерь римлян. Там строились, маршировали, как на параде, когорты: прямоугольники сжимались в квадраты, квадраты словно бы невидимым ножом рассекались на равные доли, а потом снова смыкались. То было сухое, несвойственное человеческой природе организованное движение — движение геометрических фигур.

— Когда людям хорошо и прекрасно, — сказал

Лакиш, — они не маршируют — они не чувят землю под ногами и почти летят. А когда им грустно, они сидят на земле, обхватив руками колени, и думают... Кому нужно это дурацкое топанье? Когда человек начинает маршировать, он перестает быть человеком. — Лакиш быстро провел ладонью по лицу — от лба к бороде — и продолжал: — Эти гои растопчут наш храм и наш город. Они убьют всех, кого сумеют убить. Они победят нас — потому что они молоды и жестоки. Молодости свойственна жестокость, а потом иногда приходит и мудрость. Иногда... Мы тоже были жестоки когда-то: твой тезка Симон и Левий, сыновья Иакова, вырезали, в сущности, из-за пустяка целый город. А теперь мы стали мудрыми, и нам стыдно вспоминать об этом. Жестокие мудрецы тоже бывают — но горе народу, над которым стоит жестокий мудрец! Они победят нас и растопчут, эти молодые гои, но, когда они наберутся мудрости, будет уже слишком поздно: они умрут. А мы познали и жестокость, и мудрость — и не умерли. Другого такого народа нет и никогда не было, запомни это, Симон. Народы жили, пока были жестоки — но жестокость не может быть вечной. Потом приходила мудрость — и убивала. Римляне умрут от прилива мудрости, как от прилива дурной крови. А мы будем жить... Да они, если хочешь знать, уже сейчас начинают умирать! Их бритолицы мудрецы стремятся познать человеческую сущность. Вот ведь чушь! Они препарируют человеческие чувства, как египтяне препарируют своих мертвецов. Но для того, чтобы препарировать без помех, надо сначала умертвить. Пытаясь дойти до этой самой сути, они будут срезать слой за слоем, уверенные в своей правоте и непогрешимости. А потом они снимут последний слой и изранят себе пальцы... А мы знаем, что суть скрыта и неулавливаема. Чтобы узнать это наверняка и оставить попытки, нам потребовался не один век. Человека обуревают гордыня, и ему никак невозможно признать-

ся в своем бессилии. И вот наши мудрецы оказались куда мудрее римских: познание сущности — это привилегия Бога, сказали они, и тому, кто вторгается в область божественного, грозит безумие. И тогда люди вздохнули с облегчением: они поняли, что наивысшее счастье под солнцем — просто жить, есть свой хлеб и любить своих детей... Мы сидели с мудростью за одним столом и поладили с ней, а молодые язычники хотят поглядеть, что там у нее внутри. Они ее рассекут на части, будь уверен — это не так трудно для того, чей меч остро отточен, — но она убьет их своим трупным ядом.

По стене мимо посторонившихся Лакиша и Симона пробежали, низко пригнувшись, ополченцы — человек шесть. Некоторые были вооружены короткими широкими мечами, другие — пращами. Римляне выпустили по бегущим легкое облачко стрел, и один из ополченцев споткнулся, словно бы запутавшись в своей длиннополой одежде, и без крика упал со стены. Послышался тупой стук тела о землю, и сразу вслед за тем — одобрительный, многоголосый рев римлян.

— Там сейчас, — Лакиш кивнул в сторону римского лагеря, — Иосеф бен Маттафий, предатель. Помнишь его? Священник первой череды, мы учились вместе, а потом служили в храме. Он часто бывал у нас в доме. Ну, вспомнил?

— Его взяли в плен? — спросил Симон, выглядывая из-за плеча отца.

— Нет, он пришел к ним сам. Он не захотел умереть...

— Я тоже не хочу умирать, — тихо сказал Симон.

— Тебе еще можно не хотеть, — Лакиш взглянул на сына, поймал его взгляд и вдруг улыбнулся. — А нам с Иосефом — нельзя. Я ведь тоже хочу жить — как и тот, — Лакиш снова кивнул в сторону римлян. — Но мы представляем в этой глупой и жестокой игре не самих себя, а своего Бога и свой народ. Мы должны умереть, чтобы вы остались жить. Что-

бы вы на несколько поколении вперед набрались осторожности и мудрости. Такой предатель, как Иосеф бен Маттафий, тоже нужен для вашей жизни — чтобы было, в кого плевать и кого проклинать. Иосеф тоже нужен. Но какое счастье, что выбор пал не на меня, а на него! Он всегда был честолюбив, и теперь он может быть доволен: его предательство принесет куда больше пользы евреям, чем моя смерть на этой стене. Он станет знаменит благодаря своей измене. Ты должен быть ему благодарен, Симон: теперь ты знаешь точно, кого тебе презирать. И научи этому презрению своих детей, чтобы они не повторили предательства Иосефа бен Маттафия. Хватит с нас его одного.

Тело стены сотряс глухой сильный удар, за ним последовал второй, третий: ниже по холму, близ Западных ворот, заработали римские тараны. В лагере Тита высоко, на одной ноте запели трубы. Когорты, разворачиваясь, перестроились на ходу и, сплошь прикрывшись щитами, побежали к стене. Силы резерва, прикрывая атакующих, непрерывно осыпали стену стрелами и камнями.

На стене теперь было много людей, в основном наспех обученных военному делу городских ополченцев — лучников и пращников. Вооруженные мечами воины ждали внизу, чтобы сменить ополченцев на стене, когда начнется штурм. Прикрытая щитами волна римлян подкатывала все ближе. Подпустив нападающих, ополченцы дали первый залп из луков и пращей. Стрелы и камни, встретив на своем пути римские щиты, не причинили легионерам вреда.

Метнул свой камень и Лакиш бен Ицхак. Снаряд не долетел до цели, упал на землю перед наступающими. Лакиш снова зарядил пращу, но, размахиваясь, выронил камень из кожаного гнезда.

— Дай я! — попросил Симон. — Я умею!

Лакиш передал пращу сыну. От неумелых, рез-

ких движений рана на левом Лакишевом плече разошлась и кровоточила.

Плавню изгибая поясицу, Симон раскрутил пращу и метнул снаряд. Камень, описав плавную дугу над головами наступавших со щитами, попал в легкого пехотинца второй волны. Тот упал и остался лежать. Шедшие за ним перепрыгивали через своего товарища.

А первая волна подкатила тем временем к самому подножью стены, гудевшей от ударов тарана.

— Теперь иди, — сказал Лакиш, подталкивая сына к лестнице. — Ты уже видел...

— Еще разок! — просил Симон. — Я убью еще одного!

Лакиш поднялся во весь рост, улыбаясь горько и покачивая головой. Обняв сына за плечи, он подвел его к лестнице.

Стрела ударила Лакиша бен Ицхака сзади, пробила ему шею. Он повис на Симоне и упал, подмяв мальчика под себя.

— Ты должен выжить, — прохрипел Лакиш бен Ицхак. — Запомни эту стену: евреи будут приходить сюда плакать по разрушенному Храму.

— Нет, по тебе, — сказал Симон и заплакал, потому что отец его умер.

Ниже по холму стена уже рухнула под ударами таранов, и римляне хлынули в город. Оставшиеся в живых ополченцы бросились к лестнице, увлекая за собой Симона бен Лакиша.

Оказавшись на земле, мальчик забился в подвал разрушенного дома и оттуда, сквозь щель, долго глядел на Стену Плача. Но он больше не плакал. Он думал над тем, как спастись.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1. ШКОЛЬНИКИ

Октябрь в Джеты-Су — славное время: жара отпустила, до морозов еще далеко, земля без боли рождает поздние овощи, нужные человеку для питания. К зиме готовятся, как к войне: запасаются морковью и луком, соленьями, ворованным колхозным рисом, сбываемым за полцены с товарного склада. Зима, собственно говоря, и есть война, осада жизни: кто не запасется домовито — локти будет грызть, когда земля обесплодеет до весны, когда в магазине ничего не возьмешь, кроме соли да протухших рыбных консервов. Вот и бродят на рассвете по озерным протокам озабоченные домовитые люди, вылавливают жирнейших осенних сомов для копчения и вяления впрок, а также и для продажи на стационарном базаре. А некоторые везуны, всеми правдами и неправдами добывшие грузовик с шофером, колесят по степи, выбивая с машины ожиревших за лето сайгаков и джейранов. Заколоть еще кабанчика где-нибудь к ноябрьским — и, вкупе с заготовленной сайгачатиной, можно сберечь мясо почти до самой весны... Хлопотное время октябрь

в Джеты-Су, но и приятное: жара отпустила, до морозов еще далеко.

Симон Ашкенази не играет больше на тарелках в похоронном оркестре. С первого сентября его взяли в школу. Он пошел в восьмой класс, и пропущенные полгода никак не отразились на его успеваемости: в восьмом классе джеты-суйской поселковой школы без труда успевал бы московский пятиклассник. В железнодорожной школе учили, говорят, получше — но это учебное заведение считалось привилегированным, и Симона туда не взяли.

Симон пошел учиться без охоты. Не все ли равно — сидеть в ссылке с десятилетним образованием или с семилетним? Но Мира плакала, Ефим упрекал — пришлось пойти. Веня, которому Симон пожаловался на судьбу, сказал по этому поводу:

— В школе наверняка топят. Пересидишь зиму в тепле...

И Симон пошел учиться.

Он не задумывался над тем, почему в прошлом году учеба его в школе вместе с другими мальчиками была невозможна, а теперь его взяли без разговоров. Взяли — ладно. Лучше бы не брали, тогда б он продолжал играть на тарелках. Вообще-то там, в центре, что-то интересное творилось: сначала отпустили врачей и отобрали орден у Тимашук, потом посадили Берию. Шутка ли сказать! После освобождения врачей темные джеты-суйцы повадились к Ашкенази с заказами: вы, мол, семья врача Кога-на, вас скоро освободят — пришлите из Москвы копченой колбасы или плисовый отрез на жакетку. Время шло, Ашкенази не освобождали. Джетысуйцы перестали навещать: евреи, видно, не те, за кого их принимали, и сидеть им до конца срока... Но зачисление в школу Симон туманно связывал с событиями, происходившими в Москве.

О событиях этих толком не знал никто. Слухи, однако, доползали до Джеты-Су — темные и светлые, уродливые и прекрасные. Говорили, что Ста-

лин жив, что он в Грузии и собирается вернуться в Москву наводить порядок. Говорили, что в Москву введены танки и там идут бои. Говорили, что евреев тем не менее решено всех из Москвы выселить в Сибирь. Говорили и о том, что всем сидельцам скоро дадут свободу и отпустят по домам.

Может быть, думал Симон, может быть и отпустят. Что же он тогда будет делать — в тот день, когда его вызовут в РО МГБ и Зубан скажет ему: "Ты свободен, парень. Можешь катиться к едрене-фене на все четыре стороны!" Что он — станет петь, кричать от радости? Нет, он просто покатится к едрене-фене, а вернее, поедет в Москву. А радоваться — это здесь ни при чем. Радоваться — это когда хорошая строчка придумывается. Ну, поедет он в Москву! Не все ли равно, где жить — чуть ближе к железному забору или чуть дальше от него?! А о том, что евреев надумают отпускать в Израиль — такие слухи до Джеты-Су не докатывались.

Письмо, полученное из Москвы от Егора Голованова, школьного товарища, особых новостей не содержало.

"Здравствуй, Симон! — писал Егор Голованов. — У нас все по-старому. Погода в Москве неплохая. Я теперь сижу на одной парте с Володей Строевым. Химичка мне вчера поставила кол, потому что я разбил колбу с кислотой. А недавно у нас был вечер, и пришли девчонки из 168 школы. Одну уборную на нашем этаже отдали девчонкам, а мы нашли ключ и заперли ее, и девчонки не могли выйти. (Читая это сообщение, Симон отдаленно вспомнил Аврору и усмехнулся: "Заперли!.." Ну, и что? Больше им там делать нечего, что ли?) Через неделю весь наш класс поедет на экскурсию по Москве-реке. Мы с Володей Строевым скопили денег и возьмем с собой пива".

Дочитав до этого места, Симон смял письмо и сунул его в карман. Он, хоть убей, не помнил, кто такой этот самый Володя Строев, и пивная экскур-

сия по Москве-реке была ему смешна после его собственной экскурсии на тот берег Сыр-Дарьи...

— Здравствуй, Симон! У нас все по-старому...

— Здравствуй, Егор! Как там поживает твой замок на цепочке?

— А, ты помнишь об этом... Если кто на тебя полезет — я всю голову тому расскажу.

— Я верю, Егор. Только теперь я, пожалуй, сам кому хочешь голову прошибу — не замком, так камнем.

— Ты, пожалуй, немного изменился, Симон...

— Я тоже так думаю. Мне один мой знакомый по вагону ЗАК помог кое-что понять — Дублennyй его звали. И потом — Веня, сталинский двойник. И еще — Калу, чечен...”.

Переделав таким образом полученное письмо в диалог с Егором Голованиным, Симон повернулся к Калу. Они сидели за одной партой, их связывала немногословная, выверенная, как ход хороших часов, дружба: действие одного из них немедленно вызывало поддерживающее действие другого.

— Ну, чего? — спросил Калу, почти не понижая голос против обычного. — Чего пишут?

— Да так, — сказал Симон. — Ерунду всякую...

Шел урок казахского языка. Преподаватель, щуплый лысоватый Берген, злобно взглянул на громко разговаривающего Калу, но сделать замечание рослому чечену не решился. Он просто прервал урок, подошел к круглой высокой печке и, поочередно приставляя пальцы к ноздрям, протяжно и гулко высморкался в угол. Сделав это, Берген снова взглянул на Калу, столь же злобно. Калу смотрел на учителя как на неодушевленный предмет примечательной формы.

Класс был замызган и замусорен. Доски пола далеко отставали друг от друга, и широкие щели вели в разбойное крысиное царство. По оштукатуренным стенам класса нацарапаны были кое-где ла-

коничные матерные слова, замазанные и замытые и потому более отчетливые.

Действия, произведенные Бергеном в углу, за печкой, никому не были внове и никого поэтому не удивили. К тому же в углу было полно мятой бумаги, тряпок, дровяных обломков и прочего неиссякаемого хлама.

Освободив нос, Берген подошел к своему стулу и не спеша поставил на него правую ногу. Из-под черной штанины высывалась другая, ярко-полосатая. Сосредоточенно закатив черную штанину почти до колена, Берген приступил к закатыванию вылезавшей штанины, ярко-полосатой пижамной. Закончив, он вернул на место штанину верхних брюк, скрыв таким образом пижамные штаны, надетые подниз. Вслед за тем он проделал то же самое с левой ногой.

— Нда, — сказал Берген, полностью приведя себя в порядок. — Продолжим... Как я вам уже объяснял, казахский язык является языком великого казахского народа, который является младшим братом великого русского народа.

К таким перебивкам Бергена, произносимым с величайшим акцентом, ученики привыкли так же, как и к его сморканью в угол. Ученики воспринимали эти слова Бергена не как осмысленную фразу, а как бессмысленные звуки, и не вдумывались. Они знали также, что последует дальше.

Дальше следовало:

— Теперь пишите новые слова. Товарищ — джолдаш. Председатель колхоза — башкарма. Бык холостой — огуз.

— Холощенный, — с места поправил Симон. — Бык холощенный.

— М? — спросил Берген. — Чего мешаешь? Двойку хочешь?

— Я говорю — бык холощенный, — сказал Симон. — Вол.

— Это что — вол? — брезгливо поморщившись, спросил Берген. — Двойку хочешь?

— Не хочу, джолдаш Берген, — сказал Симон.

В классе засмеялись, заговорили.

— Москвич, что ли? — продолжал наседать Берген на Симона. — Грамотный, что ли? Сейчас двойку ставлю!

— Берген Бергеныч! — вдруг поднялся из-за парты Калу. — А "футбол" по-казахски как будет?

— Футбол, — вдруг успокоился Берген. — Садись.

— А фуражка? — на отставал Калу.

— Пуражка. Садись, — сказал Берген. "ф" он не выговаривал.

— А кровать как по-казахски? — вскочил грек Иваниди.

— Карават, — сказал Берген.

— А стул?

— Истул. Садись.

— А шкаф как будет, Берген Бергеныч?

— Ишкаф. Садись.

— А ишак, Берген Бергеныч, ишак?

Берген задумался.

— Ишак тоже будет — ишак, — сказал наконец Берген.

Класс взорвался хохотом. Ученики топали ногами, хлопали крышками парт.

Берген не реагировал. Отойдя к печке, он смотрел на бушующий класс с большим азиатским презрением. А ученики, не дожидаясь конца урока, собирали книжки и тетради и шли из класса: следующий урок — физкультура, физкультурник обещал повести на поле, дать пострелять из малокалиберных винтовок.

Калу, гордо поклонявшийся оружию, ушел из класса первым. Проходя мимо стоявшего у печки Бергена, он и не поглядел на него. Калу очень любил стрелять из винтовки, а поэтому спешил на поле, лежащее сразу за последними домами поселка. На сером этом поле, переименованном учителем физкультуры на сегодняшний день в "стрельбище", находился уже сам учитель по имени Николай Сидо-

рович и по кличке Петух, данной ему за голенастость и подскакивающую — по острой худобе — походку. Симон долго не мог определить, что напоминает Петухова походка и наконец в один прекрасный момент его озарило: так подскакивает и бессистемно держится из стороны в сторону безрессорная повозка на булыжнике. Определив таким образом, Симон остался доволен определением и даже почувствовал к Петуху некоторую симпатию.

Петух заранее приволок на поле три винтовки-мелкашки и валовые патроны в картонных коробочках, по пятьдесят штук в коробке. Винтовки он разложил на земле, в пятидесяти метрах от мишеней, — а сам лежал теперь и покуривал у самой огневой позиции. Он, Петух, служил раньше в вохре и с педагогической системой Макаренко знаком не был. С вверенными ему учениками ладил, наиболее крупных из них и сильных боялся. Вообще же отличался характером покладистым и гибким. О своем прошлом вспоминать не любил даже наедине с самим собой либо со стаканом, который не отодвигал никогда. И, действительно, ничего такого приятного в этом прошлом не обнаружилось бы, сколько ни ищи, — к чему ж тогда и вспоминать? Ну, работал когда-то Петух по карманам в хлебном городе Ташкенте, а потом шестерил и паясничал в лагерном бараке для увеселения серьезных уроков, — было дело. И постукивал в том же бараке — тоже было. За то и попал по выходе из лагеря в вохру, и в личное дело этот фактец ему тоже занесли, надо думать. Кому следует, во всяком случае, о том стуке знал... И вот теперь Петух — учитель физкультуры, государственный человек. Петуху очень нравилось быть учителем.

— Здравия желаю! — шутливо сказал Калу, подходя к Петуху и опускаясь по соседству с ним на землю. — Тихо-тихо постреляем?

— Постреляем, постреляем! — подтвердил Петух,

вытряхивая из жеваной пачки "Беломора" папиросу и протягивая ее Калу. — Кури!

Калу, не благодаря, взял папиросу и прикурил от спички, поднесенной Петухом же. Симон, подойдя следом за Калу, осматривал теперь со знанием дела одну из трех приготовленных винтовок.

— Положь ору́жие! — чуть приподнявшись с земли, прикрикнул Петух. — Ишь, командир!

— Пускай смотрит! — лениво возразил Калу. — Ты стрелял когда-нибудь?

— По юношескому разряду, — сказал Симон. — В прошлом году разряд выбил.

— Смотри-ка! — дружелюбно — после заступничества Калу — молвил Петух. — Молодец!

Симон сел на землю, тесно обнял руками согнутые в коленях ноги.

— Слышь, Сема! — продолжил было Петух, но умолк, прерванный:

— Симон меня зовут! Сим-он!

— Ну, Симон — так Симон, — поправился Петух. — А по мне хоть горшком назови, только в печку не сажай... Слышь, Симон! В Москве, сказывают, есть такие специальные подтяжки для носков. Вот сюда, под коленочку, одеваешь и к носку вот здесь вот цепляешь, чтоб не сползал, — Петух показал, где следует цеплять. — Правда это ай нет? Мне один чу-дак рассказывал...

— Да, есть такие, — подтвердил Симон. — Я, правда, не носил.

— Ты как домой поедешь, в Москву, пришли мне подтяжки эти самые по почте, — попросил Петух.

— Откуда вы знаете, что я поеду в Москву? — пожал плечами Симон.

— Ну, как же! — встрепенулся Петух. — Такие времена пошли. И врачей вот отпустили, и вас теперь отпустят... Да, пошли времена! — словно бы чего-то обождав, то ли с сожалением, то ли с удивлением сказал Петух. — Ране б врачей этих к стеночке поставили — и не пикнули б. Ну, ладно, вышла оши-

бочка. Извиняйте, пожалуйста. А Тиманук? — возвысил голос Петух. — Как с ей быть? Её, выходит дело, саму следывает к вышке представить — а у ей только орденюк обратно забирают, и все... Да, ране так не было, — убежденно заключил Петух.

— Что раньше, что теперь, — сказал Калу, поворачиваясь на другой бок. — Власть-то у нас как была, так и есть — советская.

— Это-то ясно, — поспешил согласиться Петух. — Никто же спорит. Просто мне с москвичом поговорить интересно.

— Другое дело, — сказал Калу.

— Да, товарищ, — продолжал Петух со смущенной улыбкой. — Я вчера утром как раз задумался: что есть человек?

Симон удивленно повернулся к говорящему, а Калу, сев рывком, бросил со злобой в голосе:

— Ну? И что надумал?

— Пока ничего, — оправдался Петух. — Вот я москвича и хочу спросить — отец его, говорят, большой человек был.

— Объясни ему, Симон, — попросил Калу. — А то человек дурью мучится... "Что есть человек!"

— Ну да, — согласился Петух. — Я и говорю: что есть человек?

— Да ничто, — буркнул Симон. — Ноль.

— Ну, это ты того... — демонстративно, с разведением руками, усомнился Петух. — А тело, а руки-ноги? А голова — тоже ноль? Зачем же она тогда нам нужна?

— Один мой знакомый говорил, — сказал Симон, — что голова нужна нам для того, чтобы есть.

— Верно! — поддержал Петух. — А ты говоришь — ноль!

Калу, приподнявшись на локте, вслушивался с интересом.

— Если вы, например, — терпеливо начал Симон, — идете по улице и встречаете похоронную процессию. Так?

— Так... — неуверенно согласился Петух.

— И в гробу лежит жмур, которого вы никогда в жизни в глаза не видали. Вам до него есть дело, до этого жмура?

— Нету дела, — сказал Петух. — Хоронят его — и пускай хоронят.

— Ну вот, — сказал Симон. — А жмуру этому голова дана была, как и вам, чтобы есть. Значит, он — такой же, как вы, а вам на него наплевать. Ноль он для вас или не ноль?

— Так я же про себя говорю... — оправдался Петух.

— В том-то и дело, — сказал Симон. — Для себя-то вы не ноль, только никто этого, кроме вас, не знает.

— Правильно, — сказал Калу. — Каждый человек сам по себе. Сам о себе думай что хочешь — а сосед все равно не поверит.

— Или, например, еще, — продолжал Симон. — Если при вас вашего брата убивают — вы, конечно, заступитесь. А если совсем чужого человека? Вот идете вы по улице Амангельды, и вдруг кричат: "Спасите! Убивают!" Пойдете спасать?

Петух молчал.

— Кто кричит — вы не знаете! — диктовал Симон условия.

— Так ведь я... — промямлил Петух.

— Дело происходит ночью, — добавил Симон. — Идете вы спасать или нет?

— Не пойду! — решил Петух. — Самого зарежут...

— Ну вот. Потому что тот, кто кричал — для вас ноль, — сказал Симон. — И вы для него ноль. Он бы вас тоже спасать не побежал.

— Если б еще днем... — прикинул Петух. — А ночью-то кто побежит?

Калу ударил ладонью о ладонь, засмеялся:

— У нас в горах говорят: "Тот не храбрец, кто задумывается над последствиями!"

— Ну, в горах... — сказал Петух. — Там каждый

второй человек — разбойник, — и покосился опасно на Калу. Но тот только усмехнувшись снисходительно.

По полю, громко переговариваясь, шли ученики к огневому рубежу.

Впереди других шел Аниканов Димитрий.

Аниканов Димитрий был парень крепкий, задлый второгодник лет семнадцати. Он родился здесь, в Джеты-Су, в семье раскулаченного старообрядца, и мир делился для него с аптекарской точностью: на русских и чучмеков. Под чучмеками подразумевались казахи, корейцы, чеченцы и даже греки — все, одним словом, жители поселка помимо русских. Евреи, о которых Димитрий знал понаслышке — Симон был первым евреем, увиденным им воочию, — стояли особняком в классификационной таблице Аниканова. Если к обитателям отдаленных окраин — чучмекам — Аниканов Димитрий относился с безразличностью истинного великоросса, то евреи представлялись ему племенем отвратительным и вредоносным: мало того, что они распяли Христа, — они, во-вторых, в семнадцатом году разрушили и сокрушили православие, на котором испокон держалась русская земля... Сам Димитрий в Бога, правда, не веровал, но обвинять евреев в сокрушении православия ему почему-то было приятно.

Простой и откровенный парень был Аниканов Димитрий. Джеты-Су он незыблемо считал своей родиной, а потому, будучи по крови и происхождению русским человеком, без раздумья и сомнения присоединял и сам Джеты-Су, и окрестности его к России. Чучмеки, таким образом, оказывались здесь, в российском Джеты-Су, посторонними людьми, непрошеными гостями. Казахи, несмотря на их малочисленность в Джеты-Су, вызывали в Аниканове большую безразличность, чем другие чучмеки — греки, скажем, или турки: ценитель чистоты и гигиены, он никак не мог простить казахам их дале-

ко не гигиенический быт. Нежелание же казахов сидеть на стульях Аниканов Дмитрий считал тупым упрямством и скрытым вызовом русскому человеку, истинному хозяину Джеты-Су.

Чеченов из общей чучмекской массы он особо не выделял и не боялся их, поскольку отличался физической силой и своего рода мужеством.

Калу не любил Аниканова, как не любил он всякого русского человека. Помимо того Калу раздражала аникановская самоуверенность и, главное, то, что питало эту самоуверенность: ширина плеч, толщина шеи. Они были одного роста, Калу и Дмитрий; но кряжистый Дмитрий словно бы трудно вырастал из земли, а жилистый, сухощавый Калу, казалось, реял и летел над нею.

Итак, мишени были установлены в пятидесяти метрах от рубежа огня — напечатанные на квадратных листах бумаги круги, белые по периферии, сплошь черные в центре, с указанием очков. Листы эти были приколоты к трем вертикально врытым в землю доскам — по числу приготовленных к стрельбе винтовок.

— Каждому выдается по восемь патронов, — объявил Петух. — Три на пристрелку, пять на упражнение. Кто первый?

Симон поднял руку. Получив патроны, он вместе с двумя парнями вышел на рубеж и опустился на колено.

— Можно лежа, — сказал Петух. — Лежа верней будет.

— Ничего, — сказал Симон. — Я с колена привык.

Выпустив три пристрелочных патрона, он осмотрел мишень и прикинул поправку. Потом, вернувшись на рубеж, он методично, без видимого напряжения послал один за другим пять патронов в свежую мишень и стал дожидаться соседей — они старательно шурились и шумно дышали перед каждым выстрелом. Наконец отстрелялись и они, и мишени были принесены Петуху для выяснения оценок.

— Сорок семь! — не поверил своим глазам Петух, изучив Симонову мишень. — Сорок семь очков выбил! Ну, москвич!

Ребята притихли, подавленные результатом.

— Я занимался в тире, — объяснил Симон, — стрелял из МК. Так что ничего тут нет такого... У нас один мастер был — меньше сорока девяти вообще не выбивал с пяти патронов.

Такие Симоновы объяснения несколько успокоили соискателей спортивно-стрелковой славы, особенно тех двоих, что стреляли вместе с ним.

— Ну, тогда ясно, — сказал грек Иваниди, выбивший тридцать два очка. — У него ж разряд!

Калу был доволен, словно бы сам выбил сорок семь из пятидесяти. Он рассчитывал на такой же примерно результат: сорок пять — сорок шесть. Лучше него никто не стрелял во всем классе, и слава хорошего стрелка была его неоспоримой привилегией. Назначенный в четвертую тройку, Калу не спеша выбрал себе винтовку, пристрелял ее с колена, а оценочную стрельбу вел с положения "лежа", фиксируя ствол на мешочке с песком. Он выбил сорок пять очков и, легонько похлопав винтовку по ложу, как лошадь по шее после скачки, отошел к Симону.

— Перестарался, — сказал Калу. — Аж в глазах рябит.

— Чем меньше стараешься, тем лучше бывает результат, — сказал Симон, рассматривая мишень Калу. — С боксом у меня ничего не вышло, поэтому я пошел в стрелковую секцию. Мы ж нацмены, нам надо уметь стрелять!

Калу одобрительно хмыкнул, потом улыбнулся, приоткрыв изящно выточенные — один к одному — чисто-белые зубы. Его улыбка не вязалась с мрачной настороженностью, словно бы навсегда угнездившейся в глубоких глазных впадинах, освещенных темным прозрачным светом глаз.

Аниканов Димитрий стрелял в следующей тройке. Поплевав в ладони, он взял винтовку, сказал

”а-ну, была-не-была, тятерь-ятерь!” — лег и, поерзав, отыскал удобное положение. Стрелял он не спеша, низко надвинув кепку на круглую шишकाстую голову. Иваниди побежал за мишенями. Возвращаясь, он кричал уже с полдороги:

— Сорок шесть! Аниканов сорок шесть выбил!

Калу дернулся, словно бы в него попала и отбросила его в сторону пуля. Яростно, бешено глядел он на подбегающего Иваниди. А грек, добежав до Аниканова, протянул ему мишень, и тот, вытянув вверх руку с простреленным листом, крикнул: ”Аниканов Димитрий, Россия!” И, с насмешливым вызовом, коротко покосился на Калу.

Калу быстро подошел, вырвал мишень:

— Дай-ка! Как считали-то? Это что — десятка? А это? Сам ты, что ли, считал?

— Ну, сам! — подтвердил Аниканов. — А что, мало насчитал?

— Смотри, досчитаешься! — пригрозил Калу.

— А что, брательника своего на меня натравишь? — громко, словно бы приглашая окружающих в свидетели спора, осведомился Аниканов.

Но подошел Петух, забытый всеми, и принял захватанную мишень для изучения.

— Сорок шесть, — сказал Петух, изучив мишень всесторонне. Потом, поглядев на Калу и изучив бумажку еще немного, добавил: — Ну, может, сорок пять...

— Ладно, сказал Калу. — Пускай будет сорок шесть... Сейчас они кончат, — он кивнул в сторону ожидающихся своей очереди пострелять школьников, — а мы снова начнем. Согласен?

— А патроны? — слегка обеспокоился Аниканов. — У меня патронов нет.

— Патроны найдем, — сказал Калу. — Патроны — мое дело.

Он подошел к Петуху, сказал негромко, требуя — не прося:

— Дай патроны.

Петух незаметно сунул ему в руку початую пачку.

— Смотри, не балуй! — шепнул Петух. — Я сейчас ухожу, мне своих делов хватает.

Калу не ответил, отошел к Симону. Тотчас к ним подошли еще трое чеченцев-одноклассников — Дени, Муса и Джабраил. Все четверо заговорили по-чеченски, то и дело поглядывая в сторону Аниканова. Аниканов смеялся несколько неестественно громко, разговаривая с обступившими его русскими и греками. Пятеро учеников-корейцев тесно стояли чуть в стороне, обсуждая, очевидно, сложившуюся ситуацию на своем родном языке.

— Дружба народов! — усмехнулся Калу, прерывая чеченцев и обращаясь к Симону. — Я ему сейчас покажу дружбу народов...

Петух собрал мишени в классный журнал и собрался уходить.

— Догоняйте! — сказал Петух, ни к кому в отдельности не обращаясь. — Я пошел.

Тогда Аниканов потянулся к Петуху, спросил потерянно:

— Как, вы уходите? А мы тут еще хотим пострелять... Вы разве не будете смотреть?

Аниканов просил, умолял своего, русского Петуха: "Не уходи — ты же свой, русский. Я не знаю, что тут придумали эти проклятые чучмеки, — но не уходи!" Он не говорил этого вслух, Аниканов, он просто повторял: "Как, разве вы не будете смотреть?" — и ловил взгляд Петуха своими кричащими глазами. А Петух смотрел в сторону и вниз, не смотрел на Аниканова Димитрия, своего.

— Педсовет у меня, — буркнул Петух, проходя мимо Аниканова. — Спешу. Догоняйте!

Аниканов глядел вслед, в спину уходящему Петуху. Глаза его больше не кричали.

"Прав жиденок, — размышлял Петух, шагая по полю. — Человек — ноль. Сейчас Аниканову морду будут чистить, а мне-то что? А заступись я за него — мне самому чечены ночью голову оторвут... Нет уж,

пускай кто другой за него заступает! Он бы за меня тоже в драку не полез”.

— Держи! — сказал между тем Калу и протянул Аниканову пять патронов. — Себе тоже беру пять, а остальные кладу вот сюда, — и он положил коробочку с остатком патронов на землю. Потом, взяв чистые мишени, пошел прикреплять их к столбам.

— Ты бей в молоко, — посоветовал Аниканову грек Иваниди. — А то плохо тебе будет.

— Беги воруй, — сказал на это Аниканов. — Тебя я забыл спросить...

Они улеглись на землю рядышком, Калу и Аниканов, и, тщательно прицелившись, выстрелили по первому разу. Русские, естественно, “болели” за своего, чеченцы — за Калу. Греки самозванно взяли на себя судейские функции и суетились. Пятерка же корейцев, отойдя еще дальше и сплотившись еще теснее, никак не проявляла своих чувств, хотя — Симон был в этом уверен — все они презирали и ненавидели беспардонного русского куда сильнее, чем порохового гордеца-чеченца.

Подойдя поближе, Симон смотрел, как Калу стреляет. Он стрелял на выдохе, задерживая дыхание. На третьем выстреле дыхание было сорвано, ствол слепо, рывками передвигался, нащупывая центр мишени. Симон знал — срыв дыхания на третьем из пяти выстрелов не сулит победы.

Сбившись в группы, ученики перешептывались — каждый на своем языке, каждый со своим — как будто громко звучащий голос мог помешать стрелявшим и отвлечь их от дела. Тишина, висевшая колпаком над этим клочком поля, разрушалась отрывистыми ударами выстрелов и далеко убегающим эхом. Когда были выпущены последние патроны и Иваниди прибежал с мишенями, все — кроме пятерки корейцев — сбились в кучу, считая очки.

Аниканов выбил сорок шесть, Калу — сорок четыре.

Подсчитав, молча отхлынули, оставив стрелявших друг против друга.

— Ну, что, выкусил? — спросил Аниканов с вызовом. Он, действительно, был безоглядно рад новой победе и над последствиями ее не задумывался.

Калу мельком взглянул на мишени и, скомкав, швырнул их на землю.

— Может, еще хочешь? — насмешливо предложил Аниканов. — А то давай, мне стрелять-то нравится!

— Да, — прохрипел Калу. — Давай еще...

Иваниди побежал прикреплять новые мишени. Подойдя к чеченам, Симон подергал Калу за рукав.

— Что? — спросил Калу, оборачиваясь к Симону.

— У тебя сейчас ничего не выйдет, — сказал Симон. — Будешь стрелять?

— Не выйдет — тем хуже для него, — Калу мотнул головой в сторону Аниканова. — На кинжалах выйдет...

Теперь Калу стрелял небрежно, почти не целясь. Чечены громко переговаривались за его спиной, посмеивались возбужденно. Отстрелявшись, он бросил винтовку, не проявляя видимого интереса к результату стрельбы. Аниканов же ждал с азартом.

— Ну, как? — крикнул он Иваниди, подбегающему с мишенями.

— У тебя больше! — объявил грек, протягивая мишени.

Калу стоял в стороне, холодно глядел на торжество Аниканова. Корейцы по-прежнему толпились в стороне, не подходили. Потом они все вместе, плотной кучкой, двинулись долой с поля. Они не желали принимать участия в аникановском торжестве и уходили не оглядываясь.

Тогда, сияя, Аниканов подошел к Калу. Он считал, что Калу должен был подойти к нему, но, поскольку тот не двигался с места, явился сам с доказательством своей победы — мишенями. Аниканов хотел получить причитающуюся ему славу из рук побежденного чучмека, и получить немедля, пока не разошлись зрители. Он, Аниканов, был человеком хоть и начинающим, но обстоятельным, и расплату сполна полагал делом

непреложным, причем меру расплаты назначал единолично.

— Чего скис-то? — громко сказал Аниканов, подойдя к Калу. — И чтоб больше не выступал! А то тоже: мы стреляем... Мало вас с гор-то согнали!

Калу подался было всем телом вперед, правая рука его скользнула в карман брюк — но чечены схватили сзади, заговорили хором, убеждающе.

— Ладно, — сказал Калу выпрямляясь и не оглядываясь на чеченцев. — Пожалеешь ты, Аниканов.

И, повернувшись, широко зашагал к поселку. Чеченцы пошли за ним следом.

— Грозиться все вы умеете, — сказал Аниканов вслед уходящим чеченам. — А против нас кто устоит?... Эх вы, черножопые!

Симон не стал догонять Калу — тот шел быстро, словно летел, впереди чеченов, а чечены вились за его спиной как бурка. Пятерка корейцев также видна была на поле; теперь, отойдя от места спора, они держались не так плотно, но все же достаточно кучно. Они двигались молча, не обсуждая происшествие, и ход их по земле был размеренным и направленным. Двинулся к поселку и Аниканов со своими русскими, а греки, прихватив винтовки, держались с ними рядом. Если бы выиграл чеченец, они, несомненно, были бы сейчас с ним.

Симон шел один, шел не спеша, глядя под ноги и не различая бездорожья. Время от времени он останавливался и оставался недолгое время стоять, а потом шел дальше, отклоняясь от прямого направления... Теперь я, кажется, понимаю, вспоминал Симон, почему я не стал заниматься боксом. Того парня, который по всем правилам разбил мне нос, я мечтал убить: задушить, зарезать, застрелить — все равно как. Ну, конечно, тогда я и пошел в стрелковую секцию! Не нравится молотить кулаками — научись стрелять. А у Калу просто сорвалось. Стоп! Как же это, как? "Смелый снайпер бьет влет огнекрылых жар-птиц". Фу ты, черт! Ну,

пошли дальше. А Аниканов этот — медленный, как улитка. Землю на нем копать, огороды городить. Аниканов, Аниканов, Аниканов. "Кетменем овощевод рубит медленных червей". Это ничего — "медленных червей". Да. Ну, поехали — чего стоять! А интересно — убил бы я сейчас того парня, который мне нос раздолбал? Вот если б его сюда поставить? Черт его знает, не знаю! Т о г д а бы убил, точно убил. Но у Калу-то по-другому, у него т о л ь к о что. Как он на него глядел, на Аниканова, елки-палки! Уперся, как луч в сосульку. Луч в сосульку. "Он потратит патрон... та-та-та... не на червя". Да стой же!

Симон остановился и с осторожностью, словно бы боясь рассыпать собранные слова, потянулся за карандашом и бумагой. Достав, записал:

Смелый снайпер бьет влет
Огнекрылых жар-птиц.
Кетменем овощевод
Рубит медленных червей.

Так определил Бог:
Не мешать огонь со льдом...
Не потратит стрелок
Ни патрона на червя.

Перечитав написанное, Симон сунул бумагу в карман и, прикинув направление, напрямик зашагал через поле. Он ни о чем не думал, словно бы спал без снов на ходу. Только подойдя к окраине поселка, вернулся он к Аниканову и к Калу. Теперь Аниканов представлялся ему умершим человеком — но это ничуть не трогало и не удивляло Симона. Проходя по улице Амангельды, он тщательно пытался вспомнить, как называются стихи, написанные по случаю человеческой смерти. Он был уверен, что придумал свои стихи вовремя, и был праздничен, как всегда после стихов.

У ворот дома Утюговых стоял виллис Сан Саныча.

Сан Саныч заглядывал к Ашкенази как только выдавался у него свободный часок — по меньшей мере два-три раза в неделю. В другие дни у него, правда, тоже выкраивались — и без особого на то труда — свободные часы, но их он употреблял на питье водки со своими работягами. На следующий день после водки Сан Саныч приезжал к Ашкенази с коньяком — посидеть, поболтать о всякой всячине, пообщаться после разноплеменных работяг с джеты-суйскими евреями. Он так и называл комнату Ашкенази в утюговском доме — "еврейский клуб".

В еврейский клуб с водкой Сан Саныч не приезжал никогда.

Войдя в комнату, Симон застал там помимо Сан Саныча старуху Гиту. Она заглядывала к Ашкенази от случая к случаю — общение с близкими людьми, по ее словам, способствовало повышению у нее кровяного давления.

— Здравствуйте, тетя Гита, — поздоровался Симон с теткой. — Как вы себя чувствуете?

— Я себя не чувствую, — категорически заявила Гита. — Нет, нет, нет!

Симон пожал плечами и подошел к Сан Санычу — пожать руку. Поднимаясь навстречу Симону, Сан Саныч усмехнулся — он никак не мог привыкнуть к неожиданным заявлениям Гиты.

— Что в школе? — спросила Мира, не оставляя вязанья.

— А что там? — вопросом на вопрос ответил Симон. — Нормально!

— Возьми поесть, сынок, — сказала Мира. — В передней суп и картошка.

— Так вот, — продолжала Гита ранее начатый разговор, прерванный, очевидно, приходом Симона. — Мои чечены не дают мне столик — и почему? Они его вынесли на улицу, и он стоит себе и мочится на дождь... Чудаки!

Гита снимала у чеченов крохотную комнатку с деревянным полом, с мелким переплетчатым оконцем

над самой землей. Чечены пустили ее на постой после того, как Симон попросил об этом Калу, — и теперь Симон злился, что попросил: Гита при случае, хоть и беззлобно, но поносила чеченов и называла их непонятным словом "пацеры". Чечены, надо отдать им должное, близко к сердцу Гитиных речей не принимали, считая ее не без оснований старухой тронутой и слегка помешавшейся в уме. Разговоры домохозяев с постоялицей сводились в основном к коричневому каракулевому воротнику, который, наряду с часами в деревянном футляре, служил выдающимся украшением Гитино имущества. Многословно расхваливая воротник, чечены шутили лишь отчасти — коричневый каракуль был редок и ценился особо, — и Гита, опасаясь кражи, носила свое сокровище при себе круглый год: зимой на пальто, а летом в дырчатой авоське. И сейчас, сидя за столом у Ашкенази, она по привычке держала авоську с воротником на коленях.

— А зачем вам столик? — участливо поинтересовался Сан Саныч.

— А зачем чеченам столик, если они его вынесли на дождь? — парировала Гита. — Я поставлю на него свои часы.

— Они же не идут, тетя Гита, — вставил Женя, любивший поддержать необременительный разговор.

— Так они пойдут! — с большой уверенностью заявила Гита.

— С чего это они пойдут, если они уже сто лет как не ходят, — вкрадчиво возразил Женя и заговорщицки улыбнулся Сан Санычу, не скрывавшему интереса к разговору.

— Я их починю, если у меня будет стол, — объяснила Гита. — Да, я их отремонтирую.

— А мастер? — в упор спросил Ефим, не одобрявший, в отличие от Жени, пустых разговоров. — Где вы здесь возьмете часовщика?

— Что? — спросила Гита с вызовом.

— Не спорьте, мальчики! — попросила Мира. — Давайте о чем-нибудь другом поговорим, честное слово...

— О чем вы хотите говорить? — не отступила Гита. — Интересные люди... — и она, наклонив голову набок, высоко и остро пожала плечами.

Симон слушал разговор небрежно, в силу громкости произносимых звуков. Он давным-давно знал наизусть все Гитины штучки, а сейчас ему и подавно не хотелось обращать на них внимание: его тянуло прочь из дома, на улицу, в железнодорожный парк, где, как он предполагал, решалась судьба Димитрия Аниканова и Калу. Проглотив обед, он собрался было под каким-либо предлогом выйти вон, но несколько слов Сан Саныча задержали его.

— Габидулин говорил, — сказал Сан Саныч, — что всех ссыльных уберут отсюда в течение года.

— Куда нас уберут? — встревожилась Гита. — Здесь не так плохо...

Гита была права — могло быть куда хуже. Все всматривались в Сан Саныча, ожидая продолжения.

— По старой английской дороге будут прокладывать шоссе, — продолжал Сан Саныч. — На развалины пикетов уже забросили кое-какое оборудование и солдат.

Старая английская дорога вела на Карсакпай, к заброшенным рудникам, откуда англичане брали руду еще при царе Горохе, а может и раньше. Дорога вот уже много лет как пришла в полную негодность, а пикеты, предназначенные для охраны караванов с рудой, обрушились.

— Что там — золото нашли? — спросил Симон не без интереса.

— Говорят, ракетодром будут там строить, за Карсакпаем, — сказал Сан Саныч.

— Как вы сказали? — спросила Гита. — И кому это нужно?

Ей никто не ответил, и она замолчала, настороженно убрав большую голову в плечи.

— Затевают, словом, огромное строительство, — сообщил Сан Саныч. — Меня вчера с английской дороги, с третьего пикета, завернули без всяких разгово-

ров... И название новое придумали вместо Карсакая, — закончил он, — Бойконур.

— Что от этого, как говорится, будет евреям? — помолчав, спросил Ефим.

— Нас переселят на луну, — пошутил Женя, но никто не улыбнулся этой его шутке.

— Габидулин сказал — уберут отсюда всех ссыльных, — повторил Сан Саныч. — Я к ноябрю закончу — дай Бог вместе нам уехать.

— Давайте рассчитывать на худшее, — заметил Ефим. — Как бы в Сибирь не загнали...

— Врачей все-таки реабилитировали, — сказала Мира, укоризненно взглянув на старшего сына. — Если рассчитывать на худшее, то лучше всем нам сразу повестись...

— Успеем, — сказал Ефим. — Это мы еще успеем.

Разговор входил в илистое русло, ненавистное Симону. В глубине души он считал тяжким грехом попусту растрачивать слова в ничемных разговорах. Прихватив кепку, он пересел поближе к двери и словно бы без дела приоткрыл ее.

— Ты куда, сынок? — тревожно спросила Мира. — Поздно!

— Скоро приду, — пообещал Симон, выходя.

— Будь осторожен! — сказала Мира, но дверь за Синомом уже закрылась.

Железнодорожный парк — те же тугаи, только слегка подстриженные, да десятка полтора карагачей. Много видел железнодорожный парк на своем веку, и когда уберут ссыльных из Джеты-Су — видеть ему, не перевидеть. И кровь видел парк, и любовь, и грабеж среди бела дня.

Одна-единственная электрическая лампочка болталась на ветру в центре парка, на высоком столбе — остальные перегорели либо были разбиты шутки ради. Несколько чеченских подростков покуривали, стоя в независимых позах в самом начале дорожки, ведущей в глубь парка, в темноту тугаев. Узнав Симона, чечены

кивнули ему. Он сел на лавку и спросил, словно бы между прочим:

— Калу нет?

— Нет, — после короткой заминки сказал ближний к нему чечен. — Чего ему здесь делать? Он дома сидит.

Симон прождал довольно долго. Чечены, верно, забыли о нем — еле слышно переговариваясь, они нервно прислушивались к тишине.

Хруст подминаемого тростника предшествовал короткому крику, перешедшему в хрип. Чеченов как бурей сдуло — только отрывистый топот легких ног прощелестел по дорожке. Когда он утих, в тугаях не слышно было ни звука.

Симон поднялся со скамейки, сделал несколько шагов к выходу, а потом передумал и, свернув в сторону, побежал крадучись к невысокому парковому забору.

2. ГРАБЕЖ

Назавтра Симон сидел за партой один – Калу, по словам Дени, еще вчера уехал в подхоз выкапывать картошку на зиму. Аникановское место также пустовало, но никто не спрашивал у другого, отчего не явился Аниканов на школьные занятия и куда он девался. Ученики восьмого класса не обсуждали и результаты вчерашней стрельбы, словно бы и не было ее вовсе. Класс то подавленно молчал, то вдруг вспыхивал возбужденной болтовней, и педагоги не могли разгадать, что же это случилось сегодня с их учениками. Впрочем, они особо и не стремились к разгадке, – просто странное поведение восьмого класса служило поводом к несколько нервным шуткам в учительской, в перерывах между уроками. Педагогу, отправляющемуся в восьмой класс, шутники предсказывали ближайшее будущее: выстрелят в него из рогатки, или плюнут, или подпилят ножки стула... Шутки встречались неискренним смехом и, войдя в восьмой класс, очередной преподаватель опасно косился на учеников, был скован и держался поближе к двери. Ученики же, всегда безошибочно распознавав-

шие настроение учителя и использовавшие его по мере сил и в силу изобретательности, на сей раз не принимали ничего.

Более других шутил в учительской Петух, физкультурник. Он не пользовался любовью коллег — но, испытывая к Петуху подсознательный страх интеллигента к блатному, они не высказывали прямо и своей нелюбви. Они улыбались на низкопробные Петуховы шутки и приговорки — и, дослушав до конца, поскорей отходили в сторону. Но до конца дослушивали не перебивая. Петух как был барачным шестеркой, так им и остался, сменив по воле судьбы лагерный барак и требовательных урок на школьную учительскую и пугливых учителей. Он отводил душу по вечерам, заходя с бутылкой водки к школьному сторожу Азизу, хоть и подслеповатому по причине преклонного возраста, но не проносившему покамест стакан мимо рта. Азиз, подготовленный к Петуховым заходам, всегда имел при себе огородную закуску: репчатый лучок, редечку, а иногда и соленый огурчик. Ему было глубоко безразлично, какие слова адресовал ему Петух, превозносил ли он самого себя или крыл его, Азиза, ругал ли учителей матом или только вполмата. Когда очередь доходила до директора школы, Азиз неизменно начинал хрипло и противно кашлять, делая вид, что ничего не слышит из-за своего внезапного недуга. Школьный сторож справедливо полагал, что полученный товар требует оплаты, и за выделяемую ему Петухом долю водки готов был выслушивать все что угодно.

Накануне вечером, явившись домой со стрельбищного поля, Петух к Азизу не пошел. Открыв замусоленный уголовно-процессуальный кодекс, который он и без того знал почти что наизусть, Петух, шевеля губами, внимательнейшим образом проштудировал все, что имело касательство к соучастию в убийстве или в нанесении тяжких телесных повреждений. "Только бы не из винтовки!", — озабоченно прошептал он, закрывая УПК и возвращая его на почетное место —

на вырезанную из фанеры и украшенную выжиганием полочку, висящую на стене под цветным, из журнала "Огонек", портретом Сталина. Помимо УПК, на полочке находилась еще одна книжка, не в лучшем состоянии: "Бедная Лиза" Карамзина.

Являсь утром на службу и узнав, что все три малокалиберные винтовки были доставлены вовремя, Петух вздохнул облегченно: чечен, следовательно, не стрелял в своего противника из поднадзорного ему, Петуху, оружия, и он, Петух, не может быть, таким образом, примазан к весьма возможному делу об убийстве или нанесении тяжких телесных.

После этого открытия он обрел спокойствие духа и развеселился.

— Чего это они там задумали в восьмом, сопляки? — шутил он в учительской. — Крысу живую выпустят или что хуже... Бандиты, приговора на них нет!

Петуха выслушивали, улыбались и отходили в сторонку.

— А однажды мне, дорогие товарищи, — врал Петух для развлечения пугливых коллег, — в этом самом восьмом на стол кулек с этим... ну, как бы объяснить... сами понимаете... значит, с дерьмом кулек подкинули.

Выяснив, что ни Калу, ни Аниканов в школу не пришли, Петух отпустил шестиклассников играть в футбол, а сам, являсь к Азизу, направил его в ближайший магазин за водкой. Дорогу в магазин подслеповатый сторож знал наизусть. По возвращении Азиза приятели закрылись в угольном чулане, где сторож хранил овощные припасы. Петух понимал, что слух о вчерашних событиях вот-вот докатится до школы, и не желал присутствовать при первой реакции коллектива. Пить водку куда приятней, спору нет.

Слух, однако, задержался где-то в пути. Едва дождавшись конца занятий, Симон побежал домой. Он хотел было заскочить по дороге к Вене, но передумал: Веня все равно ничего не знает. Теперь, спус-

тя ночь и полдня, Симон испытывал скорее физическую, чем нравственную необходимость узнать немедленно, чем кончился вчерашний вечер для тех двоих.

— Какой ужас! — встретила его Мира. — Ты уже знаешь, что случилось?

Симон отрицательно мотнул головой.

— Вчера в парке убили мальчика из вашей школы.

— Кого? — тихо спросил Симон, глядя в пол. — Русского, чечена?

— Русского мальчика, — сказала Мира. — Какое счастье, что ты вчера вечером не ходил в этот проклятый парк!

— А кто тебе сказал? — спросил Симон, не поднимая глаз на мать.

— Весь Джеты-Су об этом говорит! — сказала Мира. — Это, конечно, путьремовцы — там ведь половина амнистированных уголовников.

— Поймали кого-нибудь? — спросил Симон как бы невзначай.

— Нет как-будто, — сказала Мира. — Разве их поймалешь?

— Называли фамилию, — поживаясь, сказала Мира. — Аникин, Аникеев... Подумать страшно!

— Аникин... — повторил Симон. — Что-то не помню... А как его... убили?

— Какое это имеет значение! — сказала Мира. — Ножом, кажется. Но как ты можешь спрашивать?! Ты только подумай, сынок, — если бы в Москве убили твоего товарища по школе!

— А зачем? — глядя на мать, коротко спросил Симон.

— Что значит зачем?

— Зачем мне об этом думать, мама? Если б в Москве убили — тогда бы я и думал. Мы ведь в Джеты-Су!

— Как ты изменился, сыночек! — присаживаясь к столу, тихонько сказала Мира. — Года ведь еще нет, как мы уехали, а тебя совсем не узнать... — и добавила еле слышно: — Кто за все это будет отвечать?

— О чем ты, мама? — так же тихо откликнулся

Симон. — Я столько людей перехоронил — ну, еще один! Не думай об этом, пожалуйста: мне ничего, я уже привык.

— Привык... — сказала Мира. — Разве можно привыкнуть к этому в пятнадцать лет?

— Можно, — подтвердил Симон. — Допустим, я живу как в северных лагерях: день за два... Посесть бы чего-нибудь, а?

— Я приготовила фальшивое жаркое, — вздохнув сказала Мира. — Может, подождень немного? Фима и Женя сейчас придут обедать.

— Ладно, — сказал Симон. — Конечно, подожду. Я пока пойду уроки поделаю.

Ему хотелось остаться одному. Взяв книжки и тетради, он вышел во двор и, как за стол, сел за столярный верстак Сергея Васильевича.

...Итак, Аниканов. Сказали ж тебе, чтоб стрелял в "молоко". Ай-яй-яй, Аниканов! Надо, оказывается, иногда стрелять в "молоко". А теперь поволокут тебя на кладбище, и кореец Ли будет играть на кларнете. Хорошо все-таки, что я бросил эту музыкальную команду. Да нет, не потому, что играл бы хуже — я и так, между нами говоря, плохо играл и такты путал. Просто на поминках аникановских жрать и пить было бы противно. Весь класс, наверно, пойдет его хоронить. А я не пойду. Нет, пойду. Нет, не пойду! А Калу, интересно, пойдет? Тоже не пойдет, наверно. А Петух, гад, пойдет наверняка. И на поминки попрется, тосты будет говорить: "Наш незабвенный друг, он погиб от руки уголовного бандита. Спи спокойно, дорогой товарищ!" Попробуй он заикнись про эту стрельбу — чечены ему сразу голову откусят... Но Аниканов-то, черт возьми! "Мало, говорит, вас с гор согнали...". За такие слова Калу бы десять Аникановых зарезал. А если б кореец ему сказал или грек? Все равно бы зарезал. Только грек и кореец на чеченца бы рта не открыли. Но Калу-то, Калу! Ему все равно, кто сказал, — только Аниканов ему противней в тыщу раз, чем какой-нибудь Цой

Роман или там Иваниди. А я, интересно, убил бы, если б мне сказали: "Мало вас, жидов, из вашего Израиля..." Убил бы, на куски изрезал Венькиной финкой! Все равно кого: русского, грека, даже чечена...

Достав из внутреннего кармана куртки финку, Симон опробовал отточенное до бритвенной остроты лезвие на ногте. Потом, вернув нож на место, открыл наугад "Иудейскую войну" Фейхтвангера, спрятанную между учебниками. Он читал об актере Диметрии Либании и раздраженно ухмылялся: актерские терзания казались ему вымученными, яйца выеденного не стоящими.

...Играть, не играть? А кто его, собственно говоря, держит в Риме, этого Либания? Ехал бы домой – виза ему, надо думать, не требовалась, и в Джеты-Су его тоже никто не загонял... Вот из-за таких, как Либаний, мы все сейчас тут пропадаем: один в Риме отсиживался, другой еще где. А настоящие люди, настоящие евреи не играли в войну, а воевали. Все это одна компания – Флавий, Либаний, Регин. Ювелир – тот хоть дурака не валял, не притворялся, а просто деньги заколачивал. А если б на еврейские дела у него спросили – дал бы золота сколько надо, и спасибо на том: все же еврей, хоть не орет об этом на всех перекрестках, как актер припадочный. Терзания души! Купил бы меч, и на последние деньги на корабль и в римскую провинцию Иудею – и никаких терзаний, все бы на свои места стало. Только ведь там, в Иудее, орать не придется на перекрестках о своем еврейском происхождении – а без этого ора всяким таким Либаниям жить на свете пресно. Вот и сидят они по сю пору по разным странам, орут себе – а культурные, порядочные люди их и жалеют: "Бедные-разнесчастные евреи, они такие тонкие, такие раемые! У них столько проблем!.." Вырваться, добраться до своих, до своей земли – вот проблема...

Перечеркнув таким образом Диметрия Либания, Симон собрался было заглянуть в учебник по алгебре – но пришли на перерыв Ефим и Женя, и чувство голода

отодвинуло и Регина, и алгебру, и даже Калу с Аникановым. С уходом из похоронного оркестра Симон разом лишился и заработка, и простой, но обильной поминальной еды. А есть ему хотелось по-прежнему.

— Ты уже слышал? — спросил Женя, входя во двор.

— Слышал, — сказал Симон. — Неприятная история.

— Кошмар какой-то! — Женя снял очки и протер толстые стекла краешком чистого носового платка. Без очков, глядя в невидимую другими людьми точку, он казался несчастным и неприкаянным человеком.

— Одноклассник твой? — озабоченно справился Ефим. — Из восьмого класса поселковой школы. Аниканов.

— Да, Аниканов, — сказал Симон.

— Но за что его? — спросил Женя, надевший очки и не такой уж теперь неприкаянный. Впрочем, лицо его продолжало выражать скорбь.

— Откуда я знаю, — сказал Симон. — А ты, что, знаком с ним был, что ли?

— Нет, — сказал Женя. — Но это же просто кошмар: среди бела дня...

— Ночью, к слову сказать, — поправил Ефим. — Да и какое это имеет значение... А ты, — он подошел к брату, — с ним не дружил?

— Нет, — сказал Симон. — Он меня жидом не звал только потому, что я с чеченами дружу.

— Хорошему гою — хорошая смерть, — помолчав, сказал Ефим с интонациями тети Гиты, — а плохому гою — плохая смерть... Наша тетя Гита иногда изрекает истины неоспоримые.

— Это, конечно, верно, — согласился Женя, уступчивый человек. — Но ведь так и нас могут зарезать...

— Могут, — сказал Ефим. — Плохому еврею — плохая смерть. Но в Джеты-Су евреев по пальцам можно перечесть не разуваясь, и все они вроде неплохие люди... Ты, значит, не подавлен? — опустил он руку на Симоново плечо.

— Не очень, — покосился на брата Симон. — А чего это ты вдруг?

— Ну, видишь ли... Ефим снял руку с плеча Симона и, сблизив ладони, свел пальцы рук. — В твоём возрасте, как мне кажется, люди болезненно реагируют на такие дела. Я бы, во всяком случае, реагировал болезненно. Вот я и хотел тебя успокоить, но ты, я вижу, и так держишься молодцом.

— Мать звала есть, — сказал Симон. — Может, пойдём?

Рахиль Львовна, защитница, забежала к ним, как всегда по дороге, "на минутку". Никто не знал, сколько лет Рахили Львовне — только она сама знала. Судя по её лицу, можно было предположить — восемьдесят. Судя по неугомонности и по самому пребыванию вольного члена коллегии адвокатов в ссылочном крае-светном поселке — ну, от силы шестьдесят. Был у неё муж, о котором она вспоминала крайне редко и без сантимента. Вялый этот, по обрывочным рассказам жены, человек проживал в пригороде Одессы на пенсионном покое. Был у него там малый домик, приобретенный на деньги, заработанные Рахилью Львовной в Джеты-Су, откуда она не выезжала вот уже много лет даже в отпуск и где вела дела крайне сомнительные с точки зрения морали и адвокатской принципиальности. Впрочем, может быть, и не было у неё никакого мужа на окраине Одессы, а придумала она его от джеты-суйского одиночества и от нечего делать в перерывах между защитой уголовников. Свободного времени, впрочем, выкраивалось у неё мало — Рахиль Львовна была единственным адвокатом на всю округу, населенную народом бедовым, и на отсутствие работы не жаловалась. Весьма возможно, что муж её в её рассказах выглядел таким бесцветным человеком именно потому, что некогда было защитнице ни вспоминать, ни, тем более, фантазировать со вкусом. Текущие дела занимали её мысли и удивительные судебные процессы, которые, по её словам, она выигрывала в суде. Обладавшая привлекательным цинизмом, столь свойственным адвокатам и патологоанатомам, Рахиль

Львовна знакомила приятельски общавшихся с нею людей с почти неправдоподобными байками из своей адвокатской практики, и Ашкенази, далекие от уголовной жизни, слушали ее жадно.

— Я на минутку, детки, всего на одну минутку, — сказала Рахиль Львовна, присаживаясь за стол против обедающих братьев. — Нет-нет, есть я не хочу, а вот от стаканчика чаю не откажусь. Спасибо, Мирочка, моя дорогая, вы же знаете, я люблю покрепче!

— Вы, конечно, слышали, Рахиль Львовна, — сказала Мира, налив гостье чаю, — об этом страшном случае в парке!

— Ну, конечно! — сказала Рахиль Львовна. — У вас, кажется, есть лимонная кислота? Дайте мне, пожалуйста, крупинку — я брошу в чай... Вы говорите об этом убийстве мальчика? Заурядное дело, совершенно неинтересное!

— Почему неинтересное? — искренне удивился Симон.

— Это мои дорогие путьремовцы! — заявила Рахиль Львовна. — Это их почерк, это их работа. Вчера они получили получку, купили водку... Ну, что ты здесь находишь интересного? — и она вопросительно поглядела на Симона.

— Просто я думал... — промямлил Симон.

— Нет, мой дорогой Симон, это абсолютно неинтересный случай... На днях я выступаю в процессе о членовредительстве и злоупотреблении служебным положением — это другой разговор! Представьте себе, что мой дорогой подсудимый, невозможный ревнивец, собственными руками...

Тут Рахиль Львовна умолкла, потому что Мира из-за спины своего младшего сына посылала ей красноречивые сигналы.

— Ах, да! — разобравшись в Мириной сигнализации, воскликнула Рахиль Львовна. — Ну, конечно! Как это я сама не догадалась... — и она виновато взглянула сначала на Миру, а потом на Симона. — Приходите на процесс, и вы все сами увидите и услышите. Вы представ-

ляете? Мой дорогой подсудимый... Ах, да!.. Только вот я боюсь, Симону не удастся попасть в зал заседания.

— Закрытый процесс? — не без иронии поинтересовался Симон.

— Ну, что ты! — Рахиль Львовна даже замахала руками. — Дело в том, что мой дорогой подсудимый собственными руками... Ах, да!.. Одним словом, этот процесс совсем не для такого хорошего мальчика, как ты...

Муж, может, и был у Рахили Львовны в пригороде Одессы — но детей у нее не было наверняка.

— Еще чайку, Рахиличка Львовна? — предложила Мира.

— Пожалуй, не откажусь, — сказала Рахиль Львовна, немного помедлив. — Только покрепче, моя дорогая, вы же знаете...

Придвинув госте пакетик с лимонной кислотой, Мира налила чаю сыновьям и племяннику.

— А я ведь к вам, собственно, забежала по делу, — сказала Рахиль Львовна, помешивая ложечкой в стакане и принимаясь к запаху лимонной кислоты. — Помните, вы интересовались этой еврейской парой из Германии — Гольденфердами?

— Помню, — сказала Мира. — Они получили бессрочную ссылку и живут в Кзыл-Орде.

— Да-да. Так вы знаете, что с ними случилось? — и Рахиль Львовна поглядела на Ашкенази интригующе и отчасти победоносно, как будто случай с Гольденфердами, в отличие от случая с Аникановым, был куда более интересным. — Вы не знаете? Их освободили!

— Как же так... — только и смогла произнести Мира. — Они же бессрочники.

— Да-да! — сказала Рахиль Львовна. — Представьте себе: мои дорогие Гольденферды доказали, что они евреи, и они свободны.

— Ему это нетрудно было доказать, — пошутил Ефим. — Но с каких это пор евреев стали отпускать из ссылки?

— Представьте — нет! — воскликнула Рахиль Львовна. — Но я расскажу вам по порядку...

— Пожалуйста, Рахиль Львовна, — попросила Мира. — Это же безумно важно.

— Я же для этого к вам и забежала, — сказала Рахиль Львовна. — Так вот, мои дорогие, Гольденферды приехали в Москву из Германии в тридцать шестом году спастись от Гитлера. В тридцать седьмом он получил восемь лет как враг народа; а она — пять как СОЭ.

— Что такое СОЭ, Рахиль Львовна, — спросил Симон, слушавший внимательно.

— Социально-опасный элемент, — объяснила Рахиль Львовна. — Так вот, во время войны их, конечно, не отпустили, а держали в лагерях до конца сорок пятого года. Он сидел в Воркуте, она — на Колыме. Потом их спрашивают: "Кто вы?" И вы представляете, они отвечают: "Немцы!" Ну, немцы — значит, в ссылку. Его отправляют в Коми, ее — в Тобольск. Года через три они находят друг друга через Гулаг, и их переводят в Казахстан на бессрочное поселение. И, заметьте, они сидят как немцы!

— Хрен редьки не слаще, — заметил Ефим. — Не все ли равно, как сидеть?

— Нет-нет! — живо возразила Рахиль Львовна. — Со всем не все равно... В прошлом году я приезжаю в Кзыл-Орду и говорю: "Мои дорогие Гольденферды! Вы должны доказать, что вы не немцы, а евреи". "Что это нам даст, — говорят они, — кроме дополнительных неприятностей? Нас выгонят с работы!" Но я объяснила им, и они пошли в ГО МГБ. И начинается сплошной анекдот. Они уверяют, что они евреи, а им не верят: "Докажите!" Вы себе можете представить?

Ашкенази засмеялись, потому что все что угодно можно было себе представить, только не это: люди говорят, что они евреи, а им не верят. Кто же это о себе такое догадается сказать по собственной воле?

— Да, — продолжала Рахиль Львовна, — им не верят

и требуют справку. А они оба родом из Кенигсберга, там все архивы погибли во время войны.

— Ну, у Гольденферда доказательство-то было при нем, — сказал Женя. — Резники везде работают одинаково — и в Кенигсберге, и не в Кенигсберге.

— МГБ этого оказалось недостаточно, — сказала Рахиль Львовна. — Может, он с преступными целями сделал себе обрезание... Одним словом, потребовались свидетельские показания не менее чем трех человек, присутствовавших при рождении моих дорогих Гольденфердов. И они нашлись, нашлись в Лейпциге! Но они засвидетельствовали, что Гольденферды исповедуют Моисееву религию. Этого МГБ тоже оказалось недостаточно. При чем тут Моисеева религия, когда надо, чтоб было написано черным по белому "еврей"! Тогда мы пишем в Москву, в Комитет по религиям, и получаем необходимую справку. Нет, вы себе это можете представить?

— И их освободили? — спросила Мира с недоверием.

— На прошлой неделе они получили паспорта! — торжествующе воскликнула Рахиль Львовна. — Теперь вы понимаете, что значит "необыкновенный случай"?

— Да, действительно, — сказала Мира. — Но нам-то нечего доказывать: мы сидим как евреи.

На процесс по делу о членовредительстве и злоупотреблении служебным положением Симон решил пойти обязательно. Конечно, опытная Рахиль Львовна права: разве можно сравнить выдающийся эксперимент ревнивца с обыкновенным убийством, каких на белом свете происходит во множестве. Да и убитый не спросит, и с убийцы не спросишь: одна сторона отсутствует. И даже если отсутствующая сторона была твоим одноклассником, это не должно менять положения вещей. Мало ли!

И все-таки, Аниканов никак не желал уходить из Симоновой головы. Он отодвинул на задний план Калу — тупой и наглый здоровяк, теперь холодный, как всякий неодушевленный предмет в тени, с дыркой в

левом боку. Калу, конечно, не приделал его не по-честному, не такой Калу человек. Он ему сначала сказал — за что, а потом уже... Что было потом, Симон не знал, и рисуемые им ужасные картины были смазаны и все как одна незавершены из-за отсутствия опыта их автора. Хоть бы повидаться с Калу!

Симон пришел к Вене, молча опустил рядом с ним на ступеньку сторожки. Веня грелся на вечернем солнышке и помалкивал, ожидая, что скажет ему Симон.

— Вчера одного парня зарезали, из нашего класса, — сказал Симон.

— Ну? — сказал Веня без всякого интереса.

— В парке зарезали, — добавил Симон.

— Да-а... — сказал Веня. Известие о том, что парень был зарезан в парке, а не в другом каком-либо месте Джеты-Су, ничуть не повысило интерес Вени к этому делу.

— Что ж ты не спросишь — за что? — уже с оттенком упрека сказал Симон.

— А я его не знал, — объяснил Веня, поворачивая наконец голову к Симону. — Мне это неинтересно.

Они помолчали.

— Ты об э т о м сейчас думаешь? — спросил Веня, легонько толкая Симона плечом.

Тот утвердительно кивнул головой.

— И давно думаешь? — спросил Веня.

— Целый день, — сказал Симон, чувствуя на себе пристальный Венин взгляд.

— С этим надо кончать, — сказал Веня убежденно и веско. — Ты ведь все равно ничего не сможешь придумать — правильно его убили или неправильно, больно ему было или он умер сразу. Ты решил что-нибудь предпринять?

— Нет, — сказал Симон.

— Тогда, значит, ты просто топчешься на месте и ногами вытаптываешь яму для себя самого. Это трудно, — теперь Веня повернулся к Симону всем корпусом, — ногами вытоптать яму — но возможно. Ты знаешь, что бывает с теми, кто думает без толку?

— Нет, — сказал Симон.

— Они сходят с ума. Когда они уходят в свою яму по глаза, они сходят с ума.

— Что ж, думать человеку нельзя, что ли? — спросил Симон почти с яростью.

— Я сказал — думать без толку, — живо уточнил Веня. — Сейчас ты сердишься — значит, думаешь по существу

— А как же, когда мечтают? — возразил Симон. — Тогда тоже по существу думают?

— Это уже разговор другой, — усмехнулся Веня. — А ты ведь сегодня, как я понимаю, не мечтал.

— Не мечтал, — упрямо подтвердил Симон. — А как же все-таки с теми, кто мечтает?

— Одни люди водку пьют, чтобы мечтать, — сказал Веня и улыбнулся, — другие — план курят, а третьи — кто еще не разучился — мечтают просто так, вчистую. Не мечтают только больные люди, их надо лечить. Да вот лекарство такое никак не придумают — руки у людей не дотягиваются.

— Это, конечно, правильно, — согласился Симон. — Но разве мечтать — это не думать без толку? Вот скажи мне...

— Скажу, — сказал Веня негромко. — Сейчас скажу... Мечтать — это как бы уничтожать вокруг себя все то, что тебе ненавистно и отвратительно. Мечтать — это уже почти предпринимать. А думать без толку, как ты сегодня, — это уничтожать самого себя.

— Так ведь не получается не думать... — пожаловался Симон.

— Это я могу понять, — сказал Веня. — Это трудно — командовать собой, куда трудней, чем другими. Приказал: "Не думай! — и не думать. Конечно, трудно! Но когда ничего не получается с приказами, надо постараться себя обмануть.

— Но как? — требовательно спросил Симон. — Как обмануть? У мамы спросить — она не скажет,

и брат не скажет. Они же все думают, что я еще маленький ребенок...

Симон ничего не добавил к этому, но Веня понял безошибочно, что осталось недосказанным: "Ты не такой, как они, и ты должен сказать мне!"

— Каждый человек обманывает себя по собственному рецепту, — сказал Веня. — Иногда на составление этого рецепта уходит вся жизнь... Тебе, мне кажется, следует заняться чем-нибудь таким, в чем тебе препятствуют — и тогда ты не будешь думать о чем не надо... Не смотри на меня, как на прорицателя — я еще и себе-то рецепт не придумал!

Так они сидели на ступеньке крыльца и разговаривали, старик и мальчик. И мальчик смирялся и успокаивался до поры, а старик обильно предлагал ему свои неопробованные ни на ком мысли, чтобы он еще лучше успокоился. И старик на ступеньке сторожки был взволнован и счастлив оттого, что мысли его — как зерна, а мальчик — как поле, открытое для этих зерен.

— Помнишь, я говорил тебе про остров Занзибар? — вдруг спросил после нетрудного молчания Симон. — Ну, про адмирала, про казуариновые деревья...

— Помню, — сказал Веня. — Про ананасы.

— Ну да... — сказал Симон. — А здорово бы туда когда-нибудь попасть!

— Мимо ананаса не пройдем, — улыбнулся Веня. — Это я тебе гарантирую.

— Просто интересно же посмотреть! — сказал Симон. — Пальмы, негры...

— Пальмы, негры, — повторил Веня. — И путремовцев нет, и РО МГБ.

— И Зубана проклятого, — добавил Симон. — А потом, если плыть все время на юг — знаешь, куда приплывем?

— Знаю, — сказал Веня. — Ты, наверно, приплывешь туда когда-нибудь.

— А ты? — спросил Симон.

— А я — вряд ли... — сказал Веня. — Меня, друг

мой и товарищ Симон, дальше Джеты-Су никуда не пустят, вот ведь какое грустное положение... Кстати, об ананасах, мимо которых мы с тобой не пройдем — сегодня в летнем "Индийскую гробницу" показывают.

— Пошли? — обрадованно спросил Симон. — У меня на билеты есть...

— Я-то сторожу, — сказал Веня, — а ты сходи обязательно. Там и тигры, и пальмы, и чего только нет.

— Так ведь до шестнадцати лет не пускают! — протянул Симон. — С тобой бы, может, пустили...

— Это как раз то, что нужно, — утвердил Веня. — Не пускают — а ты иди. Хочешь на пальмы поглядеть — пробивайся! Там, между прочим, забор невысокий, со стороны будки можно перелезть... Ну, решил?

— Пойду, — поднялся Симон. — Чего там, черт возьми.

— Правильно, — сказал Веня. — Только ты давай бегом, а то опоздаешь.

Картина кончилась поздно, а от летнего железнодорожного кинотеатра до уютюговской мазанки идти недалеко.

Веня оказался прав: были на экране и пальмы, и тигры, и ананасы, и магараджа — хороший мужик. Все там было.

Симон шел в густой темноте, вдоль дувала, за которым не видны были длинные бараки путьрема. Он не думал больше об Аниканове — благородный магараджа, столь отважный и решительный, всецело занимал его помыслы... Он и не заметил, как рядом с ослепительным индийцем возник Калу. Калу, пожалуй, тоже справился бы и с тиграми, и со слонами. И, уж конечно, прежде чем отправить на тот свет, он сказал бы человеку — за что. Как бы он сказал? А вот так: "Значит, мало нас, чеченов, с гор согнали? Мало? Тогда получай!" Или еще по-другому: "Выбирай кинжал — у меня два. А теперь нападай, если ты не трус!" Ну и потом, конечно, как

получится. Калу никогда из-за угла не убьет, об этом даже и говорить нечего. И Усам тоже из-за угла никого не трогает. Вон, в прошлом месяце он автолавку ограбил, а шофера и торговца не тронул — посадил их в московский поезд и письмо в ЦК велел отнести. "Лучше отпустите, пишет, всех чеченов по домам". Шофер и торговец со страху до самой Москвы доехали, а там их милиция поймала — думали, сами они свою лавку ограбили. Так что чечены справедливые люди, почище магарадж. Одно вот непонятно: почему Калу сегодня в школу не пришел? Не может быть, чтобы боялся, этого быть не может. И спросить не у кого — чечены молчат как убитые. Убитые... А убитый тоже молчит. Как же он его все-таки?: Вчера разговора никакого не было слышно там, в тугаях. Только вскрикнули — и все. И кто вскрикнул-то, по голосу не разберешь.

Симон не видел, как двое мужчин свернули с середины улицы и метнулись к нему наперерез, к двалу.

— А ну, стой! — окликнул один из мужчин. — Стой!

Второй — он держал в поднятой руке молоток — загородил Симону дорогу.

— А, черт! — сказал тот, что держал молоток, и сунул свое орудие за голенище сапога. — Часы есть, парень?

— Нет, — сказал Симон, выпрастывая запястье из рукава куртки.

— Куртку давай, — приказал первый. — Живо!

— Она старая, — сказал Симон. — У меня денег есть немного.

— Давай! — почти крикнул первый. Он, кажется, был сильно пьян. Второй — тот, что с молотком, — обеспокоенно оглянулся и стоял, вглядываясь в уличную темень.

Симон сунул руку во внутренний карман куртки, пальцы его впились в рукоять Вениной финки.

И, выдернув нож, он с размаху, не глядя, ткнул в живот первого. Клинок вошел легко, до самых

усов. Ударенный привалился к дувалу, А Симон, далеко отпрыгнув, помчался по улице, спотыкаясь на колдобинах и широко размахивая руками. Пробежав неведь сколько, он остановился, взглянул на финку в своей руке; клинок ее чернел кровью. Быстро нагнувшись, Симон несколько раз воткнул нож в сухую землю и сунул в карман.

И, прислушавшись чутко, снова побежал.

Но теперь он бежал ровно и легко, стараясь восстановить сбитое было дыхание.

3. БОЛЬНИЦА

В октябре пришла им посылка. За посылкой отправились все вместе. Симон с вечера не давал покоя, гадал: что там, в посылке. Мира волновалась: выдадут ли без паспорта. Посылка пришла! Посылка оттуда, с воли — материальное подтверждение того, что о них помнят, о них заботятся. Москва и вся прошлая их жизнь не казались им теперь фантастической картиной, виденной нивесть когда и где, может быть даже и во сне.

Симон спешил, уходил вперед, потом дожидался нетерпеливо, молча показывая руками: "Ну, что ж вы так медленно! Давайте же!.." Поспевая за Симоном, шутили: надо было запрячь Зинку — а то не унесем.

Посылку выдали без разговоров — небольшой фанерный ящик, довольно тяжелый. Симон нес его, прижимая то к одному, то к другому боку. Время от времени он незаметно встряхивал его, безрезультатно пытаясь определить содержимое — ящик был набит плотно.

Вскрыли посылку в торжественной тишине и об-

наружили в ней банку меда, четыре банки баклажанной икры и килограмма четыре болгарских сушеных яблок, нарезанных кружочками. Тонкие эти кружочки с вырезанной сердцевинкой при варке разбухали, и приготовленная таким образом еда ничем почти не отличалась от компота из свежих яблок. Однако и в засушенном виде яблоки были прекрасны. Каждый кружок можно было довольно долго жевать, прежде чем он набухал, пропитываясь слюной, и превращался в ароматную кашу. Симон помнил эти яблоки еще по Москве — брал их с собою в школу, тайком жевал на уроках. Теперь он смотрел на спрессовавшиеся в ящике кружочки и чувствовал во рту вкус яблок.

— Возьми с собой в школу, — сказала Мира. — Только много не ешь — заболеешь.

Он ушел, на всякий случай сунув в правый рукав плетку. Левою рукою он выуживал из кармана яблочные кружочки, отправляя их по-одному в рот и жевал. Когда он подходил к школе, в висках у него ломило от этого безостановочного равномерного жевания. Сытость, однако, никак не приходила, и он с жадностью и грустью ворошил в кармане остатки яблок. Как здорово вот так их жевать — раздавливая зубами, медленно. Там ведь еще их много, в ящике. Хорошо бы их жевать целый день — со свежим хлебом, никуда не спеша, может быть лежа. И если б еще были блинчики с мясом, горячие, хрустящие, обязательно с маслянистой коричневой корочкой. И чтобы запивать все это дело виноградным соком, холодным виноградным соком. Или гранатовым. Главное, чтоб всего было много — и яблок, и блинчиков, и сока, чтоб конца не было видно. А котлеты! Целая сковородка котлет, больших — и чтоб не в один слой, а горкой.

Когда он вошел в класс, карман его был пуст.

Он твердо решил отсидеть не более двух уроков, а потом сбежать домой, к яблокам. Он знал, был уверен в том, что яблоки съест все до последнего

кружка, но не хотел покуда признаться себе в этом. Сидя за партой, он лениво, уверенный в конечности и неотменяемости своего решения, играл с ним: может, не есть все яблоки, а только часть; или передумать, ха-ха, и вовсе к ним не прикасаться; или снять и съесть верхний слежавшийся слой — так, чтобы не было особенно заметно и вся эта воровская, в сущности, операция не повлекла за собою неприятных укоров и упреков. Он, посмеиваясь, представлял себе эти упреки и укоры — словно бы они были уже в прошлом. Он знал твердо, что они неизбежны и ничто уже не в силах их предотвратить: яблоки, хоть они и лежали еще в ящике, были фикцией, ничем не восполнимой пустотой. Чистое недоразумение, что они еще там лежали. А потому следовало недоразумение это устранить — без особой спешки, поскольку ничто уже не могло изменить положение, но и не затягивая без толку исполнение задуманного.

Вернувшись из школы домой после второго урока, Симон занялся тщательным, но неприметным для постороннего глаза осмотром комнаты. Посылочный ящик он обнаружил у самого изголовья своего сундука, и этот факт отрадно подтвердил правильность принятого им решения. Приподняв крышку, он выгреб пригоршню яблок и сунул в карман. Вслед за тем Симон достал из своего ящика стола "Иудейскую войну", спрятал ее под куртку и, демонстративно помахивая учебником геометрии и тетрадкой, отправился во двор, где и уселся за верстак Сергея Васильевича. Бежать из школы ради осуществления яблочного плана, а потом долбить геометрию — это было по меньшей мере бессмыслицей. Поэтому, положив учебник на видное место, он открыл Фейхтвангера.

Впервые Симон прочитал "Иудейскую войну" два года назад. Он влюбился в эту книгу столь же сильно, сколь бескомпромиссно возненавидел Иосифа Флавия. Многократно, в каждой сюжетной ситуа-

ции ставил он себя на место Иосифа — и всякий раз поступал иначе, чем он. Придумывая Иосифу новые решения и поступки, Симон яростно сочинительствовал ради того, чтобы Храм не пал. Однажды он убил Иосифа — тот, надо сказать, погиб у него все же смертью героя. Спустя малое время Симон, однако, взял назад свой приговор: предатель и трус Иосиф Флавий должен был увидеть своими глазами, что евреи победили, что Храм незыблем. Ефим рассказал Симону, что в третьей книге "Иудейской войны" Флавий возвращается на родину и погибает там от рук римлян. Это, однако, никак не изменило отношения к нему Симона. "Гад он и больше никто, — сказал тогда Симон. — Надо было, чтоб наши сами его убили".

И Симон еще и еще раз перегруппировывал войска защитников храма, чтобы отбить приступ римлян. И замирал и холодел, когда Симон бар-Гиора и Иоханан из Гисхалы смотрели наконец-то друг на друга по-доброму и шли на смерть под римским небом. Здесь он ничего не исправлял и не переделывал, потому что смерть героев была прекрасна. И он испытывал гордость — он ведь носил имя одного из вождей восстания.

Симон подолгу допытывался у Ефима, бывал ли — и если да, то где именно — Фейхтвангер в Палестине и насколько, таким образом, описания ее пейзажей соответствуют действительности. Когда пейзаж, с точки зрения Симона, был недостаточно красочен, он злился: Фейхтвангеру посчастливилось побывать там, на земле их родины, за двоих — за себя и за него, за Симона, — а теперь вот он, Симон, не может со слов Фейхтвангера четко представить себе холмы Галилеи.

Книга "Иудейская война", таким образом, занимала особое место в жизни Симона, как и засушенный лютик, выросший где-то в окрестностях кибуца Кириат-Шалом и служивший теперь вместе со своим целлофановым пакетиком закладкой этой книги.

Симон читал:

“Прекрасно небо над этой страной, — сказал Симон бар-Гиора, — но как бледно оно в сравнении с небом нашей Галилеи. Хорошо, что надо мной голубое небо, когда я иду умирать”.

Симон взглянул на высокое небо над своей головой, и ему представилось, что это вокруг него — забитые гогочущими и орущими римлянами трибуны Колизея, что это за ним едут в колесницах триумфа император Веспасиан и сын его Тит, разрушитель Храма.

Симон читал:

“Да, мой Симон, — сказал Иоханан из Гисхалы, — если бы мы только вовремя объединились, мы бы с ними справились”.

Ревели трибуны, в пленников летели плевки и гнилая репа. Симон читал:

“Иосиф смотрел, как они приближались, проходили мимо него. Они шли медленно, он успел разглядеть их, и он видел вокруг Симона сияние, окружавшее его при их первой встрече в храме. И теперь он был уже не в силах сдержать себя. Он хотел зажать в горле рвущийся наружу звук, но не смог, — звук рвался из него, это был стон, полный отчаяния, придушенный и настолько ужасный, что сосед Иосифа, только что кричавший вместе со всеми: “Собаки! Сукины дети!” — умолк на полуслове, побледнел, испуганный. Иосиф не спускал глаз с обоих пленников; он страшился, что они посмотрят на него. Он был человек дерзкий, отвечавший за свои поступки, но, если бы они взглянули на него, он умер бы от стыда и унижения. Ему сдавливало грудь, он задыхался, ведь он — единственный еврей, смотревший вместе с римлянами на это зрелище”.

И Симону хотелось, чтобы Симон бар-Гиора и Иоханан Гисхальский заметили римского всадника Иосифа Флавия, наблюдавшего за триумфом победителя со скамьи римской знати. Сердце Симо-

на Ашкенази не желало знать жалости. Если рабби Иосеф бен Маттафий осмелился кушить право на описание Иудейской войны ценой предательства и позора — то пусть же он познает собственный позор до конца. К тому же Симон ничуть не сомневался в том, что Иосиф Флавий от этого и не подумает умереть.

Отложив книгу и сунув в рот яблочный кружок, Симон без труда, заученно представил себе ту часть стены Храма, на которую римляне нацелили всю силу своего удара. Вызолоченная закатным солнцем белая стена, сложенная из прямоугольных каменных плит, отбрасывала резкую тень на землю, на которой, привалясь разрубленным левым плечом к холодному телу стены, сидел Лакиш бен Ицхак. На белой тряпице, расстеленной в пыли рядом с сидящим Лакишем, темнела круглая высохшая лепешка с двумя очищенными луковицами на ней. Эту еду принес Лакишу его сын.

— Сима! — позвала Мира. — Обедать!

Симон прикрыл книгу и поднялся из-за верстака.

На обед ели овсяный суп со вчерашними лепешками и картошку, густо приправленную поджаренным луком. То было коронное блюдо Миры: цветом картошка почти не отличалась от жаркого. Добавки Симон не просил — это было бы слишком: ведь ему, и только ему предстояло насыщение яблоками.

Он лег спать на свой сундук часов около одиннадцати. Ящик с яблоками стоял внизу, под рукой. Руку только стоило протянуть... Дожидаясь, пока все заснут, он и сам задремал против своего желания. Сколько он проспал, он не знал: час, может, или около того. Нет, яблоки ему не снились. Ему снилась стена Иерусалимского храма, и Тит с толстым лицом, и суетящийся Иосиф Флавий. Потом он увидел Лакиша бен Ицхака, сидящего в тени. Лакиш посмотрел на сухую лепешку и на глиняный

сосуд с водой и сказал: "Освежите меня яблоками"
Тогда Симон проснулся.

Не слезая с сундука, он приподнял крышку посылочного ящика и сразу почувал кислотовато-сладкий запах яблок. Рот его наполнился обильной слюной, желудок словно бы слегка сжался, чтобы, резко потом расширившись, подготовиться к приему яблочного груза. Симон на ощупь зачерпнул пригоршню чуть липких кружков и, взяв губами первый, прижал его языком к небу, чтобы он стал сочнее и мягче. Сердце Симона колотилось часто и гулко, и весь он был взвинчен, возбужден, как будто вот сейчас произойдет нечто неизмеримо для него важное и он познает доселе неизведанное.

Сначала он наслаждался едой жадно, спеша погасить чувство голода. Потом челюсти его заработали реже, он медленно, расчетливо ощущал вкус яблок. А потом он и вовсе сделал перерыв и лежал, опустив руку в ящик.

Лежал он так, однако, недолго. Отнюдь не пресытившись, он вскоре снова ощутил стремительное, доставившее ему короткую приятную боль, желание жевать, наполнить рот этой вкусной ароматной массой. Теперь он ел как бы не наяву, но и не во сне, а в каком-то удивительно приятном полусознании. Он не желал остановиться, и это обдуманное нежелание не давало ему заснуть. Он опускал руку в ящик, набирал яблоки, ел. Ему было хорошо и тупо.

Он уснул перед рассветом, тщательно обшарив ящик и убедившись, что он пуст.

За врачом побежали часов в девять, когда Ефим с Женей уже ушли на работу. Симон тихонько постанывал, не открывал глаз. Иногда он бормотал, и Мира различала с ужасом: "Это прохладный ветер, сухой ветер... ветер с гор... Педан, погаси огонь! Лакиш убьет тебя. Лакиш, убей его! Убей его!..."

Симон бредил. Мира прикладывала к его лбу хо-

лодное, смоченное водой полотенце, и это не помогало. Мира вспоминала, как она болела в прошлом году сыпным тифом и что ей рассказывали про ее бред. Получалось похоже. Мира хотела плакать, но пока еще не могла.

Наконец приехал на велосипеде врач, молодой казах. Следом за велосипедистом попевала Марья Петровна.

— Сергей Василич, запрягай! крикнула Марья Петровна мужу. — Машина у них, — она кивнула на врача, — сломалась, что ли... Зинку запрягай!

Врач, не реагируя на беспорядочные вопросы и просьбы Миры, резко ткнул Симона во вздувшийся живот и поставил диагноз:

— Аппендицит...

— Пендицит у него, — сообщила заглядывавшая в дверь Марья Васильевна мужу. — Запряг, что ль?

Сергей Васильевич утвердительно покивал большой серебряной головой.

Симона, открывшего глаза и смотревшего вокруг мутно, усадили в тележку на связку сухого камыша и повезли в больницу. Следом за тележкой ехал на велосипеде казах. Казах сосредоточенно нажимал на педали — дорога была песчаная, ехать было трудно. Мира бежала сбоку, держась за борт тележки.

От безрессорной тряски, что ли — но Симона по дороге вырвало, и обильно.

— Может, это не аппендицит? — отстав немного от тележки, спросила Мира у врача, по-прежнему углубленного в верчение педалей. — Может, что-нибудь желудочное?

— Может, — согласился казах. — Дизентерия, может... — Казах боролся с песком изо всех сил.

Больница стояла на окраине поселка — одноэтажный глинобитный дом, обнесенный глухим забором, кое-где обвалившимся. Над забором торчали пыльные метелки деревьев. Миру в больницу не пусти-

ли, сказали только, что Симона положат в третью палату и что передачу принести можно.

В третьей палате содержались дизентерийные больные, шестнадцать человек. Симону отвели койку в углу палаты — узкую железную кровать, застланную ветхим серым бельем, с жидкой ватной подушкой. Здесь, среди чужих людей, не обращавших на него никакого внимания и занимавшихся своими делами, Симону вдруг полегчало. Лежа на спине и легонько поглаживая вздувшийся живот, он с любопытством разглядывал своих сопалатников. Это его занятие было прервано появлением в палате массивной русской женщины, вошедшей стремительно. Круглые и, по всей видимости, тугие формы вошедшей обтянуты были белым халатом, довольно чистым.

— К нам едет ревизор! — изрекла русская женщина, обведя палату волевым взглядом. Потом, выдержав паузу, она продолжала: — Так что я вам выдам под расписку вилки-нержавейки.

Сделав такое сообщение, женщина повернулась к больным широкой спиной и решительно вышла. Она была сильно возбуждена.

— Бойтся сестра-хозяйка, — сказал больной кореец, штопавший рубаху. — Вилки... Что нам — манку, что ли, ее вилками жрать? А, Фомич?

— Я на нее жалобу подам, — упирая на "подам", откликнулся русский старик лет семидесяти, по кличке Фомич. — Мне вон передачу старуха принесла, а она банку меду-то и прибрала.

— Давайте вместе все напишем и подпишемся, — предложил кореец. — Так, мол, и так, жратва — отравя, не лечат, а калечат.

— Я не подпишу, — заявил Григорий Иванович, инвалид войны. — Ну вас в болото... Подпишешь — а потом расхлебывай.

— Эх, ты! — укорил кореец. — А еще инвалид... Совесть-то у тебя отстрелили, что ли? Весь народ

подпишет, а он нет... — Народным заседателем быть бы этому корейцу, вот кем.

Инвалид молчал, словно бы все это к нему вовсе и не относилось. Вот уже семнадцать лет как он по причине всяческих болезней не держал во рту мяса, питался кашами, а воду пил строго по часам. Так что он был человек выдержанный.

Симон в жизни еще никогда не лежал в больнице. Дизентерийные люди, сообщение сестры-хозяйки о едущем ревизоре, сама эта захламленная тесная палата — все вызывало в нем живейший интерес. Собственная судьба не занимала его ничуть: он понимал, что попал сюда по недоразумению, и считал, что ему повезло. Человек, в последний раз жевавший кусок мяса еще до его, Симонова, появления на свет казался ему организмом из иного мира. Он не испытывал к военному инвалиду жалости — только безмерное удивление, как если бы тот прибыл с Марса, где жители питаются только травой и камнями.

Инвалид Григорий Иванович не стал спорить с корейцем. Сверившись с часами, он налил в стакан воды из бутылки и выпил глотка два или три. Удовлетворенно почмокав губами, страдалец обернулся к Фомичу.

— И ты бы, дед, молчал со своим медом, — посоветовал Григорий Иванович. — Сестра-хозяйка — она знаешь какая? Так что лучше молчи.

— Да я что, — немедля согласился дед. — Я молчу... — Из ворота белой больничной рубахи старика выглядывала татуировка — нательный крестик на бечевке.

— Воров учить надо, — назидательно заметил кореец, разглаживая пальцами заштопанное. — У нас раньше замков не знали — а здесь, в Джеты-Су, все крадут, что плохо лежит... Не робей, дед, пиши! Я тоже подтвердить могу — воровка она, больше никто.

— И напишу! — согласился Фомич. — Обязательно возьму и напишу.

Пониже креста в ворота Фомичевой рубахи виднелась чья-то татуированная голова, и Симон гадал, кто же там изображен: Ленин, Сталин?

— Где это такое "у вас" замков не знали? — недоверчиво поинтересовался Григорий Иванович. — Ты сказки-то не пой...

— На Дальнем Востоке, вот где, — объяснил кореец.

— Что ж там — не люди, что ли, живут? — продолжал допытываться инвалид. — Люди, брат, чего хочешь унесут — хоть на Дальнем Востоке, хоть где.

— На Дальнем-то Востоке — конечно, — на всякий случай согласился Фомич.

Кореец не стал разговаривать — примерял заштопанную рубаху

— Вот ты, дед, несешь, — сказал потом кореец, — а чего несешь...

— Чего ты несешь — то и он, — определил средних лет казах, лежавший у окна и до сих пор молчавший. На казаха никто внимания не обратил.

— Несу, несу, — согласился Фомич. — А чего несу? — словно бы ожидая ответа, старик доброжелательно оглядел больных и остановился на Симоне.

— Вот я и говорю — чего, — кореец, закончив штопать, решил, видно, порассуждать. — Есть ведь такие вопросы в жизни, которые надо осветить.

— А как же! — обрадованно подхватил Фомич. — Надо такие слова найти, чтоб мотор завелся, а потом разговор сам пойдет. А если, к примеру, слов таких не найти — то затор. Тпр-р-р!

— Ты шофер, что ли? — досадливо спросил кореец. Его, судя по всему, не устраивал такой приземленный поворот темы.

— Да не, — доложил старик. — Я сам пенсионер, четыре бумажки получаю. А поговорить кто не любит? Ты, например, не любишь, что ли?

— Я не люблю, — солгал кореец.

— Чего ж тогда заговариваешь? — атаковал военный инвалид. — Вопросы осветить... Ишь, ты!

Казах у окна поднялся с кровати и вышел, держась за живот.

— Скучает Нузет, — определил Фомич, проводив казаха взглядом. — Брат-то его нынче что-то не идет... А я вот, например, зверей люблю. Черепаху взял.

— Ну?! — ухмыльнувшись, подивился Григорий Иванович.

— Да! — с гордостью подтвердил Фомич. — Полгода ей. В валенке в моем жила всю зиму. Ручная.

— Ну?! — уже без ухмылки повторил инвалид.

— Да. Как вылезет, за палец грызет — значит, пить хочет.

Чечен в лисялой, не по росту пижаме и в коричневой каракулевой шапке пересел на кровать вышедшего казаха и закурил, пуская столбики дыма в открытое окно.

— А если за коленку укусит? — спросил чечен, глядя через плечо. — Жрать, что ли, хочет?

— Ну, жрать, — без опаски согласился Фомич.

— А если за яйца? — деловито расспрашивал чечен. — Тогда чего хочет?

Дизентерийные захохотали, замахали руками.

— Да не, — деликатно улыбнулся Фомич, показав голые отшлифованные десна. — Она ж еще панцанка... Может, на то лето...

— Так и жизнь идет, — сказал кореец, вдруг помрачнев, — зима-лето, зима-лето.

— Вот это правильно! — с радостной готовностью согласился Фомич. — Зималето, зималето.

Григорий Иванович мельком глянул на старика и, свесившись с кровати, уронил с губ обильный плевок.

Энергичная сестра-хозяйка появилась в палате столь внезапно, как если бы она спустилась на парашюте.

— Давайте, мальчики, давайте! — повторяла сестра-хозяйка, без толку ходя между койками. — К

нам едет ревизор! Из области! Расписывайтесь за вилки-нержавейки! И пижамы тоже сменю!

— Я пижаму менять не буду, — заявил кореец, поглядывая на сестру-хозяйку из своих щелок.

— Это почему же? — подбоченилась сестра, вплотную придвинувшись к щуплому коричневому корейцу.

— Кормежка плохая, — сказал кореец. — Пускай ревизор видит.

— Домой придешь, — сказала сестра громко, — там и жри свою чумчу. А здесь что дадут — спасибо скажи... Может, тебе еще чего надо?

— Надо ему, надо! — подхватил Григорий Иванович. — Невесту ему надо, чтоб у ней все хозяйство поперек.

— Поперек! — засмеялась сестра-хозяйка. — Скажешь тоже... Ну, герой!

— А ты сама с ним ляжь! — предложил Григорий Иванович.

— У мальчика-то уши топориком! — сказал Фомич, кивнув в сторону Симона.

Симон слушал жадно, давясь. Старался запомнить и тут же забывал услышанное. Он и сам не знал, для чего ему было необходимо запомнить.

— Ну, ладно, — сказала сестра-хозяйка. — Давай пижаму.

Кореец не пошевелился, как будто речь шла не о нем, не о его невесте и не о его пижаме.

— У, еврей! — сказала тогда сестра-хозяйка. — Я врачу скажу — он тебя живо выпишет. Контра!.. А ты чего шапку напялил? — напустилась она на чечена.

— Иди, иди! — лениво указал чечен. — Езжай к себе в Тамбовскую губернию.

Старик Фомич не спеша снимал с себя одежду. Татуированная голова ниже нательного креста оказалась головой богородицы с младенцем на руках. Богородица была большая — ее ноги упирались в пупок старика. На руки Фомича были нанесены

надписи — "Не забуду мать родную", "Василий", "Андрей", "Маша" — и, под изображением бутылки и стакана, — "Вот что нас губит". На боках — наверно, чтобы место не пропадало — были тщательно обведены очертания ребер.

Симон приподнялся на кровати — ему хотелось получше рассмотреть слегка уже поблекшую Фомичеву красоту. Заметив любопытство Симона, старик услужливо повернулся к нему спиной. На костлявых стариковских лопатках были наколоты два профиля — Ленина и Сталина. Старик натужно пошевелил лопатками, и вожди поцеловались.

— Вот здорово! — сказала сестра-хозяйка. На ее круглом лице появилось выражение, свойственное музейным экскурсантам — напряженность и некоторое недоверие. Вот так бы она рассматривала в Третьяковской галерее картину Иванова "Явление Христа народу", поражаясь ее огромности.

— Это еще что! — снисходительно, со знанием дела заметил Григорий Иванович. — Ты ей другое покажи...

— Ну, пойду я! — вдруг заторопилась сестра-хозяйка. — Некогда мне тут с вами лясы точить. — В дверях она, однако, остановилась.

Фомич не спеша стянул с себя пижамные штаны, а вслед за ними и кальсоны. Он стоял к Симону спиной. На одной ягодице старика изображена была кошка, на другой — мышка, прыгающая в ботинок.

— Подумаешь, дело какое! — разочарованно протянула сестра-хозяйка, стоя в дверях. — Я еще кочегара с лопатой видела.

— А ты не спеши! — распорядительским тоном предостерег Григорий Иванович. — Ишь, кума... Нука, дед, поворачивайся!

Дед повернулся, все с той же деликатной улыбкой. Ноги его во всю длину были оплетены синими толстыми змеями. Гады нацелились разинутыми пастьями с раздвоенными языками на шерстистую заплатку на уродливом старческом теле, пониже

живота. Вдоль сморщенного стручка нанесены были какие-то полустершиеся буквы. Сестра-хозяйка высоко вскрикнула и немного подалась вперед. Такого она, надо полагать, еще не видала никогда.

— Вслух читай! — потребовал Григорий Иванович.

Фомич с готовностью нагнул голову, шевельнул губами. Со стороны можно было подумать, что он забыл текст.

— Хам! — прочитал старик. — А здесь — шпанкамушка, — и он пальцем указал, где именно.

Сестра-хозяйка захохотала облегченно и убежала, топая по коридору.

— А пижама-то где на смену? — недоуменно спросил Фомич. — Не принесла, что ль?

— Тебе без пижамы лучше, — сказал чечен, покуривая и выпуская дым в окно.

— Я про вас ревизору скажу! — пообещал кореец. — Нашли дурака и издеваются...

— Будя ругаться-то, петухи! — попросил Фомич и полез под одеяло.

Симону надоело, захотелось домой. Они, конечно, интересные люди — и татуированный старик, и тот, что мяса не ест, и кореец. Таких людей поискать надо. Но они — чужие, даже чечен в шапке — и тот чужой. Может, потому что это все в больнице происходит. Может, сиди этот чечен в доме Калу — он казался бы другим. Или все они, эти гои, ему чужие? Ну, не все, справедливости ради — но большинство. Калу не чужой, Егор не чужой. Они ведь тоже так думают: мне Иван ближе, а мне — Муса. А с евреями, мол, тем более надо ухо остро держать, они все гады. Ну, не все, справедливости ради: Симон — не гад.

И Симону захотелось, чтобы вокруг него оказались его евреи, не важно — знакомые или незнакомые. Оказались хоть ненадолго — на час, на два. А потом снова можно глядеть на голого татуирован-

ного старика и на того, что мяса не ест вот уже полтора десятка лет. Но передышка все-таки нужна — со своими, хоть ненадолго. А то очень трудно — сам среди этих чужих, как голый старик, притворяющийся, что забыл надпись на собственном двадцать первом пальце... Ну, а раз нельзя, невозможно — тогда веки стиснуть, закрыться одеялом с головой. Тихо лежать. Рассматривать для отдыха картины: евреи собираются в дальнюю и опасную дорогу домой из Египта — они дойдут, вызолоченная закатным солнцем западная стена Храма с привалившимся к ней Лакишем бен Ицхаком, капитан каравеллы "Непорочное зачатие" приказывает высадить десант на Занзибаре близ селенья Бубубу... Мало ли какие картины.

Чечен, сдвинув шапку на затылок, сообщил:

— Идет! С ведром.

По двору к больнице шел казах с эмалированным ведром, накрытым крышкой. То был брат дизентерийного Нузета, лежавшего у окна. Он прибыл в Джеты-Су в отпуск из города Казалинска, был свободен и приходил каждый день. Обменявшись с Нузетом одеждой, он ложился в его постель и спал там до вечера. Нузет же отправлялся домой, к жене — молодой и красивой казашке. Отпуска у Нузетова брата осталось еще восемь дней.

Они вошли в палату вместе — Нузет и Мереке со своим ведром. Нузет, наверно, поджидает брата на лавочке, и они уже поговорили по дороге. А может, им не о чем было говорить.

— Отец вчера верблюда зарезал, — сказал Мереке, расстилая на полу газету. — Давай, садись. Соль есть?

Соль нашлась у старика Фомича, живо натянувшего пижамные штаны и рубаху. Дизентерийные уселись вокруг ведра, полного вареным верблюжьим мясом. Только Григорий Иванович остался лежать на своем месте, да Симон.

— Иди, малец! — позвал Фомич. — Мясо — оно

силу дает. Григорию Ивановичу нельзя, у него грудь больная.

Симон подсел к кружку, принял от Мереке кость с мясом. Кореец сосредоточенно выбивал на газетку костный мозг, присаливал обильно. Раздав куски мяса и костей тем, кто не уместился вокруг ведра, Нузет переоделся и вышел, не попрощавшись.

Больные жевали мясо, хрустели сухожилиями, чавкали и рыгали. За этим занятием их и застала Мира, принеся Симону передачу — отварную картошку и бутылку киселя.

Вытирая жирные руки о пижамные штаны, Симон вышел к матери в коридор.

— Я все знаю, мальчик мой, — сказала Мира. — Ты хотел есть... Но разве можно так много яблок. Тебе лучше?

Симон пошмыгал носом.

— Они едят мясо? — удивленно спросила Мира, заглядывая в палату. — Им ведь нельзя.

Симон пожал плечами.

— Вон тому нельзя, который лежит, — сказал Симон. — Мама, к нам едет ревизор!

— Я попрошу врача, чтоб тебя отпустили домой, если можно, — сказала Мира.

— Я не хотел есть их все до конца, — сказал Симон. — Просто так получилось.

— Ничего, сыночек, — сказала Мира.

В связи с приездом ревизора врачебный обход был передвинут на вечер. Старые больничные няньки, засучив подолы и раскорячив ноги, оттирали от грязи полы. Отшлифованные ногами широкие доски полов теперь разбухли от кипятка и каустика и приобрели телесный оттенок.

Больным выдали по свежей газете и по одному номеру журнала "Блокнот агитатора" на палату. Прессу велено было положить на видное место и ни в коем случае не использовать не по назначению.

Перед обедом санитары проволокли в кухню сорокалитровый бидон-флягу с компотом.

Напряженное ожидание овладело всеми — даже Мереке, братом Нузета. Подремав с полчаса, он, к большому удивлению сопалатников, уселся на кровати и уставился в окно. Мереке проснулся вовремя: по двору, откуда больных загнали обратно в больницу, тащили к беседке большой стол. Ковер, украшавший кабинет главного врача, был уже принесен и разостлан. В траве, выброшенный из беседки, валялся дощатый столик, на котором больные играли обычно в домино и в нарды... Малое время спустя беседка стороной своей, обращенной к больничным окнам, стала напоминать шатер: изнутри ее завесили простынями. Все было готово к приезду ревизора.

Гость, однако, не ехал. Съев обеденную гречневую кашу вилками-нержавейками и напившись праздничного компоту, больные легли спать. Они, как и врачи, были измотаны ожиданием и разочарованы. Им надоело поминутно выглядывать в окна: а не едет ли? А не выглядывать они просто не могли.

Перед вечером у них отобрали вилки-нержавейки и журналы "Блокнот агитатора".

Потом вернулся Нузет и сменил своего брата Мереке на больничной койке.

Потом пришел дежурный врач, спросил: "Ашке-нази кто?", послушал его, потыкал ладонью в живот и отпустил домой.

Потом наступила ночь.

Ревизор не приехал.

4. ОТ МИРАЖА К МИРАЖУ

Ревизор тогда не приехал.

Это Симону было все равно — в его памяти остались вилки-нержавейки, выдаваемые под расписку, и татуированный старик, имя которого он вскоре забыл. Еще ему запомнился человек, не евший мяса, а воду пивший по графику. Он, однако, не испытывал к нему жалости — как, скажем, к инопланетному какому-либо калеке с прозрачной кровью и глазом на животе.

Его занимали предметы куда более насыщенные.

Калу пригласил его в подхоз — впервые за время их знакомства. Симон воспринял приглашение как проявление дружбы: чечены нечасто показывали свое житье чужим людям. Дорога в подхоз шла вначале по степи, а затем вдоль приречных тугаев. Там, где слева от дороги торчал над могилой безымянного святого человека длинный шест с прицепленной к нему белой тряпицей, Калу должен был поджидать Симона в воскресенье, после трех часов дня.

А в воскресенье с утра в Джеты-Су судили членовредителя. Районное начальство рекомендовало про-

вести судилище показательно — сколько можно мириться с частнособственническими пережитками отдельных несознательных граждан по отношению к раз и навсегда раскрепощенной женщине! При такой точке зрения районного начальства злополучному членовредителю надеяться было не на что и не на кого — разве что на Рахиль Львовну, защитницу. Положение осложнялось тем, что напуганный вниманием районного начальства судья отказался принять взятку.

Влекомый азартным любопытством, Симон решил пробиться в суд во что бы то ни стало. Он никогда в жизни не был еще в суде; сам дом суда казался ему преддверием тюрьмы, судьи и вся судейская шушера — вертухаями. Такая предвзятость проявилась только теперь — в прошлой своей, московской жизни суд был удален от интересов Симона так же, как, скажем, правительство, которому суд служил. От суда, одним словом, Симон ничего хорошего не ждал, и любое его решение вызвало бы протест в душе Симона. Калу, которому он предложил пойти в суд, отмахнулся: "Делать мне, что ли, нечего!.. Я тебя завтра буду ждать у мазара", — и уехал в подхоз в субботу вечером.

Суд решено было провести в пустовавшем амбаре, куда милиционеры притащили по этому случаю деревянные лавки: судебное зданье не вместило бы и малой доли желающих вместиться. Желающие прибыли из степи, некоторые с ночи — многочисленные родственники членовредителя и его жены. Вначале представители сторон держались обособленно, сидя кучками на земле вдоль стены амбара и посаывая насвай, но с течением времени объединились, живо обсуждая предстоящее слушание. Однако здесь были не сплошь казахи: интерес проявили также и греки, и корейцы, и русские люди. В амбар не пускали до поры никого — там орудовали судейские, приводя помещение в относительный порядок. Публика терпеливо толпилась у входа.

Впущенные наконец в амбар люди шумно расселись по лавкам. Симон устроился в самом дальнем от судебного стола углу помещения — он не хотел, чтобы его вывели по малолетству, и соблюдал осторожность. Отыскав глазами Рахиль Львовну, он укрылся за соседской спиной и приготовился слушать.

Судопроизводство соблюдалось досконально: секретарь-корейночка объявила состав суда — судью-казаха и пару русских заседательниц.

— Именем Казахской Советской Социалистической республики, — с большим акцентом пробубнил судья, — слушается уголовное дело по обвинению Жакопова Курманалы в членовредительстве... Введите обвиняемого!

Милиционеры ввели громоздкого, нестарого еще казаха Курманалы Жакопова. На круглую голову Курманалы нанялена была давно утратившая форму зеленая фетровая шляпа с темным ободком пота вокруг тульи.

— Шляпу сними! — указал судья укоризненно.

Курманалы повиновался и, сев на приготовленное ему место справа от судейского стола, по-хозяйски оглядел публику. Пострадавшая сидела на передней скамейке, прятала лицо в головной платок.

На столе судьи лежали вещественные доказательства злоумышленности Курманалы: кривая хирургическая игла, моток суровых ниток и пломбер.

— Подсудимый Жакопов Курманалы работал на железной дороге сопроводителем товарных вагонов, — сообщил судья, листая дело. — По роду своей работы он отлучался в командировки сроком до трех суток. Его жена, — тут голос судьи возвысился и окреп, — которую наша родная советская власть раскрепостила, сняла с нее чадру, понимаете... да... отменила феодально-байские пережитки... — судья на миг призадумался, а потом продолжал: — принесла нам свет знаний и культуры... И вот этот злостный членовредитель, отправляясь в служебные командировки, с преступными

целями производил зашивание женского полового органа пострадавшей. По возвращении из служебных командировок обвиняемый Жакопов Курманалы производил расшивание. Да... Так, понимаете, нельзя поступать советскому человеку.

Судья был не рад, что ему поручили это дело, получившее огласку в районе. Им там, в районе, весело: зашил, расшил. Так он ведь зачем зашивал? Из ревности, а не просто так, не от нечего делать. А попробуй использовать ревность как смягчающее вину обстоятельство — потом неприятностей не оберешься: советскую женщину, раскрепощенную, такую-сякую... Еще скажут — своего покрывал, казаха.

Поэтому, рассчитывая на изворотливость защитницы, он решил поначалу перегнуть палку и даже, громя подсудимого с принципиальных политических позиций, взять на себя прокурорские функции.

Рахиль Львовна прекрасно понимала двойственное положение судьи — человека мягкого, к тому ж взяточника. Она решила прибегнуть в защите к неожиданному и дерзкому ходу и верила в свой успех.

— Судебно-медицинская экспертиза прилагается, — сказал судья, закрывая папку с делом. — Свидетелей по делу нет... Подсудимый, вы признаете себя виновным?

— Зашивать зашивал, — сказал Жакопов, грузно поднимаясь со стула. — Так я ж свою жену зашивал! Мы уже семь лет как организовали семью, у нас пятеро детей, и получку я всегда домой приносил. Как примерный семьянин я от нее не гулял... А чтоб с ней другой гулял, я тоже не хотел. А ты бы хотел, интересно? — вдруг с искренней горечью обратился он к судье.

Наставления Рахили Львовны перепутались в голове горячего Курманалы, и он, как говорится, понес не в ту степь.

В зале после вопроса Курманалы зашевелились, зашумели. Симпатии мужчин явно были на стороне подсудимого.

— Ты мне вопросы не задавай! — предостерег судья. — Ты сам на вопросы отвечай.

— Так я ж и говорю, — оправдался Курманалы. — Ну, зашивал...

— Негодяй какой, понимаете! — проникновенно укорил судья. Потом он широко развел руками, словно бы приглашая зал присоединиться к его укоризне. Негодяй Жакопов повесил голову — он испытывал неловкость. Пострадавшая, ни слова не говорившая по-русски, немного освободила лицо от платка и глядела на мужа не без сочувствия.

Прокурор, обозвав Жакопова выродком, определил его преступные действия как антисоветские. Зал единодушно выразил недовольство: это уж прокурор хватил через край. Как это ему в голову пришло обвинять известного Курманалы в антисоветчине и тянуть его тем самым под политическую статью! Судья, судя по выражению его лица, также не одобрял горячности прокурора. Одна Рахиль Львовна не испытывала, кажется, особого беспокойства по поводу заявления прокурора. То и дело поглядывая в зал поверх очков в стальной оправке, защитница перебирала обрывочные клочки мелко исписанной бумаги, хаотически разбросанные перед ней на столе.

— Уважаемый суд! — сказала Рахиль Львовна, когда пришло ее время. — Я с огромным удовлетворением выслушала выступление прокурора — особенно в той части, где он так красноречиво и обоснованно отстаивал честь и достоинство нашей советской женщины, самой счастливой в мире. Даже такому ревнивцу, как мой подзащитный, нашими советскими законами не дозволено поступать со своей подругой столь негуманно. Более того, ему возбранено обижать действием жену, — полноправного члена нашего свободного советского общества! Вернемся же немного назад, к тем черным дням обоснованных подозрений и односторонних грубых действий моего клиента, когда он, вооружившись хирургической иглой и катушкой суровых ниток, при-

ступал к самостоятельной операции, требующей незаурядной ловкости и, я бы сказала, определенно-го мастерства. Во время операции — и я это подчеркиваю особо! — бедный ревнивец соблюдал основные правила гигиены, и именно это позволило его дорогой супруге избежать тяжких телесных повреждений. Следовательно, супруг подходил к своему делу заботливо и с любовью, в этом не приходится сомневаться!

Теперь зал был доволен. Конечно, Курманалы не собирался искалечить собственную жену, это же и дураку ясно! А прокурор, бессовестный человек, приплет уж и антисоветчину...

— Я продолжаю, уважаемый суд, — сказала Рахиль Львовна после короткой паузы. — История дает нам немало примеров беззаветной любви и связанных с нею необдуманных действий, которые рассматривались бы сегодня как уголовно наказуемые. Но никому из нас и в голову не придет осуждать влюбленных и бросать тень на их чувства! Разве доблестный рыцарь, отправляясь в поход, не надевал на любимую девушку пояс невинности и не запирали его на висячий замок? А пояс невинности рядом с современной хирургической иглой выглядит просто как орудие убийства!

Теперь зал ревел. Публика, правда, не знала, что такое пояс невинности и как он выглядит — но кому же теперь было неясно, что не зря, не зря получает Рахиль Львовна свои денежки и что дело Курманалы не такое уж безнадежное, как оно могло показаться на первый взгляд! Судья также был заинтересован необыкновенным рассказом защитницы — он сидел раскрыв рот и даже не пытался пресечь шум в зале.

— Жакопов Курманалы — рыцарь, если хотите знать! — воскликнула Рахиль Львовна, перекрывая шум. — Семь лет подряд — с самой женитьбы — он последовательно оберегал честь подруги от посягательств со стороны злоумышленников. А злоумышленники были, поверьте мне — были... — и Рахиль Ль-

вовна игриво, но одновременно и твердо взглянула на пострадавшую.

— Итак, пойдем дальше, — продолжала Рахиль Львовна, теребя и перебирая свои записки. — От внимания уважаемого суда ускользнула одна весьма существенная деталь, представленная в качестве вещественного доказательства виновности моего несчастного клиента. Что мы видим наряду с хирургической иглой и катушкой ниток? Мы видим пломбер — непримечательный инструмент, которым обвиняемый опломбировав вагоны, прежде чем отправиться по указанию руководства в служебную командировку. Выводя концы тонкой проволоки, Жакопов Курманалы прилаживал к ним небольшой кусочек свинца, — Рахиль Львовна продемонстрировала суду, какой именно кусочек, — и, нажимая на ручки пломбера, вешал пломбу. Следствием по делу установлено, что, завершая операцию над супругой, подсудимый Жакопов Курманалы выводил и здесь концы нитки и опять-таки навешивал пломбу с указанием текущего числа и шифром товарной конторы. Я призываю вас, уважаемый суд, строго покарать за это подсудимого! Он преступно использовал в личных целях служебный инструмент и, таким образом, неприкрыто злоупотреблял служебным положением.

— Я не членовредитель, я служебным положением злоупотреблял! — громко выкрикнул Курманалы по условному знаку, поданному Рахилью Львовной.

— Вот видите, он признает себя виновным в части злоупотребления служебным положением, — констатировала Рахиль Львовна. — Так как в результате рассмотренных операций ни организм супруги подсудимого Жакопова в целом, ни отдельные ее члены не пострадали и она, таким образом, сохранила стопроцентную работоспособность, я прошу суд снять с подсудимого Жакопова Курманалы обвинение в членовредительстве и предъявить ему об-

винение в злоупотреблении служебным положением с использованием инвентаря.

— Молодец баба! — восторженно прошептал Симонов сосед, за спиной которого Симон давно уже забыл прятаться и сидел открыто. — Ай, молодец!

Дождавшись решения — судья с легкой душой дал злоупотребившему Жакопову три года вместо запрашиваемых прокурором семи, — Симон вышел на улицу, с удовольствием ругая судопроизводство. Все было, как он предполагал, только еще смешней и еще безобразней.

В толпе вываливших из амбара людей он столкнулся с Сан Санычем.

— Был? — спросил Сан Саныч. — Ну, как тебе?

— Все правильно, — сказал Симон и усмехнулся. — А что, разве бывает иначе?

— Вряд ли, — сказал Сан Саныч. — Так было, так будет... Ты домой? Я подброшу — мимо схать.

Симон спешил — ему надо было поспеть к мазару, где ждал его Калу.

С транспортом ему нынче положительно везло: Сергей Васильевич Утюгов собрался на рыбалку — запастись сомятиной и обещал довести Симона почти до самого мазара.

— А чего, — сказал Сергей Васильевич, запрягая ишачку Зинку в телегу, — чем пешком идти, так лучше на животной доедем... Н-но, чертова сволочь!

Чертова сволочь с сожалением оторвалась от охапки сена и пошла наконец в оглобли. Выехали сразу, как запрягли. Утюгов намеревался добраться дотемна до дальних протоков и перепереть их сетями. Ночью ему предстояло, колотя по воде доской и крича, бродить между сетями и гнать в них рыбу. Сергей Васильевич не был заядлым рыбаком, но видел в рыбалке полезное занятие.

Солнце перевалило зенит, когда они выехали из Джеты-Су. Гладкая горячая степь была сегодня неспокойна: низовой ветер подымал и держал красноватую пыль, не давал ей опуститься на землю. Бе-

лесое, выгоревшее небо стлалось высоко, и между ним и землею ничто не возвышалось.

Старик молчал, время от времени трогая круп ишачки вожжами. От этих несильных, изо дня в день повторяемых прикосновений по бокам крупа давным уже давно образовались дорожки проплешин. Как только вожжи касались кожи, ишачка два-три шага делала рысью, а потом снова переходила на резвый шаг. Да старик, собственно, всерьез и не попукал: он охлестывал свою Зинку, чтобы самому не заснуть.

Молчание людей в тележке не было обременительным. А разговор — возникни он — не потребовал бы ни от одного из них напряжения мысли.

— Что это за подхоз? — спросил наконец Симон. — Огород, что ли, и дом?

— Сом по осени жирен, — не расслышал Сергей Васильевич. — Может, он и расслышал, но ему приятней было рассуждать о жирных осенних сомах, чем о подхозе. — И весом хорош, и сало у него нежное, по осени-то.

— Огород при подхозе наверняка должен быть, — продолжал свое Симон. — А вот насчет дома не знаю как. Может, у них там юрта? Нет, чечены в юрте не станут жить...

— Да это как сказать, — не отступил от своего и Сергей Васильевич: — Положим, коптить буду — так это впрок. Подпол холод держит — и овощ, и мясо уберезет. А кой-чего и зажарить можно: старуха-то моя, Марья Петровна, к поезду выйдет, да и продаст.

— Это верно, — согласился Симон, слушавший рассеянно. — А у вас был когда-нибудь подхоз?

— Н-но, чертова сволочь! — сказал Сергей Васильевич и тряхнул вожжами. Он желал толковать об осенних сомах.

Долго ехали молча, сонно мотая головами на малых неровностях степного бездорожья. Над теплым такыром слоилось марево, оно прижималось к зем-

ле и искажало ее черты. Поворачивая голову, Симон оглядывал размытый маревом горизонт, а потом снова задремывал — до следующего толчка тележки. Хорошо бы увидеть мираж — с прохладными пальмами, с голубым озером и белыми домами.

И он увидел его таким, каким хотел, — с прохладными пальмами, с голубым озером и белыми домами.

— Сергей Васильевич, смотрите, смотрите!

Оазис был рядом, в получасе езды. Входил ли в него караван — в этом Симон не был уверен. Кажется, входил. Но голубое озеро сверкало как излом стекла, в этом не было сомнения.

— Поедем туда! — неожиданно для самого себя, словно бы повинувшись чужой беспрекословной воле, попросил Симон.

Коротко взглядевшись, Сергей Васильевич снова повесил голову на грудь.

— Так это ж кажется, — сказал он скучно. — Там нет ничего — пустое место... Н-но, чертова сволочь! Задремала... — и шевельнул вожжами.

А Симон все смотрел на приподнятый над степью, словно бы отделенный от нее слоющимся маревом оазис в получасе езды. В получасе езды...

А потом ему почудилось, что и сам он отделен от тележки и от степи слоющимся маревом, что и сам он плывет над теплой землей, как мираж, и блестит, как излом стекла, и прохладные пальмы вырастают из его плоти и караван, медленный караван входит в него из песков. И колоколец на шее головного верблюда звенит. Он звенит один на весь белый свет, он кричит, звеня — а отклика нет. Не видно людей в оазисе, только их дома за белыми дувалами мягко светятся между пальмами. И глядит на то, как пальмы цветут, стариковскими глазами верблюд. Он пришел из песков и уйдет в пески — от оазиса к оазису, от воды к воде, от жизни к смерти. И зеленая травинка одна на верблюжьем подбородке видна.

— Ничего там нет, — повторил Сергей Васильевич. И пояснил: — Мираж называется... Раньше не видал?

— А сомы? — сказал Симон. — Сомы осенние?

— А? — наставил ухо Утюгов.

— Сомы — не мираж?

— Мираж — это когда видишь черт знает чего, а там нет ни хрена, — сварливо сказал Сергей Васильевич. Он, надо думать, расслышал Симонов вопрос.

Симон распрощался с Сергеем Васильевичем у поворота дороги, в полутора километрах от мазара. Старик не спеша поехал к протокам, а Симон зашагал по горячей мягкой пыли. Мираж исчез — сколько ни оглядывался Симон, его более не было видно. А Симон не жалел об этом, ему было легко: над такыром небо, солнце и пыль, и мираж совсем не сказка, а быль. Теперь мираж всецело принадлежал ему, Симону, — с пальмами, домами и верблюдом.

Калу ждал у мазара.

— Пошли, — сказал Калу. — Не устал?

— Да нет, — сказал Симон. — Что ты...

— Тогда пошли, — сказал Калу. — Тут недалеко.

Юрта и огородные грядки вокруг нее — это и есть подхоз. У самой юрты — коновязь, деревянная ее перекладина обгрызана лошадьми. Пяток овец лениво переступает с ноги на ногу в тесном загончике.

— У вас есть лошадь? — спросил Симон, когда они подошли к юрте.

— Нет, — сказал Калу. — Так, знакомые приезжают...

В юрте было прохладно, сумрачно. Сестра Калу, Асия, молча и быстро приготовила яичницу на железной печурке и налила воды в дивные кружки. Поставив еду на достархон, постеленный перед гостем и братом, Асия вышла вон и более не появлялась. Калу и Симон ели из одной сковородки, запивая яичницу мутноватой водой.

Они не успели доесть, когда у юрты послышался глухой стук лошадиных копыт и звяканье уздечки привязываемой к коновязи лошади. Калу поспеш-

но поднялся из-за достархона и вышел, и до Симона донеслись слова гортанной чеченской речи. Калу словно бы взволнованно объяснял что-то, и ему отвечали властно и коротко. В конце концов полость юрты отодвинулась, и Калу пропустил брата своего Усама.

— Вы знакомы, — сказал Калу. — Помнишь, на реке познакомились? Старик тогда был с тобой, он сейчас сторожем работает у геологов.

Не снимая фуражки, Усам быстро доел остатки яичницы и откинулся на кошму, опершись о локоть.

— Домой когда поедет, земляк? — приязненно глядя на Симона из-под плоского козырька, сказал Усам. И, видя удивление Симона, объяснил: — Ты ведь говорил — на родине у тебя тоже горы есть, и сам ты нацмен, как я. Значит, земляки.

— Земляки, — немного помедлив, согласился Симон.

— Не хочешь, что ли, в земляки меня брать? — сказал Усам и подмигнул ободряюще. — Скажи!

— Нет, почему, — вздернул брови Симон. — Нас же тоже выселили еще когда — две тысячи лет...

— Да, — сказал Усам, и улыбка с его круглого, бугристого от узлов мышц лица ушла без оглядки. — Калу вот говорит, что ты парень серьезный... Кого с родной земли согнали — все земляки на чужой земле. И старших-младших среди них не бывает — все одинаковые. Кто из нас друг друга продаст — у того в могиле змея будет жить.

Усам замолчал, сжимая и разжимая зубы под стиснутыми в шрам губами. Желваки на его щеках, выбритых до зеркального блеска, вздувались и опали. Калу что-то спросил у него, и он ответил, едва раздвинув губы.

— Когда он приехал, — сказал Калу про брата, — я вышел, сказал: у нас гость. Он говорит: друг?

— Я сказал, — перебил Усам, — земляк не продаст. Калу говорит: он еврей. А я: еврей тоже земляк. Правильно!

— А правда, что вы автолавку захватили и людей оттуда послали в Москву с письмом? — спросил Симон почти шепотом, как о великой чужой тайне.

— Верно, — усмехнулся Усам. — А чего? Они хоть русскую столицу поглядели — и то хлеб. А то бы и не увидели... Как у тебя рука? — вдруг оборотился он к брату. — А ну, покажи!

Калу послушно заворотил рукав рубахи. Мускулистое, цвета топленого молока предплечье расщепило во всю длину свежий рубец, запечатанный кое-где неопавшей еще кровяной коркой. Усам со знанием дела, придирчиво обследовал ранение, а потом отвернулся удовлетворенно.

— Это давно? — спросил Симон, напряженно следя за тем, как Калу раскатывает рукав рубахи. Он дал бы многое — все, или, вернее, почти все, лишь бы это было давно, в ту самую ночь в железнодорожном парке, после стрельбы.

— Да так, — сказал Калу, застегивая манжет на пуговицу. — Порядком... С Аникановым я в одном деле не поладил.

Симон поглядел на Калу с облегчением и благодарностью. Вот все-таки люди, эти чечены, черт возьми! А Усам! Его уже года два никак поймать не могут. Сиди здесь не Симон, а кто-нибудь другой, он, наверно, не зашел бы, проехал бы мимо. А ему, Симону, верит, как своему верному человеку. За то верит, что свой, что земляки они на чужой земле. Надо что-то сделать такое, чтобы еще больше стать своим для этих прекрасных и страшных людей. Хорошо бы что-нибудь подарить им на память — но только что? И вдруг Симон сказал словно бы чужим, не своим языком:

— Хотите, я стихи читаю?

И начал, не дожидаясь согласия:

— Над такыром солнце, пыль
и жара.

И верблюд усталый входит
в мираж.

И из озера миражного
пьет,
и глядит он на миражный
народ.

И глядит на то, как пальмы
цветут
стариковскими глазами
верблюдов.

Из барханов он пришел.
Как их брат,
сам и желт он, как бархан,
и горбат.

Он свободен, как бархан,
и вперед
он к миражу от миража
бредет.

И зеленая травинка
одна
на верблюжьем подбородке
видна...

Над такыром небо, солнце
и пыль.
И мираж совсем не сказка,
а быль.

— Здорово, — сказал Калу, когда Симон закончил и сунул в карман листок бумаги, по которому читал. — Это кто написал?

— Я, — сказал Симон.

— Здорово, — согласился также и Усам. — Я мираж каждый день вижу, а никогда б не додумался... Неужели сам написал?

— Сам — подтвердил Симон.

Калу поглядел на Симона с уважением, и Симон испытал сладкое счастье.

— Вот только насчет подбородка, — сказал Усам. — У верблюда же не подбородок.

— Да это ж все равно! — сказал Симон. — Верблюд, человек. Может, человек идет по пескам.

— Да... — сказал Усам не совсем уверенно. — Вот про барханы здорово.

— Я так понял, — сказал Калу, — что он вот идет по пескам, и хоть миража нет, а для него есть. А раз для него есть — значит, правда, есть.

— А если для других нет — и не надо! — уточнил Симон. — Они, может, и не хотят этот мираж видеть.

— Да-а... — повторил Усам. — А интересно: ты ведь говоришь нормально, как пацан. Ну, все слова у тебя такие же, как у него, — он кивнул в сторону брата. — А пишешь, как старик, как будто прожил много... Вот это интересно! У нас в горах стихи тоже писали — но только старики. Их всех еще до войны расстреляли, сейчас вроде не осталось никого. А новые старики не пишут, не слышал я что-то...

— Вернемся в Чечню — будут писать! — уверенно сказал Калу. — Там такие леса, и воды много!

— Да, там должны писать, — решил Усам. — А здесь кому охота: песок один, да и тот чужой. В Чечне мы и песни раньше пели — а здесь только по пьянке. Конечно, на родине надо стихи писать!

Симон понурился, погрустнел. Он вспомнил что-то такое про арфы, повешенные евреями на деревья у чужой реки, и погрустнел. Ему, наверно, тоже не стоит писать стихи на чужой земле, у чужой реки. Кто ж это ему рассказывал про арфы, повешенные на деревья — не отец ли...

Усам оборвал молчание, сказал:

— У вас, конечно, по-другому: нас недавно выселили, а вас когда... Да еще ты пишешь, как старик — значит, получается. Это Калу правильно сказал: видишь ты что-нибудь — ну и хорошо, а кто не

видит, пускай идет к чертовой матери. У меня так в жизни тоже бывает!

— У каждого, наверно, бывает, — сказал Симон. — Вон, например, Веня — он чего только ни видал...

— Это тот старик? — спросил Усам. — Бородатый?

— Ну да, — сказал Симон. — Веня.

— Хороший старик, — похвалил Усам. — Водку с ним пить хорошо.

— Да не только... — сказал Симон.

— Он до тюрьмы что делал? — спросил Калу, немногословный при брате.

— Не знаю, — сказал Симон. — Инженер, что ли...

— На артиста какого-то он похож, — сказал Усам. — Только не вспомню никак, на какого.

— Да, — сказал Симон. — Я тоже заметил — на артиста.

— А ты ему стихи эти читал? — спросил Калу.

— Эти не читал, — сказал Симон. — Я их только сегодня написал, когда сюда ехал.

— А другие читал? — спросил Усам. — Он что говорит?

— Ничего не говорит, — сказал Симон. — Слушает — и все.

Веня ничего не говорил о его стихах. Слушал — и все. Если б они ему не нравились, он бы что-нибудь говорил.

— Ты давай приходи почаще, — сказал Усам. — А если кто тебя обидит — Калу скажи. — Он, усмехнувшись, показал зубы — такие же белые, как у брата, только неправильной формы.

— Спасибо, — сказал Симон.

— А, чего там! — сказал Усам и повернулся к Калу. — Вчера барана зарезали?

Калу утвердительно кивнул головой:

— Я резал.

— Возьми заднюю ногу, пускай земляк домой отнесет. Когда мясо ешь, голова лучше работает... И еще там отрежь кусок получше — для старика.

К Вене Симон поспел поздно вечером.

Веня сидел на ступеньке крыльца, набросив ватник на плечи. То ли он дремал, то ли задумался над чем-то – голова его была опущена, и борода закрывала грудь, как несвежая салфетка.

– Как дела? – спросил Симон, подойдя. Мясо, завернутое в газету, он держал за спиной – ради неожиданности и сюрприза.

– Человечеству надо было прожить две тысячи лет после рождения этого чудака, – проворчал Веня, – чтобы докатиться до такой глупости: ”Как дела?” Какие у меня могут быть дела – ты подумал? Я основал пароходную компанию! Открыл дело по чистке обуви джеты-суйских босяков!.. Да я, друг мой и товарищ, пошел в сторожа именно для того, чтобы не было у меня никаких дел! Дела мне ненавистны, я их презираю. Я просто живу в сторожке, и это дело Сан Саныча, вот и все. Спроси у него, как его дела, если тебе это интересно.

– Смотри, что у меня есть! – сказал тогда Симон, показывая Вене газетный пакет.

– Что там? – спросил Веня иным уже тоном и поглядел снизу вверх на стоящего перед ним Симона.

– Мясо, – сказал Симон как о пустячном предмете и пожал плечами.

– Мясо? – переспросил Веня с недоверием.

– Свежая баранина, – скучно подтвердил Симон. – Вчера только зарезали.

Веня принял пакет в руки, почувствовал мягкую тяжесть парного мяса.

– Килограмма три будет, – сказал Веня. – Воровать, в принципе, нехорошо.

– Да нет же! – не выдержал наконец Симон. – Это Усам тебе прислал, брат Калу. Он сказал, что водку с тобой пить очень хорошо, и мясо дал!

– Усам? – окончательно уже удивился Веня. – Разбойник Усам? Равномерное распределение материальных благ среди неимущего населения... Если так пойдет дело, он скоро возглавит новую рево-

люциднную партию... Но я готов пойти к нему в сабутыльники, если он предложит мне эту работу. Поверь мне, вождю революционной партии необходим преданный сабутыльник. Штатный!

— Он в гости звал приходиться, — сказал Симон. — Если б я был чечен, я бы тоже стал разбойником.

— Конечно, — сказал Веня. — А пока что давай сварим мясо. Или зажарим?

— Лучше зажарим, — сказал Симон.

— Шашлык я так и не научился делать, — сказал Веня. — Просто времени не хватило. Может, вызовем дух моего покойного "я" и спросим консультацию?

— Не надо! — решительно сказал Симон. — Обойдемся как-нибудь.

— Ты прав, — сказал Веня.

Разорвав пакет, он отрезал кусок сала, положил его в кастрюлю, а кастрюлю поставил на керосинку. Через несколько минут сало стало похрустывать и трещать. Тогда Веня побросал в кастрюлю крупные куски мяса и прикрыл крышкой.

— У меня осталось немного денатурата, — сказал Веня. — И я вылью его за процветание славного разбойника Усама.

— Он очень хороший человек, — убежденно сказал Симон.

— Дай ему Бог, — сказал Веня. — К тому же он иногда любит пошутить.

— Уроков не будет! — объявлял назавтра физкультурник Петух, обходя классы поселковой школы. — Мы едем на риса!

Ученики радовались бурно: на риса — так на риса, лишь бы не торчать в школе.

— Что это за "на риса"? — спросил Симон у Калу.

— Да рис собирать, — объяснил Калу. — Его, то есть, уже собрали — а что после машины осталось, надо подбирать. Серпы дадут — стебли резать... Я сейчас свалю — у меня свои дела. А ты?

— Я пойду погляжу, — сказал Симон. — Интересно же...

На риса их повезли в грузовике. По дороге половина примерно ребят разбежалась по домам, так что к концу пути в кузове стало не так уж и тесно. На рисовом поле, давно осушенном и успевшем просохнуть до окаменелости почвы, уже работали ученики железнодорожной школы — девочки и мальчики. Согнувшись, они брели по полю, подрезая серпами торчащие кое-где пучки рисовых стеблей. Петух также выдал своим ученикам серпы и, безуспешно оглядевшись в поисках тени, лег на землю, прикрыл лицо газеткой и уснул. С вечера зная о предстоящей рисовой заботе, он засиделся допоздна со сторожем Азизом и злоупотребил спиртным.

Ученики работали без охоты. Бредя по полю, они упрямо забирали к ложку, куда некоторые успели уже скрыться для отдыха. Ложок был узок, но длинен, и укрыться в нем могли без труда все желающие этого. Желали, однако, не все: несколько человек работали на совесть.

Подбредая к ложку, Симон заметил слева от себя незнакомую ему девочку. Гибко согнувшись в поясе, она стояла на прямых ногах и, низко наклоняя верхнюю часть туловища, подрезала стебли серпом. Девочкина коса, темная и толстая, соскользнув со спины, концом доставала земли и волочилась по ней, когда девочка ступала вперед. Одета была эта девочка в коричневое застиранное платье, сидевшее на ней хоть и не совсем плотно, но и не висевшее мешком. И эта незначительная, почти незаметная свобода одежды подчеркивала стройность и безупречную упругость скрытого ею тела и давала повод для приятных размышлений наблюдателя. Тело девочки, как видно, начисто лишено было угловатых и острых участков, и кости из него не выпирали нигде. Ее руки, открытые от самого плеча, словно бы вытекали из платья как спокойные белые ручьи.

Симон, не разгибаясь, прибавил шагу, а потом

свернул влево, чтобы поглядеть на лицо девочки. Он испытывал безотчетное любопытство, он сам еще толком не знал, зачем ему понадобилось изучать девочку столь пристально и с разных сторон.

Девочка была красива. Она имела округлое лицо с нежной линией маленького, чуть вздернутого подбородка и такой же маленький, но не вздернутый, а прямой плотный нос. Под широкими, вытянутыми к вискам бровями глаза ее, темно-коричневые, опущенные длинными черными ресницами, размыто темнели на белом, не тронутом загаром лице. И без того крупные, они казались еще больше от резкого сочетания тонов: матово-белого и густо-коричневого.

У самого края ложка Симон остановился. Аврора вспомнилась ему — с сожалением, и с яростью вспомнился татарин.

— Ты из железнодорожной? — спросил Симон, разгибаясь.

— Ага, — сказала девочка, также выпрямляя свое тело.

— Я сразу вижу — не наша, — несколько даже враждебно прокомментировал Симон.

— А ты из поселковой, — мягко сказала девочка, словно бы с готовностью извиняясь за то, что она учится в железнодорожной школе.

— Как это ты догадалась? — насмешливо спросил Симон.

— Ну, раз ты не ходишь в нашу школу... — сказала девочка.

— Значит, хожу в поселок, — закончил Симон. — Ну, так чего об этом говорить, если и так все ясно?

— Я просто так сказала, — девочка выглядела очень несчастной. — А я тебя знаю — ты на Казахской живешь. Правда?

— Мало ли где я живу! — уклончиво ответил Симон. — Может, я на Луне живу, а сюда только на рика приехал. — Он испытывал непреодолимое, навязанное ему мутными какими-то силами желание

говорить с этой самой девочкой, говорить безостановочно, нести всякую чушь, рта не закрывать. — Ты вот говоришь, что меня знаешь — а я вот тебя не знаю. Тебя как зовут?

— Виола, — робко сообщила девочка, подавленная словесным потоком, хлеставшим из Симонова рта.

— Гречанка?

— Гречанка...

— Тогда я тебе скажу, — без паузы, с очевидной серьезностью продолжал Симон. — Я живу ни на какой не на Казахской. Если хочешь знать, я живу в песках, у меня там белая кибитка на берегу озера, и абрикосовый сад, и верблюды есть собственный. Да что там верблюды! У меня десять верблюдов, нет, тринадцать. И финиковая пальма, на которой растут финики. Хочешь финик?

— Нет, — сказала Виола. — Пока не хочу... А где же это озеро?

— Полчаса ехать от поворота к старому мазару, — сосредоточенно заявил Симон. — Ну, может, минут сорок. Это на ишаке. А если пешком — час целый пройдешь.

— А как озеро называется? — допытывалась девочка. Теперь она смотрела на Симона без робости.

— Мираж, — сказал Симон. — И озеро, и дом, и верблюды — все мираж. Мой мираж, — он сделал ударение на "мой". — Там я живу. Когда мне надоест в этом мираже, я переселюсь в другой.

— А в гости к тебе можно прийти в твой мираж, пока ты еще не переехал? — спросила Виола.

— Можно, — сказал Симон, подумав самую малость. — Хочешь, сегодня после рисов пойдем? — и он взглянул на Виолу требовательно и дерзко.

— Ну, посмотрим,... — сказала Виола. — Почему обязательно сегодня?

— А если ночью тебя укусит скорпион? — сказал Симон сердито. — "Почему"... А почему завтра, а

не сегодня? Я, например, не знаю, что будет завтра. А ты знаешь?

— Тоже не знаю, — согласилась Виола.

— Ты даже не знаешь, как меня зовут! — укорил Симон. — А еще хочешь в мой мираж... Симон меня зовут, запомнила?

— Симон, — повторила Виола. — Красивое имя, мне нравится.

— У тебя тоже красивое, — милостиво признал Симон. — Тебе сколько лет?

— Шестнадцать исполнилось, — сказала Виола.

— Мне больше, — соврал Симон. — Так что ты должна меня слушаться. И вообще вы, — он сделал рукой неопределенный жест, — должны нас слушаться. Хватит! — Проклятый татарин маячил невдалеке, усмехался. От него разило водкой и луком, Симон чуял этот запах. Чтобы не видеть татарина, Симон пристально уставился на Виолу, и она быстро опустила глаза, не выдержав его взгляда. Тогда ему отчаянно захотелось рвануть на ней платье у ворота, разорвать, опрокинуть ее, швырнуть на землю, сделать так, чтобы колени ее вздрагивали — как тогда у Авроры...

— Давай в шесть, — сказал Симон, сглатывая слюну и гася судорогу, подступившую к горлу.

— Где? — спросила Виола, еще ниже наклонив голову.

— На углу Казахской и Амангельды, напротив столовой.

И они разошлись в разные стороны.

С рисов вернулись часов около трех.

Симон соскочил с грузовика на окраине поселка и напрямик, через поле, пошел к Вениной сторожке.

— Что, Усам еще мяса прислал? — встретил его Веня. — Так давай его сюда.

— Нет, — сказал Симон. — Я его сегодня не видал.

— Ну, ничего, — сказал Веня. — У нас еще осталось вчерашнее. Садись, я сейчас разогрею.

— Вень, — сказал Симон, ковыряя пальцем сучок столешницы. — У меня дело есть.

— Как ни странно, у меня тоже, — сказал Веня. — Правда, как всегда, не мое... Но давай сначала ты.

— Я хочу к тебе в гости часиков в полседьмого прийти, — сказал Симон.

— Можешь ко мне даже переселиться, — предложил Веня, внимательно взглянув на Симона.

— Нет, правда, — сказал Симон. — Я хочу с одной знакомой зайти.

— С той самой лярвой?..... спросил Веня и, поджав губы, покачал головой.

— Не с лярвой, — улыбнувшись, опроверг Симон. — С девчонкой одной из железнодорожной школы. Тогда улыбнулся и Веня, облегченно и поощрительно.

— Когда познакомился? — спросил он.

— Сегодня, на рисах, — сказал Симон. — Виола.

— Что именно? — продолжая улыбаться, спросил Веня.

— Так ее зовут — Виола.

— Виола, — сказал Веня. — Это прекрасно... Она что — учительница?

— Да нет! — воскликнул Симон. — Какая там учительница! Ученица она.

— А я думал, опять какая-нибудь старушка, — вскользь заметил Веня. — Но не будем говорить о том, чего нет, не правда ли, друг мой и товарищ?

— Да, — сказал Симон. — Ты же сам обещал.

— Я одобряю твой выбор за глаза, — сказал Веня, — хотя и не поздравляю избранницу... Но перейдем к моему чужому делу. Сан Саныч, мой наниматель и твой друг, пригласил нас с тобой сегодня на сайгачью охоту.

— Посадят, — сказал Симон. — За рыбалку чуть не посадили, а тут — охота.

— Ни в коем случае! — возразил Веня. — Сан Са-

ныч договорился об этом с нашим с тобой начальством: никто нас пальцем не тронет.

— А как же Виола? — помолчав, спросил Симон.

— Послушай, Симон, — сказал Веня и застучал короткими пальцами по столу. — Я, как тебе известно, шашлык жарить так и не научился — но успел узнать, что, прежде чем насаживать мясо на шампур, его следует вымочить в уксусе, выдержать. Поверь мне, это очень важно! Понимаешь?

Симон согласно кивнул головой.

— Так вот, — продолжал Веня. — Пускай Виола подождет один денек — это и ей пойдет на пользу, и тебе, между прочим, тоже.

— Я с ней уже договорился на сегодня, — сообщил Симон.

— Так она придет завтра! — выразил убеждение Веня.

— А если не придет? — тоскливо спросил Симон.

— Послушай, — сказал Веня, — ты хочешь поехать на охоту?

— Хочу, — сказал Симон.

— А привести ко мне сюда Виолу?

Симон промолчал, потому что вопрос Вени не требовал ответа: было ясно, что Симон хочет также привести Виолу, затем он и пришел сюда заранее.

— Я бы на твоём месте поехал сегодня на охоту, — заключил Веня, — потому что завтра охоты не будет. А Виола будет завтра и, если ты захочешь, послезавтра.

— Но она же может не прийти, — упрямо повторил Симон, — обидеться и не прийти!

— Правильно, — покивал головой Веня. — Но потом она тебя простит. Имей в виду, что самые прекрасные часы в человеческой жизни — это когда люди прощают друг друга. Ты этого еще не знаешь, а теперь тебе представляется такая возможность. Воспользуйся ею!

— Как? — томительно спросил Симон.

— Когда человек прощает, он становится добр, — сказал Веня. — Я ведь, как ты понимаешь, догады-

ваюсь, чего ты хочешь от Виолы. И я в этом ничего дурного не вижу. Для тебя, во всяком случае.

— А для нее? — быстро спросил Симон.

— Видишь ли, — наморщив невысокий лоб, сказал Веня, — двум людям не может быть одинаково хорошо или одинаково плохо: одному всегда лучше или хуже, чем другому. Так вот, завтра, может быть, ей будет лучше, чем тебе. А через несколько дней тебе будет куда лучше, чем ей.

— А почему это завтра ей будет лучше, чем мне? — угрюмо спросил Симон.

— Потому что у нее еще не было татарина, а у тебя уже была Аврора, — тихо сказал Веня. — Она ждет не только того, что ты. И что бы ты с ней ни вытворял, она будет видеть то, что хочет, — завтра, во всяком случае.

— А потом?

— А потом она некоторое время будет мучиться: любишь ли ты ее так же сильно, как она — тебя. Ей бы, конечно, хотелось, чтобы это было одинаково. Но она не знает, что одинаково это не бывает.

— А потом?

— А потом ты пойдешь в одну сторону, а она — в другую.

Без десяти шесть Виола пришла на угол Казахской и Амангельды, что напротив столовой. А Симон не пришел.

Возвращаясь домой, Виола почти верила в то, что Симон уехал в свой мираж наводить там порядок в белой кибитке — и вот не успел вернуться вовремя.

Она, во всяком случае, хотела в это верить — знает, почти верила.

5. САЙГАЧЬЯ ОХОТА

Тем временем старенький грузовичок шел на высокой скорости к северо-западу от Джеты-Су. На дне расхлябанного, дребезжащего всеми тремя бортами кузова помещались несколько человек: Сан Саныч, поселковый хирург Автандил Чхеидзе, Веня и Симон. Машина то и дело подскакивала со старческим скрежетом на степных колдобинах, и пассажиры ради безопасности и удобства цепко держались за пеньковый канат, специально для этой цели натянутый вдоль бортов. В углу кузова, у кабины, надежно укреплена была веревками же большая железная бочка с питьевой водой. При особо высоких скачках машины она, однако, натягивала пути и отклонялась от вертикального положения. Тогда люди, не скрывая озабоченности, косились на нее и придвигались вплотную к бортам: сорвись она, и кто-либо непременно был бы искалечен.

В кабине, помимо шофера Коли, сидел начальник склада снабжения завода буровой дроби Василий Пенкин, указывавший дорогу. Пенкин родился и вырос в этих местах, был оборотист и легок в общении

в силу занимаемой должности и мастерство браконьера-сайгачатника постиг в отдаленные времена. И, хотя организованная борьба с браконьерами была неведома в окрестностях Джеты-Су, их все же постигали иногда разочарования: уполномоченные милиционеры отбирали у них при случае туши убитых животных и ружья, либо вымогали солидные денежные взятки. Такое, естественно, могло приключиться с нарушителями охотничьих законов не в чистом поле: там милиция не показывалась. При въезде в поселок, однако, нередко устраивались засады, и, принимая во внимание малое количество автомобилей в Джеты-Су, несложно было вычислить, какая именно машина отсутствует и когда, таким образом, следует устраивать засаду.

Учитывая положение вещей, опытный Пенкин велел выезжать по старой английской дороге, и только потом, недоезжая второго пикета, сворачивать в степь. Пока грузовик ехал по поселку, Веня и Симон скрывались, спрятавшись под большим брезентом, предназначенным запасливым Пенкиным для укрытия убоины на обратном пути. В таком урезанном виде пассажиры грузовика, следующего по направлению к старой английской дороге, ни у кого не должны были вызвать подозрений. Так, во всяком случае, полагал все тот же сведущий Пенкин. Действительно, начальник геолого-разведки и поселковый хирург — ссыльный, правда, человек, вполне могли направляться в грузовике по делам службы.

Выезд в степь, судя по всему, прошел удачно, и теперь охотники мчались по кочкам степи, направляясь к населенному сайгаками и джейранами району. Под сбившимся, жестяной крепости брезентом, откуда вылезли в свой срок Веня и Симон, укрыты были съестные припасы: консервированная тушенка, хлеб и водка. Тушенки было взято всего восемь банок, да и то на всякий пожарный случай: ее должна была заменить свежatina. Ружья Сан Саныча и Автандила, нераспакованные, хранились покамест под тем же брезентом: по указанию Пенкина следовало ехать по степи

до последней усталости, затем отдохнуть пару часов, и только после того, на рассвете, приступать к охоте. С Пенкиным спорить не стали — он знал свое дело.

Время от времени грузовик выскакивал на такыр, и тогда четверо людей в кузове вздыхали облегченно и разминали, свободно вытягиваясь, затекшие тела.

В кабине же все было благополучно. Пенкин, равно любивший как саму охоту, так и ее плоды, указывал шоферу Коле:

— Ты локтями-то не махай! Баранку тоже с толком крутить надо.

Коля оправдывался:

— Да я и так... Ухабов уж больно много!

— А ты их объезжай! — посоветовал Пенкин. — За сайгаками-то ездил раньше, или в первый раз?

— Впервой, — признался Коля. — У меня даже ружья нету.

— Тебе и не надо, — сказал Пенкин. — У тебя баранка твоя — и ружье, и пушка, и чего хочешь... А долю твою тебе выделим.

— Всем поровну, что ли? — поинтересовался Коля. — Вон старик, сторож наш, тоже без ружья.

— Я старика этого знаю, — объяснил Пенкин. — Чудной старик. Он при нас будет навроде шута горохового — разговоры разговаривать, шутки шутить, разные там тары-бары, сухие амбары... Ему долю тоже, конечно, выделим, только помене чем тебе.

— А пацану? — спросил Коля от отсутствия мыслей.

— А это как хозяин, — сказал Пенкин. — Захочет — даст, не захочет — не даст. Машина-то его.

Коля был не рад, что поехал. Охота его не увлекала, а могущие возникнуть неприятности расстраивали заранее. Дорога, кроме того, была плоха, из рук вон плоха, и у Коли, по молодости лет любившего машину нежно, как внук бабуку, каждый стон и хрип понукаемого им железного аппарата отдавался болью в душе.

— Сайгак идет по такыру километров под сто, — сообщил меж тем Пенкин. — Как стадо увидим — жми прямо за ним на всю железку.

— Сто не выжмем, — с сомнением покачал головою Коля.

— Как так! — рассердился Пенкин. — Не выжмем!..
Обратно, что ль, заворачивать?

— Ну, на такыре, может, разгоним, — уступил Коля.

— Ясно, на такыре, — сказал Пенкин. — А то где ж еще?

Однообразная, серая степь окружала грузовик и, сколько бы он ни катился вперед, степь не менялась ничуть. Да, собственно, вперед он катился, или назад по степи? Степь этого не знала — она была слишком огромна для крохотного грузовика, а у шофера Коли сомнений на этот счет не возникало: он был уверен, что ведет свою машину вперед. Возвращаясь в Джеты-Су по той же дороге, он также будет ехать вперед. Таков уж Коля.

Перед самым закатом степь вдруг вспыхнула неразличимыми прежде оттенками и похорошела — но ненадолго. Вцепившиеся в землю саксауловые коряжки, похожие на собственные скелеты, напоминали теперь хоть и несчастных и замученных — но все же живых путников, бредущих бесцельно. Пески стали розовы, такыры — золотисты. Небо на востоке потемнело, а на западе из буднично-голубого сделалось вначале красным, затем золотым, а затем и вовсе зеленым, цвета незрелого яблока, и холодным. Солнце провалилось за горизонт, и в тот же миг степь погасла, стала серой и плоской, словно бы впихнули ее на ночь в пыльный мешок.

Час спустя Коля по указанию Пенкина остановил машину у кряжистого саксаулового дерева.

— Покушаем и спать ляжем, — сказал Пенкин и вышел из кабины.

Вскоре все шестеро сидели вокруг костра, в котором масляно пылали тяжелые саксауловые поленья. Гурман, как все грузины, Автандил тонко нарезал в разогретую тушенку пару луковиц. Водка была разлита в граненые стаканы.

— Ну, давайте, — поторопил Пенкин. — Со свиданьем...

Выпили, крикнули, шумно подышали над кусками лепешки.

— Ты бы, дед, рассказал нам что-нибудь такое... — предложил Пенкин, вылавливая пальцами из котелка расплывающийся кусок тушенки.

— Какое? — осведомился Веня, глядя на Пенкина скептически.

— Ну, такое, — пояснил Пенкин. — Такое-сякое.

Веня не стал спрашивать у Пенкина, какое же это, все-таки, "такое-сякое" — просто отвернулся от него к Симону, сидевшему рядом.

— Нет, ты давай рассказывай! — не отстал Пенкин. — Анекдот, что ли, расскажи. Ты ж, говорят, кого хочешь рассмешишь, с такой бородищей.

— Добрый дурак — хорошая профессия, — негромко сказал Веня, не поворачиваясь к Пенкину. — А злой дурак — это беда.

— Кто дурак-то?! — разозлился Пенкин. — Я, что ли? Я тебя по-хорошему прошу!

— Оставьте его, Василий, — резко сказал Сан Саныч. — Налейте-ка лучше.

— И то! — согласился Пенкин. — Шутки человек не понимает, а еще с бородой...

Веня взглянул на Симона, чуть заметно улыбнулся, покачал головой.

— Выпьем за наши гробы, — с подчеркнутой серьезностью предложил Автандил Чхеидзе. — Пускай деревья, из которых они будут сделаны, растут тысячу лет!

— Вот это да! — оживился Пенкин. — Вот это я понимаю! Ну, загнул!

После второго стакана Пенкин стал многословен, деятелен. Он то и дело подымался с места, ходил вокруг костра, бередил огонь. Потом, ненадолго уйдя в степь, приволок тройку крупных, со столовую тарелку, черепак.

— Коля! — позвал Пенкин, не дойдя до костра. —

Коля, ты вот здесь вот встань, сбоку от огня, и черепах этих подкидывай по одной кверху. А я их влет, понял? Только повыше кидай!

Никто не стал возражать, только посторонились за линию огня, чтобы разошедшийся Пенкин не угробил кого-либо ненароком.

— Стрелять черепах из ружья — это несерьезное занятие, — сказал Веня, отходя вместе с Симоном. — Охота ради мяса — святое дело, наши предки им не гнушались. Но и тогда, наверно, не обходилось без идиота, который на мамонтовой охоте ловил стрекоз...

Пенкин принес из кабины свою двустволку и, встав метрах в пятнадцати от костра, поднял ружье навскидку.

— Давай! — скомандовал Пенкин, и Коля швырнул тяжелую черепаху в небо. Проследив полет черепахи до высшей точки подъема, Пенкин потянул за спусковой крючок. Стукнул выстрел. Черепаха глухо ударилась о землю рядом с костром.

— Куда попал? — поинтересовался Пенкин у Коли, переламывая стволы и вытягивая стреляную гильзу.

Коля молчал, разглядывая упавшую черепаху. Чхеидзе подошел к нему: ему хотелось знать, как выглядит расстрелянная.

— Не попал! — сказал Чхеидзе, оглядев черепаху в свою очередь. — Ай-яй-яй.

— Не может быть! — не поверил Пенкин, подошедший к месту осмотра нетвердой походкой. — А ну, дайте глянуть!

Черепаха была невредима, даже нигде не поцарапана.

— Я еще кину, — предложил свои услуги Коля, неудовольствованный ходом расстрела. — Только вы лучше цельтесь!

— Кинь вторую! — сказал Веня, когда Пенкин отошел на свою позицию. — Эту надо помиловать.

— Мне все равно, — сказал Коля, беря с земли другую черепаху, лежащую на спине.

— Выше кидай! — донеслось из темноты указание Пенкина.

Коля пригнулся к земле, а потом, резко выпрямившись, зашвырнул черепаху высоко вверх. Пенкин выстрелил. Подняв сноп искр, черепаха упала в костер. Живо раскидав тлеющие поленья, Коля вытащил ее из огня, как огромную печеную картофелину.

Зрители придвинулись, исследуя обгоревшую черепаху. Она не была ранена свинцом.

— Мимо! — определил Чхеидзе. — Может, она бронированная, а, Василий?

— Он кидает плохо! — воскликнул Пенкин с отчаянием в голосе. И, размахнувшись ногой, отшвырнул черепаху в темноту.

— Завтра тоже так будешь стрелять? — спросил Сан Саныч. — Что это с тобой?

— Сейчас! — сказал Пенкин, устанавливая третью, последнюю черепаху ребром в песке. — Я ей сейчас покажу! — и, отойдя шагов на десять, опустился на колени и прицелился. Окружившие его люди молча, с азартом наблюдали за его приготовлениями. Только Веня стоял чуть в стороне, не глядел.

— Тебе это интересно? — негромко спросил он, дотронувшись до Симонова плеча и тем отвлекая его от зрелища.

— А чего ж он не попадает? — сказал Симон, отрываясь с неохотой.

— А если б он не попадал в камень? — сказал Веня и поджал губы. — Или тебе интересно, чтобы обязательно стреляли в живое?

Пенкин выстрелил дуплетом, и черепаху далеко отбросило. Ее молча поискали в темноте и нашли. Она была изрешечена дробью, из аккуратных пробоин в панцире медленно вытекала водянистая кровь.

— Так ее! — обрадовался удаче Пенкин. — Я говорил — он кидает плохо. — И, оглянувшись в поисках, что бы такое сделать для утверждения своего торжества, бросил Вене: — Чего это ты, дед, такой моченый? Сплясал бы нам, что ли, за стакан-то!

Веня сделался бел. Сунув правую руку в карман, он

подошел вплотную к Пенкину и приблизил к нему лицо.

— Еще раз разинешь пасть — зарежу, — сказал Веня протяжным шопотом. — Кишки на шею намотаю, па-
даль. Понял? — и без оглядки, неспешно вернулся к Симону.

— Бандит! — прошипел вслед ему Пенкин. — Урка проклятый, жизни от вас нет!

В кузове было холодно, и Симон долго не мог уснуть. Высунув голову из-под брезента, он разглядывал крупные близкие звезды, разложенные, как на витрине ювелирного магазина. Казалось, кто-то легонько поворачивал их, чтобы грани звезд сверкали и вспыхивали холодным кристаллическим светом — красным, желтым и голубым.

Свернувшись в калач для сохранения тепла, Веня похрапывал справа от Симона. По левую его руку беззвучно спали Сан Саныч и Чхеидзе. От остывших досок кузова веяло сухим холодом. Лежа на спине, Симон не мигая глядел в небо, и от долгого глядения на звезды ему казалось, что досчатый ящик кузова, как неуклюжая и неуправляемая лодка, мчится мимо звездных камней к неведомой ему, Симону, цели.

Потом звезды перестали казаться ему драгоценными камнями, а кузов возвратился с небес на раму грузовика: Симон вспомнил, что пообещал Веня Пенкину, если тот еще раз раскроет рот и пикнет. Обещание подействовало — Пенкин стал молчалив, держался поближе к Сан Санычу и вскоре ушел спать в кабину. А Симон, глядя на истекающую кровью, шевелящуюся в разбитом панцире черепаху, думал о том, что Веня прав: будь на месте черепахи камень, никто, в том числе и сам Пенкин, не стал бы тратить на него времени. Стрелять в камень бессмысленно. А в черепаху? Еще хуже, чем бессмысленно. Правильно сделал Веня, что врезал этому Пенкину промеж глаз, гаду такому.

Кузов снова снялся с рамы и, набирая скорость, помчался к звездам. Внизу, на земле, осталась крохотная

кабинка с крохотным Пенкиным. А звезды росли на глазах, делались огромными и светлыми, пока не слились в розовое теплое сияние.

Наступал рассвет.

Симон спал.

Стадо насчитывало пятнадцать голов.

Сайгаки шли по такыру не очень кучно, метрах в ста пятидесяти от грузовика. Стрелка указателя скорости на приборной панели машины пересекла "90" и медленно поползла дальше. Когда до стада оставалось не более ста метров, животные, остановившись как вкопанные, повернули вправо под углом девяносто градусов, а пара сайгаков, отколовшись от основного ядра, помчалась налево.

Не зная, кого гнать, Коля замешкался и сбавил скорость. Пенкин, пересевший в кузов как только было замечено стадо, замолотил кулаками по железной крыше кабины и, выкрикивая матерщину, указал высунувшемуся в окно Коле, что преследовать надо стадо, а не пару. Коля выжал газ и, описав дугу, помчался за облачком легкой пыли, в которой мелькали белые подхвостные салфетки уходящих на бешеной скорости сайгаков.

Охотники, оцепенев от напряжения погони, с ружьями в руках стояли на дне кузова. Они стояли вплотную к задней стенке кабины, цепляясь за борта и за бочку с водой. Веня и Симон держались за их спинами, чтобы не быть убитыми или ранеными, когда стадо будет настигнуто и начнется стрельба.

Впрочем, до стрельбы было еще недалеко. Вторая пара сайгаков, вырвавшись из пылевого облачка, резко взяла влево и ушла в степь. Коле теперь не требовалось указаний — он продолжал гнаться за стадом. Стадо тем временем также слегка изменило курс и приближалось теперь к гряде невысоких глинистых холмиков, отделявших один участок такыра от другого. Когда сайгаки сходу взметнулись на холмики,

Автандил Чхеидзе застонал и даже, оторвав руку от крепившей бочку веревки, схватился за голову.

Он напрасно так поступил: в следующий момент машина, не сбавляя скорости, взлетела на ближний холмик гряды, и Чхеидзе едва не был выброшен за борт. Падая на дно кузова, он сбил Веню, стоявшего позади него.

— Ружье! — закричал Сан Саныч и, изловчившись, схватил прыгающее по полу заряженное ружье Чхеидзе.

А машину продолжало трясти, и веревки, опутывавшие бочку, не выдержали. Бочка упала на бок и покатилась на лежащих Веню и Чхеидзе. Сан Саныч, Симон и Пенкин бросились к бочке, желая остановить ее. Им удалось это сделать, но удержать бочку на месте было не в их силах.

Подпрыгнув в последний раз, грузовик выскочил на такыр. Сайгаки, видно, начали уставать — они не ушли далеко, но ядро стада сократилось примерно вдвое: животные по одному, по двое уходили в степь.

Не останавливаясь, бочку приладили кое-как к задней стенке кабины, и охотники заняли свои места. Расстояние между машиной и стадом сокращалось на глазах. Коля прибавил газу, стрелки подняли ружья к плечу.

Первым выстрелил Чхеидзе — и промахнулся. Потом одновременно выстрелили Сан Саныч и Пенкин — и два сайгака, подпрыгнув особенно высоко, упали на землю и остались лежать. Потом стреляли еще и еще, и сайгаки подпрыгивали и падали, как мишени в тире. А Сан Саныч, увлекшись стрельбой и попаданиями, совсем забыл о Симоне и о своем обещании дать ему ружье — и тот так ни разу и не выстрелил, к своему большому сожалению.

Наконец, с сайгаками было покончено, и даже пылевое облачко, в котором они только что скакали, рассеялось. Всего было убито, по подсчетам охотников, шесть животных, они остались лежать там, где нашли смерть, и следовало их разыскать.

Пять сайгаков было найдено быстро и свалено в одну кучу на такыре — чтобы удобней было их потрошить совместными усилиями. Шестой сайгак как под землю провалился. Коля восьмерил по такыру, охотники во все глаза глядели кругом, но ничего не могли обнаружить. Сан Саньч решил было плюнуть и заняться поскорее пятью обнаруженными, когда Симон увидел шестого сайгака. Антилопа лежала на открытом месте, но заметить ее трудно было и с пяти шагов: желто-коричневая шкура сливалась с такыром абсолютно.

— Пошли! — позвал Симона Чхеидзе и спрыгнул на землю.

То оказалась самка, довольно крупная. Она была еще жива — дышала коротко и сильно и открыла глаза, когда они подошли. Мертвые сайгаки представлялись Симону просто мясом, завернутым в шкуру, — а эта, живая, была хороша до ужаса. Она приподняла голову от такыра и дернулась всем телом, безуспешно пытаясь подняться на ноги. С ее хоботка густыми частыми каплями падала кровь.

— Держи ее за ноги! — сказал Чхеидзе, вытягивая из чехла широкий охотничий нож с рукояткой из сайгачьего рога.

Симон потянулся с трепетом. То, что оказалось в его руках, поразило его: задние ноги сайги, мчавшейся вначале быстрее собственной смерти, оказались у копыта не толще карандаша.

— Крепче держи! — сказал Чхеидзе.

Симон сжал кулаки и напрягся, готовясь к борьбе с сайгой, но та не двигалась — только продолжала резко и отрывисто дышать.

Чхеидзе, коленом прижав голову сайги к такыру, быстрым движением вскрыл ей горло. Отворенная кровь с шумом побежала на землю, и за этим глухим шумом не стало слышно дыханья сайги. А когда кровь вся вытекла и шум прекратился, сайга уже не дышала.

И Симон выпустил из затекших пальцев задние ноги сайги, не толще карандаша.

Чхеидзе бережно вытер нож о шкуру сайги, а затем несколько раз воткнул его в песок для окончательной очистки.

И в Симона вошло воспоминание, вошло без потрясения его души, но уверенно и властно, как в собственный дом: он, Симон, втыкает свой нож в землю после того удара возле путремовских барачков. Это воспоминание не часто посещало Симона, а вот сейчас нашло к нему дорогу. Но и сейчас Симон не испытал ни жалости, ни даже сочувствия к искалеченному или убитому им человеку. Он только вспомнил, как мягко, без сопротивления вошел нож в человеческое тело. И, еще раз взглянув на мертвую сайгу, он и в ней не увидел ничего, кроме как мясо, завернутое в шкуру. Но он знал, он был уверен в том, что ноги ее, не толще карандаша, он не забудет никогда. Ноги, на которых она легко обгоняла смерть, одинаковую для всех.

— Выпотроши ее, Автандил! — сказал Сан Саных из кузова. — Мы пока тут бочку привяжем покрепче.

Точным ударом хирурга Чхеидзе рассек брюхо сайги от паха до межреберья, а затем по локоть запустил руки в образовавшуюся щель.

На такыр вывалился розово-серый мешок, довольно большой.

— Да... — сказал Чхеидзе и выпрямился.

— Что это? — спросил Симон, еще не понимая.

Чхеидзе прикоснулся ножом к мешку и вспорол его.

На распоротом мешке, как на пеленке, лежал мокрый сайгаченок. Он был покрыт желтой шерсткой, длинные его ножки, казалось, вот-вот подымут его и он сделает первые неловкие шаги по такыру. Копытца сайгаченка, не покрытые еще темной пленкой, неестественно белели.

— Здесь совершенно преступление! — несколько театральнo сказал Чхеидзе. — Едем...

Подошедший Пенкин поднял тушу сайги и, наступив ногой на волочащиеся кишки, оторвал их и забросил тушу в кузов.

Потом обернулся к Чхеидзе, все еще стоявшему над сайгаченком, и, усмехнувшись половиной лица, сказал:
— Смотри, убежит...

В это, примерно, время — может, полчасом раньше или полчасом позже — Виола подходила к железнодорожной школе. Она шла медленно, еле шла, хотя звонок к началу уроков должен был вот-вот прозвенеть. Но сегодня Виолу, ученицу примерную, это не тревожило и не трогало.

Накануне она до позднего вечера просидела, глядя на улицу, во дворе дома своих родителей. Ее звали ужинать, звали спать — она все сидела, пока не вышел отец и не увел ее в дом.

— Что с тобой? — спросила мать настороженно и ласково.

— Ничего, — сказала Виола и ушла в свою комнату.

Отец с матерью довольно долго шептались за тонкой стеной, но Виола, занятая своими мыслями, не прислушивалась к их шепоту.

Она увидела дорогу к старому мазару, как только легла в постель и закрыла глаза. Мираж голубел слева от дороги, в полчасе езды. Она пошла к нему по степи почти крадучись — боясь, что он исчезнет. Мираж не исчезал, но она, идя вперед, не приближалась к нему ни на шаг. Тогда она остановилась, чтобы получше разглядеть его. Он был аккуратно застроен белыми греческими домиками с двускатными крышами, в палисадниках перед домиками пестрели красные и желтые цветы, а в садах росли апельсиновые и оливковые деревья. Виола никогда не видела таких деревьев, но отец рассказывал ей о них, и теперь она была уверена, что это они и есть. Над одним из домиков покачивала кроной высокая пальма, и Виола догадалась, что в домике живет Симон, а пальма приносит финики. И, догадавшись, Виола побежала вперед по степи, но бежала она словно бы на месте, потому что мираж не приближался и теперь. Потом она увидела Симона, который шел к ней от своего домика — но и он шагал на

месте, и это было так плохо и обидно, что Виола прижалась лицом к подушке и заплакала тихонько, чтобы родители не проснулись и не догадались ни о чем.

Подходя к школе, Виола с безразличным видом поглядывала по сторонам: Симон, наверно, пришел и ждет ее здесь. Но Симона нигде не было видно, и она сердилась на него за это, и сердце ее на миг останавливалось — когда она думала о том, что он исчез навсегда и больше не появится. Она ругала Симона всеми плохими словами, какие знала — но имя его при этом она произносила ласкательно. Она знала, что если Симон не появится здесь, у школы, к концу уроков, она пойдет к шести часам на угол Казахской и Амангельды и будет ходить туда каждый день до самой смерти. И смерть представлялась ей желанной и неотвратимой.

Возвращение в поселок прошло без осложнения.

По настоянию Пенкина Веня и Симон перед самым въездом в поселок забрались под брезент, закрывавший сайгачьи туши, и лежали там, пока Коля не затормозил у Вениной сторожки.

— Подбросить тебя домой? — спросил Сан Саныч, когда Веня спрыгнул на землю.

— Нет, я здесь останусь, — решил Симон.

— Ты домой все же зайди, — сказал Сан Саныч. — А то мать, наверно, уже беспокоится.

— Зайду, — сказал Симон. — Спасибо.

Им дали целого сайгака, и Веня, не успев грузовик отъехать, сел сдирать с него шкуру.

— Ну, я побегу, — сказал Симон, помедлив самую малость.

— В железнодорожную школу? — справился Веня, не отрываясь от работы.

— Может, у них сегодня шесть уроков, — объяснил Симон. — Тогда я еще успею.

— Хочешь знать мое мнение? — неумело, но со старанием орудуя ножом, спросил Веня. — Пойди лучше к шести часам туда, где ты с ней вчера договорился

встретиться. А пока что возьми вон там, в ящике, деньги, сходи в магазин, зайди домой и возвращайся. Вернее, сначала зайди домой, а потом уже в магазин. Мы ведь, как-никак, должны приготовиться.

— Думаешь, она придет? — спросил Симон.

— Думаю, что придет, — сказал Веня. — Рискни.

— Рискни! — повторил Симон. — А если она не придет, что тогда?

— Тогда ты пойдешь к ней в школу завтра, — сказал Веня. — Смотри, не спеши, а то опять обожжешься, а это тебе ни к чему.

— Сейчас, может, повезло бы, — проворчал Симон. — Может, у них там шесть уроков...

— Везет счастливым, — вытирая окровавленные руки о сайгачью шкуру, сказал Веня. — Мы с тобой, как я понимаю, не вправе причислить себя к этой категории людей, а? Терпение, друг мой и товарищ Симон! Пускай пятнадцатилетние дети делают глупости.

Симон взглянул на Веню сердито.

— Тебе, по моим расчетам, сейчас лет около двадцати пяти, — объяснил Веня. — Вчера было двадцать четыре, а сегодня уже двадцать пять. Когда на твоих глазах из такой вот красавицы, — он с неожиданной злостью пнул ногой лежащую перед ним тушу, — вываливается сыночек, это ведь в один день не укладывается.

Когда без малого шесть Симон подошел к перекрестку улиц Амангельды и Казахской, Виола уже ждала его там.

6. ВИОЛА

— Виола! — окликнул Симон, подходя к ней.

Она остановилась, обернулась.

— Ах, это ты... — сказала Виола. — А я тут как раз шла.

— И я, — сказал Симон. — Мы ж договорились в шесть — я и шел.

— Как же договорились! — с горячей укоризной, но отчасти и удивленно сказала Виола. — Ты сказал: вчера, в шесть.

— Вчера? — удивился Симон. — Но вчера уже нет и никогда не будет! Зачем ты говоришь о том, чего нет?

— Ты хитрый! — несмело улыбнулась Виола. — Ты же сам сказал: вчера.

— Как я мог договариваться с тобой на вчера, — твердо возразил Симон, — когда вчера уже прошло. Я еще с ума не сошел.

— Ну, честное слово! — уже обороняясь, а не наступая, сказала Виола. — Я ведь тоже не сумасшедшая!

— Ну и ну, — сказал Симон и покачал головой, точно как Веня. — Разве я сказал тебе, что ты сумасшедшая? Сказал или не сказал?

— Не сказал, — признала Виола после недолгого колебания.

— Тогда пошли! — сказал Симон и шагнул вперед. Он был уверен, что Виола пойдет за ним.

Он почувствовал спокойную, стойкую уверенность, как только увидел ее на перекрестке — как будто бы то, что должно было произойти между ними, осталось уже позади. Увидев ее, он вспомнил Аврору и усмехнулся про себя. Аврора! Как он тогда унижался, дрожал как дурак больной — и получил татарина в окне. Спасибо татарину, спасибо. А Аврора все же была... а, чего вспоминать! Интересно, Виола умеет целоваться, как та — как будто тебя проглатывает до самых пяток? Посмотрим, посмотрим. Главное, чтоб она не ныла про вчерашнее — не пришел, мол, и так далее, — и тогда все будет в порядке. А еще главное — чтоб пошла к Вене, а не сказала, что ей уроки надо делать или что мама ее в магазин послала. И еще главное... Все сегодня главное, что там говорить. Только спокойно, а то опять татарин будет или грек. Никаких гуляний, чтоб они подошли. Веня правильно все говорит. Как хочется за руку ее взять! Нет, ни за что. Аврору он уже брал за руку. А татарин что с ней делал? За руку, что ли, брал?

Виола шла за ним.

— Вообще-то меня мама в магазин послала, — сказала Виола неуверенно.

— Мы на обратном пути зайдем, — сказал Симон, не оборачиваясь и стараясь сделать так, чтобы голос его не звучал просительно. Главное — это дойти с ней до Вени.

Аврора! Как она его тогда взяла за голову, за уши — и к себе, близко, и он чуть не умер, даже ноги отнялись. А потом: "Ты меня должен слушаться, я тебя вдвое старше. Твоей маме сколько лет?" У, гадина! Он ей сейчас покажет, сколько лет, — только бы до Вени дойти. Интересно, что Виола будет делать, когда Веня пойдет погулять? А сам он что будет делать?

Когда он представил себе, что он будет делать, озноб

окатил его с головы до ног, и Симон остановился, ожидая, что будет дальше. Он ждал, забыв о Виоле, появления тех бесчисленных маленьких существ, которые мчатся то ли на крыльях, то ли на колесиках по всему телу, которые вырываются из самой середины груди и, промчавшись, возвращаются обратно, оставив за собой опустошенность, покой и мгновенное счастье. Он почти забыл о них, об этих крохотных диких существах, появляющихся по собственной воле. Они без спросу хозяйничали в нем, когда он прикасался к Авроре — к ее руке или, лучше, боку. Они должны прийти и сейчас, вырваться ордой из своего отечества там, в груди.

Но они не приходили.

— Что с тобой? — спросила Виола, подойдя и положив ладонь на его руку повыше локтя.

— Ничего, — подождав еще немного, сказал он. — Просто так... Ну, идем.

Они вышли на поле. Воздух был густ и тепл неверным предзакатным теплом. У Виолы соскочила босоножка, и она остановилась и, прыгая на одной ноге, поправляла туфлю.

— Ты чего? — спросил Симон и, не дожидаясь ответа, шагнул к Виоле и поддержал ее под руку. Она наконец надела босоножку и, встав на ноги, благодарно моргнула ему. Он, однако, не выпускал ее руки, смотрел на нее пристально, как бы желая не пропустить знак согласия и поощрения, но она не подавала его, глядела потерянно и вопросительно. Тогда он, решившись, быстрым движением взял ее ладонями за голову, взял крепко и так же быстро прижал к ее лицу свое. Губы ее оказались сжатыми, но не плотно, и он разъединил их, и она была послушна. Когда он разъединил, она покачнулась, и он для устойчивости и удобства обнял ее. На миг прикоснувшись к нему животом, она отпрянула, удерживаемая лишь его руками, сомкнувшимися на ее спине. Так они стояли, закрыв глаза, — он прямо, она — изогнувшись в поясе, и

продолжали свой поцелуй. Ему вдруг почудилось, что кто-то здесь есть, кто-то смотрит на них — и он досадливо открыл один глаз. А ей сейчас, наверно, ничего не слышалось, и ничего ей не чудилось. Глаза ее были закрыты, она словно бы спала, обняв руками его шею. Если бы он разомкнул руки, она упала бы на землю и осталась лежать.

Он чуть повернул голову и — щека к щеке — прошептал:

— Пойдем...

— Ага, — сказала она.

Теперь они шли рядом, он обнимал ее за плечи. Он чувствовал ладонью неспелую округлость ее плеча, ее высокое бедро прикослось к его бедру — а те маленькие существа все не приходили, и он с горечью и грустью почти перестал ждать их, как будто они умерли, а новые уже не появятся никогда. И от этого однозначного "никогда" ему было отчаянно жалко себя и жалко Виолу. Он обнял ее покрепче, как обнимают в беде дорогого человека или какой-нибудь незначительный, на чужой взгляд, предмет — лишь бы разделить с кем или с чем-либо свою собственную беду, переполняющую и требующую новое место приложения. А Виола в ответ на его ласку опустила голову ему на плечо, и так они шли, хотя поле было неровно и идти так им было неудобно.

Из трубы Вениной сторожки отвесно подымался прозрачный голубой дымок.

— Мы сюда? — спросила Виола, не подымая головы с Симонова плеча.

— Да, — сказал Симон. — Здесь мой друг живет.

— А сколько ему лет? — спросила Виола.

— Сто, — сказал Симон. — Нет, двести.

Веня варил мясо. Из щели между кастрюлей и крышкой бил вкусный пар.

— Вот, варю мясо, — сказал Веня, когда они вошли. — Здравствуйте и садитесь.

Сторожка была выметена и прибрана. На топчане, на дырявом матрасе, лежал чистый мешок из-под

сахарного песка. На столе, застланном газетами, помещались две банки консервированной в томате рыбы, кулек конфет, бутылка водки и бутылка вина. Больше там ничего не было.

— Может, посуду помыть? — предложила Виола, не увидевшая на столе ни тарелок, ни вилок.

— О, посуда, — сказал Веня, подхватывая кастрюлю лапами пиджака и ставя ее на стол. — У нас нет посуды, которую стоило бы мыть. Один мой приятель, киргизский академик, говорил: "Если хочешь быть сыт, не бойся испачкать руки". Печальная поговорка, но точная... Тебе, Виола, мы все-таки дадим мисочку.

— А вы как же? — спросила Виола.

— А мы так! — Веня щелкнул пальцем по кастрюльному боку.

— Я тоже так хочу, — сказала Виола. — Можно?

— Конечно, можно, — сказал Симон. — Все можно.

— Кроме того, чего нельзя, — поправил Веня.

— А чего нельзя? — спросила Виола.

— Если бы мы это знали точно! — сказала Веня и пожал плечами. — Нам кажется, что раз мы хотим — следовательно, нам можно. Не зря же нам хочется, в конце концов! Мы без труда убеждаем себя в том, что мы правы. И стараемся сделать, что хотим. А потом выясняется, что как раз этого нельзя было делать.

— Лучше сделать, что хочешь, а потом даже немного об этом пожалеть, — сказал Симон, — чем думать "можно" или "нельзя" и так ничего и не сделать. Ты же сам говоришь — никто не знает точно, что такое "нельзя"!

— Я знаю, что такое "не велят", — негромко сказал Веня. — Может быть, ты прав, Симон. А я просто слишком близко привык ставить чужое "не велят" к собственному "нельзя", вот они теперь и слились в одно. В тебе этого пока еще нет, слава Богу.

Виола слушала их, переводя взгляд с одного на другого.

— Не будем морочить Виоле голову, — сказал Веня, придвигая к себе бутылку. — Она хорошая девушка.

Будет она знать, что можно, а чего нельзя, или не будет — счастливей она от этого не станет. А она сейчас почти счастлива. Так вот, пытаться разубедить ее — этого наверняка нельзя делать... Давай кружку, друг мой и товарищ, а стаканы Виола пускай все-таки сполоснет назло киргизскому академику.

Веня налил себе в кружку и, не выпуская бутылки, взглянул на Симона вопросительно.

— Я водки выпью, — сказал Симон, — а Виола — вина.

Виола согласно кивнула головой и спросила:

— А оно очень крепкое?

— Нет, — сказал Симон. — Так, компот.

Они сидели на топчане рядом — Симон и Виола, а Веня — против них. Симон и сам не знал, чего ему больше хочется: остаться с Виолой прямо сейчас или посидеть еще с Веней. Он был рассеян, через фразу прислушивался к Вениному разговору с Виолой. Он думал над тем, что ему предстоит сделать, и ему вдруг становилось на миг страшно до похолодения рук. Тогда он прихлебывал из своего стакана, вставлял слово-другое в разговор и вновь умолкал, задумывался. Он решительно не знал, с чего ему следует начать, и это угнетало его. Тем не менее ему все больше хотелось, чтобы Веня наконец ушел — и тогда придется что-нибудь предпринять, не сидеть же ему сложа руки. Он скажет ей... что же он ей скажет? Что в таких случаях говорят — откуда ему знать? А молча тоже, наверно, ничего не получится. Он испытывал внутри себя неприятную, назойливую суету, он начинал злиться на Виолу, которая могла разговаривать с Веней как ни в чем не бывало. Он дал бы многое, чтобы вернуть тот день на рисовом поле и пройти тогда мимо Виолы своей дорогой, но отдал бы все — лишь бы она теперь не ушла. Он отхлебнул еще из своего стакана и прислушался к разговору.

— Нет, у нас в Крыму дома строили каменные, — услышал он Виолу, — мы так всегда жили, не то что здесь.

Какое это имеет значение, с неприязнью подумал Симон. Какие там, к черту, каменные дома! Что ей — говорить, что ли, больше не о чем? И Веня тоже — спрашивает! Только с толку ее сбивает, больше ничего. Пора кончать. Пора начинать. Хватит.

Он отодвинул от себя стакан, поглядел на Веню.

— Засиделся я с вами, — сказал Веня и поднялся из-за стола. — Пойду проверю склад...

Вот оно, наступает.

Сжав зубы до ломоты, до боли сцепив под столом пальцы рук, Симон глядел, как Веня, выходя, тщательно и плотно прикрыл за собой дверь.

На дворе давно уже стемнело. Обойдя дом, Веня вышел к складу и, постелив ватник, прилег. Окно дома, освещенное изнутри, желтело метрах в двадцати. Заляпанная консервами газета на столе, дерюжный мешок на топчане. Свадьба. Самый главный день в жизни — если на это время забыть о дне смерти.

А у него как это было?

Свадьба. Пятьдесят гостей не умещаются в доме, поэтому столы накрыты в саду. Маленький оркестр играет вот это: "та-та-ра-ра". Фаршированная рыба в больших овальных блюдах. Родственники жениха. "Вы навсегда запомните этот день, день вашей свадьбы. Горько!" Гументаши, печенье с корицей. Родственники невесты. Но быстрее, быстрее! "Будьте счастливы. Горько!" Пора гостям расходиться — ведь сейчас, сейчас он станет мужчиной, мужем, хозяином дома! "Посидите, дорогие гости, куда же вы? Еще так рано!" Расходитесь, Бога ради, не подумайте, что вас удерживают всерьез. "А компот? Вы ведь еще компот не попробовали!" Не пробуйте компот, мехитонес, в нем ничего нет особенного. Дрянной компот, нечего на него и время тратить. Сейчас, сейчас... Он и она, они ждут друг друга со смущением и бесстыдством, а их ждет широкая двуспальная кровать, застланная новой хрустящей простыней. Почему свадьбу устраивают накануне этой ночи, а не после нее? Расходитесь, доро-

гие гости, имейте совесть! Спасибо, спасибо, спасибо... В спальне темно, и не надо зажигать свет. Как много надевают на себя люди всякой одежды, особенно в торжественные дни! Вот сейчас... Ты не боишься? Я не боюсь! Иди ко мне. Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю...

Нет, не так все было.

Просто в соседнем домишке жила семья то ли инженера, то ли врача, и была у них домработница. И еще была у инженера то ли врача большая собака, и это тоже довольно важно. А как звали работницу, он не помнит, и это совсем не важно. Он увел эту самую домработницу, как ее там звали, в лесок, который начинался тут же, за домами. Работница, между прочим, была нехороша с собой, но молода, хотя и куда постарше Вени. Он увел ее в лесок, а она говорит: "Меня хозяева скоро хватятся. Только ты, смотри, осторожней..." Он хотел было сказать ей что-нибудь такое приятное — но тут передумал, просто лег на нее, и она сама все стала делать, потому что, наверно, времени у нее было немного. Он опомниться не успел от такой спешки и от всего, что она с ним делает, — и вдруг собака к ним подбегает, большая собака, и хозяин, будь он проклят, инженер этот, зовет из-за деревьев: "Рекс, Рекс!"

Вот какая у него была свадьба.

Хорошо, что успел убежать и собака не загрызла...

Так что дерюжный мешок — это, в сущности, не так уж и плохо. Мужчинами на нарах становятся — не в небесах. Только вот свет они что-то слишком долго не гасят.

Симон сидел сложа руки, пока Виола, пересевшая после ухода Вени с топчана на стул, многословно и безостановочно говорила о каменном домике в Ялте, где жила до ссылки ее семья. Симон не слушал. То, что Виола пересела, расстроило и обидело его.

— А когда твой друг придет? — услышал он Виолу. — Куда он пропал...

— Ла. — сказал Симон и тяжело, словно бы тело его было налито чугуном и свинцом, поднялся с места. Он знал, что он будет делать. Раз она пересела от него подальше и несет всякую чепуху, не закрывая рта, а теперь еще спрашивает, куда Веня девался, — значит, пора

Он обогнул стол, подошел к сидящей Виоле сзади. Опустил руки ей на плечи, нагнулся и, не медля, немного повернув её к себе, потянулся к ней лицом.

— Не надо! — сказала Виола.

Но он уже нащупал, поймал губами ее губы, и она не сделала ничего такого, чтобы вырваться и освободиться. Он стоял, неудобно нагнувшись над ней, и руки его соскользнули и легли на ее грудь. Она вздрогнула, напряглась — но он держал крепко, прижимая ее к спинке стула, и тогда она еще теснее, тесно до боли и до крови, прижала свои губы к его губам. Больше, казалось, она уже ничего не могла ему дать — и вот все без остатка вложила в это долгое и жестокое прикосновение.

Он мямл, разминал ее грудь, и она, выгибая спину, шла навстречу его ладоням. Приоткрыв глаза, он увидел, что ворот ее платья расстегнут. Быстро, не давая ей пошевелиться, он сунул руки в ворот платья и, обрывая пуговицы, уместил в ладонях и сжал податливо-упругие, изумительные теплые груди Виолы. Она простонала что-то, попыталась, лишенная возможности сказать свое "не надо!", повести головой — но он, не выпуская ее губ, не позволил ей этого делать. Тогда она подняла руки и, поверх платья, положила их на его ладони.

А он, почти утратив ощущение собственной тяжести, боясь, что ноги не удержат его, что он сейчас упадет и придется выпустить ее хотя бы ненадолго, потянул ее вверх и, толкнув стул коленом, отбросил его.

— Не надо! — сказала Виола, на миг освобожденная. — Прошу тебя, ну, не надо!

Но он рывком повернул ее к себе, и прижал, и почувствовал ее живот своим, и ноги ее — своими. Она

отпрянула от него, как тогда в поле, а он вдруг резко отпустил ее и, протянув руку, нащупал на стене выключатель. Свет погас.

Свет погас. Ну, что ж, наконец-то свет погас! Хорошо, что погас. Пусть мальчик получит свое. Не все ли равно — чуть раньше, чуть позже. Но если он так хочет — пускай будет сейчас. Тем более, сейчас у него есть мешковина, и топчан, и сторожка, в которой можно погасить свет. И хорошая девушка, которая, надо думать, не говорит ему "меня хозяева скоро хватят-ся". Как ему хочется, его мальчику, поскорей освободиться от последнего, что удерживает его в клетке пятнадцати лет, в клетке детства. От детства у него только и осталось, что скорлупа, клетка, больше ничего нет. Сейчас, по его соображением, он разрушает последний мостик, соединяющий его с детством. Так он хочет, так надо. Сейчас он входит в мир взрослых людей. А за чей счет входит — над этим он не задумывается. Хоть бы он был с ней поласковой — ей ведь оставаться в девчонках. Мир взрослых людей! Дал бы Бог, чтобы ему, его мальчику, не пришлось в этом мире ненавидеть и бояться собственного лица, потому что страшней этого, наверно, ничего не придумаешь. Дай ему Бог! Ведь сейчас, как-никак, наступают для него минуты, которые он не забудет до конца. Лучше, конечно, чтоб была фаршированная рыба и двуспальная кровать. Или, может, не лучше — лучше так, как оно есть? Пожалуй, этому мальчику двуспальная кровать ни к чему.

Сидя на своем ватнике, Веня глядел на черный прямоугольник погасшего окна. Жалко, что люди устроены, как камни. В двадцати шагах Симон открывает самого себя, и мир, и вселенная для него не существуют, потому что сейчас он сам — и мир, и вселенная. Даже Виола, эта девушка, сейчас не существует для него — она лишь незначительная частица того мира и той вселенной, которую он, открывая, вместил в себя. А Веня сидит в этой вселенной на своем ватнике, двадцать

шагов отделяют его от величайшего чуда — и он не испытывает почти ничего, кроме далекой грусти по себе. А будь он в двух шагах от этого чуда — разве бы что-нибудь изменилось, разве он хоть на грош стал бы сопричастен необъемлемому величию происходящего? Ну, может, его далекая грусть по себе сделалась бы немного ближе... Люди, как камни, большие и маленькие камни.

Пусть его мальчик получит свое первое чудо, опущенное ему. Что с ним будет дальше, кто знает? А что будет с ним самим, с Веней? Смерть? Не важно, как это называется. Не будет ничего, как и сейчас уже ничего нет. Просто он перейдет из одного ничего в другое ничего. Жаль, там не будет его мальчика, наполняющего его нынешнее ничего своей жизнью, которой пока хватает на двоих.

Дай ему Бог.

Свет погас.

Виола стояла у стола лицом к Симону, низкий ворот ее платья был распахнут. Помедлив чуть, Симон протянул к ней руки и, оттянув ворот к плечам, одним резким, длинным — до пола — движением сдернул с нее платье.

— Не надо! — сказала Виола и, пряча наготу, шагнула к Симону и прижалась к нему, теперь уже вся, всем телом. — Прошу тебя, не надо!

Симон испытывал легкость, голова у него кружилась. Вот она, Виола, перед ним. Она просит его: "Не надо!", а он ее не просит ни о чем. Не надо? Ха, не надо! Татарин маячил вблизи, и теперь от него не разило ни луком, ни водкой. Татарин, подлец, знал, что делал. Он ведь тоже ни о чем не просил — а та гадина просила. Все они, что ли, просят. "Не надо!"

Он схватил Виолу за плечи, толкнул к топчану. Прыгающими руками, ломая ногти, расстегнул ремень и, опрокидывая Виолу, прижимая ее к мешку, сбросил брюки до колен.

Что дальше? Дальше ему следует ерзать, как тому

татарину. Это хорошо, приятно, но он ожидал куда большего. Ах, да. Ее ноги должны быть раскнуты, если только это имеет значение. Вот так.

И ему сделалось тепло и горячо, и дышать ему стало нечем.

— Не надо! Что ты делаешь?! Больно!

Ну, вот. Теперь все. Это все? Неужели все? А колени, ее колени! Они должны подрагивать, они должны. Еще раз, еще. Значит, это оно и есть?

И вдруг он почувствовал, как его медленно накрывают плотным и легким плащом, что он один в этом плаще, один во всем мире и во всей вселенной и нескончаем, как они, что нет никакой Виолы, что он обнимает самого себя. А потом это прошло, так же медленно, как наступило. И он не знал, сколько минуло времени.

Он увидел Виолу, лежащую с закрытыми глазами. Испытывая великую благодарность к жизни, не зная, как выразить ее, чтобы она из него вышла в эту жизнь и не принадлежала скрытно ему одному, он наклонился к лицу лежащей и сказал, и выдохнул:

— Я тебя люблю!

Прямоугольник окна вспыхнул желтым светом, мутно осветившим захламленный двор.

Ну, вот, значит, и все. А может, нет? Может быть, и нет. Что они там сейчас делают? Что вообще в таких случаях делают? Плачут, молчат? Смеются? Нет, уж во всяком случае, не смеются. Не знают, наверно, что делать. Надо или спать, или прощаться — но этого они еще не знают.

Подождав минут десять, Веня, сильно топая по ступенькам, поднялся на крыльцо. Покашляв и повозившись у двери, он вошел наконец в дом.

Симон сидел на стуле, Виола — за столом, на топчане. Платье ее было разорвано по шву от ворота до плеча. Виола и не взглянула на вошедшего, а Симон, обернувшись, улыбнулся ему довольно-таки независимо.

— Что-то вы тут без меня ничего не ели, — проворчал Веня. — Выпей немного вина, девочка, и не обращай внимания на этого босяка. А ты, босяк, будешь пить?

Он налил всем троим и выпил, не дожидаясь.

— Дети, — сказал Веня. — Ладно, дети. Будем считать, что меня здесь не было и сейчас нет. У тебя есть бабушка? — вдруг обратился он к Виоле.

Вопрос требовал ответа, и Виола взглянула на Веню осмысленно.

— Нет, — сказала Виола. — Она умерла уже давно.

— Так вот, допустим, что я твоя добрая бабушка, — серьезно, даже немного сердито сказал Веня. — Во-первых, не случилось ничего страшного. Топиться, вешаться и резаться тебе не надо. Во-вторых, погляди на этого грубияна и босяка — ему очень хочется, чтобы ты на него поглядела. — Виола медленно повернула голову к Симону, глядевшему на нее. Встретив ее взгляд, Симон пересел на топчан, взял Виолу за руку под столом. — И, в-третьих, — продолжал Веня. — Платье твое, как я вижу, слегка разошлось по шву. Твоя мама может подумать Бог знает что. Папа поверит, что ты зацепилась за гвоздик, а мама ни за что не поверит. Верно я говорю?

Виола улыбнулась вымученно.

— Давай сюда платье! — потребовал Веня.

— Как?! — Виола инстинктивно прикрыла рукой прореху на плече.

Веня, поднявшись, снял с полки керосиновую лампу и достал из фанерной тумбочки катушку ниток с вколотой в нее иглой.

— Я зашью! — сказала Виола.

Веня не слушал.

Подойдя к двери, он обернулся к Симону и сказал, грозя пальцем:

— Смотри мне! Не смей больше рвать на моей внучке одежду! Выкинь мне это платье на крыльцо. И веди себя прилично!

И закрыл за собой дверь.

— Дай мне твою куртку, — сказала Виола, когда дверь закрылась. — И отвернись.

Стянув платье через голову, она надела куртку и села за стол против отвернувшегося Симона.

— Уже? — спросил Симон.

— Да, — сказала Виола и бросила ему через стол комок платья. Он взял его и вышел к Вене.

Веня сидел на ступеньке крыльца, рядом с ним ровно горела керосиновая лампа, освещавшая его голову снизу и чуть сзади. Борода почти не была видна в этом свете.

”Как он все-таки похож, — подумал Симон, — даже страшно. Венька. Ёська... Венечка”.

— Вот, — сказал Симон, протягивая Вене платье и опускаясь на ступеньку.

— Ты что, — сказал Веня, — думаешь, сделал уже самое главное? Напрасно, друг мой. Это каждый дурак умеет. Если б там сейчас была другая, — он кивнул в сторону двери, — я бы тебе слова не сказал. Та твоя лярва татарская без тебя бы управилась, будь уверен.

— Она была не татарская, — усмехнулся Симон. — Она русская.

— Замолчи! — прикрикнул Веня. — Иди к ней и скажи ей что-нибудь. Что-нибудь говори ей, чтоб она не думала о том, что было! Ты понимаешь? Иди!

Симон сидел. Он не знал, что говорить Виоле, ему было спокойно сидеть здесь, с Веней.

— Тебе хорошо? — спросил Веня, поднеся нитку к ламповому стеклу и пытаясь вдеть нитку. — На, вдень!

— Не знаю, — сказал Симон. — Было хорошо.

— Было... — повторил Веня. — Ей тоже было хорошо, а теперь плохо одной. Ну, иди! Ты думаешь, я от нечего делать сижу здесь и зашиваю твою дырку?

— Это не моя, — сказал Симон. Ему не хотелось уходить.

— Нет, твоя! — сказал Веня. — Сделал свое дело — и готово? Смотри, пожалеешь потом — нет; не об этой

девчонке, о себе. Иди и докажи, что ты стал мужчиной. Успокой ее, ей хуже, чем тебе!

Симон поднялся, шагнул к двери.

— Успокаивай ее словами, — сказал Веня вслед Симону. — Ей пока больше нельзя.

— Ладно, — сказал Симон. — Я иду... Может, она сама зашьет?

— Бабушка зашьет, — сказал Веня. — Она тебя ждет, а не меня. Ну!

Легонько подтолкнув Симона к двери, Веня поправил фитиль и, пожав плечами, развернул платье на коленях. Женское платье он зашивал впервые в жизни, надо отдать ему должное.

7. ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

В начале декабря, накануне выходного дня, Ефима вызвали в РО МГБ, к Габидулину.

Мира места себе не находила: почему Ефима, почему не ее? Ответить на этот вопрос было невозможно, и Ефим успокаивал мать:

— Через несколько часов узнаем. А пока голову ломать бесполезно.

Ефим был взволнован. Почему, действительно, его? Почему велено ему явиться в восемь часов вечера, когда все уже закрыто? Что они от него хотят?

Вечера дождались с трудом.

— Вы сидите дома, — сказала Мира Симону и Жене. — Я пойду с Фимой.

Миру, однако, в РО МГБ не впустили.

— Ты жди, — велел Мире дежурный. — Сына твоего вызывали.

— Держись, сынок... — только и успела сказать Мира.

Габидулин сидел за столом в своем кабинете, что-то писал. К большому своему облегчению Ефим не обнаружил в комнате Зубана.

— Садитесь! — не поднимая головы от стола, сказал Габидулин. Он продолжал писать, и Ефим с удовлетворением отметил, что делает он это с напряженным старанием, разве что язык не высовывает от усердия.

— Ну, как устроились? — спросил наконец Габидулин, закончив свое дело и спрятав бумаги в сейф. Оттуда же, из сейфа, он вынул тонкую книжицу и положил ее на стол, титулом книзу.

— Неплохо, — недоумевая и настораживаясь, ответил Ефим. — Вы имеете в виду жильё? Мы снимаем комнату у Утюговых.

— Я знаю, — сказал Габидулин. — Вы курите? — и протянул Ефиму пачку "Казбека".

— Спасибо, нет, — сказал Ефим.

— Правильно делаете, — поощрил Габидулин. — А я вот никак не могу бросить. Работа, знаете, напряженная.

— Да... — сказал Симон, ничего не понимая.

— Жалоб, значит, у вас нет, — сказал Габидулин, немного помолчав.

— Мы жаловались, — сказал Ефим. — Писали в МГБ, в Прокуратуру.

— Я знаю, — сказал Габидулин. — Пишите, пишите, вы имеете право... Вы ведь, кажется, учились в институте до ссылки?

— В университете, — поправил Ефим.

— Политические дисциплины изучали?

— Изучал, — сказал Ефим.

— Успешно? — требовательно поинтересовался Габидулин.

— "Отлично" у меня было, — сказал Ефим, мучительно соображая, куда клонит начальник РО МГБ.

— Очень хорошо! — обрадовался Габидулин. — Знаете, конечно, этот труд? — и, подняв со стола книжицу, показал ее Ефиму из своих рук.

— "И. В. Сталин", — прочитал Ефим на обложке. — "Проблемы социализма в СССР".

— Знаю, — сказал Ефим.

— Прекрасно! — сказал Габидулин, откладывая книгу. — А как у вас с питанием? Огород не завели? Или кур?

— Нет, — сказал Ефим.

— Ну, что ж, — решил Габидулин. — Можно, пожалуй, выделить вам участок под огород.

Ефим промолчал. Он не знал, с какой стати Габидулин предлагает им огородный участок — предел мечтаний каждого джеты-суйского ссыльного.

— Так вот что, гражданин Ашкенази, — снова взяв книжицу в руки, поднялся из-за стола Габидулин. — Так как вы успешно осваивали политические дисциплины в вашем институте, я доверяю вам составить конспект труда товарища Сталина.

— А зачем? — спросил Ефим, также вставая. — Я ведь исключен из университета.

— Знаю, знаю! — сказал Габидулин, кривя лицо. — Я сам очень занят, понимаете ли. Я внимательно изучил труд товарища Сталина, но мне необходимо представить конспект в соответствующие организации... В общем, давайте, работайте! И об этом, — Габидулин легонько потряс книжкой, — советую не распространяться. Для вашей же пользы.

— Понятно, — сказал Ефим. — Когда вам нужен конспект?

— В понедельник, — сказал Габидулин. — И пишите красиво.

— Завтра к вечеру будет готово, — сказал Ефим.

— Времени, понимаете, в обрез, — уже без раздражения объяснил Габидулин. — Вот я и решил доверить это дело умному человеку.

— Понятно, — сказал Ефим. — Книжечку можно?

— Возьмите, — Габидулин протянул ему книжку. — Я в долгу не останусь. Только между нами — ясно?

Они возвращались по черным улицам, тихо смеялись.

— Это хороший симптом, — сказала Мира. — Че-

сеир пишет конспект начальнику РО МГБ! И какой конспект!

— Да! .. в тон матери шутливо подхватил Ефим. — Куда идет Россия?.. Но обнадеживаться особо нечего — просто он неграмотный мужик, вот и все.

— Но год назад это было бы невозможно, — возразила Мира.

— Пожалуй, — согласился Ефим. — Что-то, ясно, происходит, и они здесь это чувят. Но что от этого будет евреям? Рассчитывать на лучшее пока не приходится. Не с чего.

— А то, что не стало хуже? — сказала Мира. — А амнистия?

— Амнистия! — повторил Ефим. — Кого они отпустили? Уголовников, бандитов!

— Может, это только начало? — с надеждой сказала Мира. — Может, что-нибудь изменится?

— А! — махнул рукой Ефим. — Вот то, что хуже не стало — это удивительно. Когда он подох — всех должны были посадить, по моим подсчетам. На всякий случай. А они врачей выпустили. Чего ради?

— Может, написать письмо Когану? — сказала Мира. — Он когда-то лечил отца.

— По-моему, это бессмысленно, — сказал Ефим. — С тем же успехом можно писать Эренбургу или папе римскому. Главное, не обнадеживаться попусту!

Брехали собаки за низкими дувалами, лай их был уныл и тосклив. По огромному остывшему небу скользили звезды, оставляя за собой светящиеся тропинки. Москва была где-то невообразимо далеко — по всей вероятности, была. А может, и нет ее вовсе, Москвы? Может, и так. Под таким огромным небом с мерцающими тропинками в чем уверен до конца крошечный человек, даже если начальник РО МГБ велел ему составить конспект по сталинской работе! Вот Джеты-Су — есть, в этом не приходится сомневаться. А думать о том, что творится в Москве — бессмысленно и бесполезно.

— Откуда мы знаем, что главное, а что не главное, — сказала Мира.

— В том-то и дело! — сказал Ефим. — Хорошо, что в Сибирь нас не загнали.

— Ответ из Прокуратуры еще не пришел, — сказала Мира.

— Придет! — сказал Ефим. — А может, не придет. Это дела не изменит.

— Но писать все-таки нужно, — сказала Мира. — Давай напишем Хрущеву.

— Ну, давай, — согласился Ефим. — Напишем, если хочешь. Сначала Габидулину напишем, а потом Хрущеву.

Шестнадцать лет Симону исполнилось в четверг, но отметить это событие решено было в выходной, в воскресенье. К праздничному вечернему чаю готовились, гости были приглашены.

С утра в воскресенье Симон навел порядок в отведенном ему ящике Сергей-Васильевичева комода. Он поглубже — подальше от чужих глаз — засунул странички со стихами, поставил на них кортонную коробочку со стрелянными гильзами. Вынул, просмотрел, а затем снова положил в конверт несколько фотографий: отца, няни, Егора Голованина, орла и медведя. Здесь же хранились две книги — подаренный когда-то отцом "Тиль Уленшпигель" и "Иудейская война".

— Оставь там места побольше, — сказала Мира, перебиравшая изюм для пирога.

— Ладно, — сказал Симон. — А зачем?

— Скоро узнаешь, — сказала Мира. — Фима с Женей придут — и узнаешь.

Фима с Женей ушли в магазин и на базар и должны были вот-вот вернуться. Симон знал, был уверен, что место в ящике предназначалось для подарков, но, подыгрывая матери, делал вид, что не догадывается. Мире это доставляло удовольствие — вот он и подыгрывал.

— Мам, ну скажи по секрету, — попросил Симон. — Что будет, когда они придут?

— Потерпи, — сказала Мира. — А то неинтересно будет.

— Как неинтересно! — возразил Симон. — А если неинтересно, зачем держать место в ящике?

— Ну, вспомни, что было в этот день год назад, два года назад... — почти сдалась Мира. — Ну?

— Ладно, — сказал Симон, не желая срывать задуманный матерью спектакль. — Придут — тогда поглядим.

— Возьми изюм, — сказала Мира. — Только много не бери, а то не хватит на пирог... Сегодня, сынок, — твой день. Может, хочешь кого-нибудь пригласить в гости?

— Кого мне приглашать! — сказал Симон. — Ты же сама знаешь — некого.

— А этот человек, который работает у Александра Александровича?

— Веня? — уточнил Симон. Он ждал этого вопроса, знал, что Мира задаст его.

— Как ты можешь его так называть! — сказала Мира. — Он же тебе в дедушки годится... Ты знаешь — я не в восторге от этой дружбы, но сегодня...

— Ему будет скучно, — сказал Симон. — Он не любит, когда много людей.

— А с тобой ему не скучно? — спросила Мира.

— Я же не "много людей"! — усмехнулся Симон.

— Что у вас может быть общего? — несколько уже раздраженно сказала Мира. — Мальчик и странный, дикий старик!

— Не будем, мам, об этом говорить, — сказал Симон. — Просто он особенный. — Симон не хотел спорить с матерью о Вене и мысленно попросил у него прощения за это маленькое предательство. Он, впрочем, был уверен, что Веня одобрил бы его: к чему волновать Миру, доказывая ей с пеной у рта, что Веня — самый лучший из всех странных, диких и особенных стариков, которые живут на свете? Ве-

ня от этого не станет ни странней, ни дичей, а Мира все равно не поверит Симону. Зачем же слова тратить попусту? Конечно, Веня одобрил бы Симона.

И идти ему в гости к Ашкенази тоже ни к чему. Чай, что ли, пить с пирогом? Да на него весь вечер глаза будут лупить — и Гита, и Хана Исаковна со своими китайскими штучками. Да и Мира ему наверняка вопросы задаст, от которых трава сохнет. Что-нибудь вроде: "Вы любите чай с пирогом?" А он ответит примерно так: "Чай с пирогом — хорошо, но водка с черным хлебом — лучше". И после такого выступления все гости разойдутся с дурацкими улыбками. Или Гита спросит: "Почему вы носите рваный пиджак — или вы нищий?" А он ответит: "Конечно, нищий. А вы разве — нет? Мы ведь с вами стоим на одном углу!" После этого наступит тишина, и гости опять-таки разойдутся с дурацкими улыбками.

Веня так не ответит. Лучше ответит.

Но гости все равно разбегутся, это уж точно.

— Я его в другой раз приглашу, — сказал Симон.

— А эту девочку из железнодорожной школы? — спросила Мира. — Помнишь, ты о ней что-то рассказывал.

— Нет, — быстро сказал Симон. — Не надо. Я никого не хочу сегодня приглашать.

Он не видел Виолы уже дней десять. После того вечера они встречались четыре раза, и Виола каждый раз как нарочно спрашивала про мираж, а Симону это почему-то было неприятно — как будто его уличили во лжи. Ну, сказал ей один раз про мираж, она ответила — и хватит. Каждый человек имеет свой, свой собственный мираж, и посторонним туда вход закрыт. Это же и так ясно. А когда он сказал об этом Виоле, она стала плакать, твердить, что он ее больше не любит, раз такое дело. Конечно, не любит! То есть любит, но раз она такие вещи сама говорит... Одним словом, жалко ее — но что он может сделать? Пускай хотя бы не плачет. И по-

том, когда они шли один раз по улице, она его руку не выпускала. Это просто неудобно перед людьми, и рука к тому же потеет. Он ее на всю жизнь запомнит — но нельзя же всю жизнь с ней за ручку ходить!

Вернулись Ефим с Женей, принесли вино и рассыпное печенье в газетном куле. Мира сделалась торжественна.

— Ну, мальчики, — сказала Мира, — так...

— Получай, — сказал Ефим. — Только, смотри, бумагу зря не переводи, — он протянул брату красивую, в клеенчатом переплете тетрадь. Первая ее страница была вырвана — тетрадь эту с дарственной надписью подарили когда-то, еще в университетские годы, самому Ефиму.

— Поздравляю, — сказал Женя, протягивая Симону маленький перочинный ножик. — Это тебе.

Мира подарила сыну голубую шелковую сорочку на молнии и казахскую плетть-камчу, о которой Симон мечтал давно. Взамен камчи бывший ее владелец получил от Миры вязаный свитер. Пряжа, правда, принадлежала заказчику.

Симон был рад подаркам, особенно камче и ножу, но праздничности дня рождения не ощущал вовсе. Всего год назад, в Москве, все это выглядело для него иначе: и приготовления к обеду, и гости, и, наконец, подарки. И так, ему шестнадцать? Веня говорит — двадцать пять. Наверно, он прав. Ему, Симону, ни капли не жалко этих девяти лет, неизвестно куда и каким образом девшихся, исчезнувших. Если бы ему стукнуло сегодня шестнадцать, он бы вел себя иначе — почти так, как в пятнадцать. Однако ничего общего с прошлогодним днем рождения он не испытывает.

На обед гостей не звали — ради одного сегодняшнего вечера семья крепко выбилась из месячного бюджета. После обеда занялись кто чем: Мира поставила пирог, Ефим сел дописывать конспект, Женя лег вздремнуть, а Симон открыл "Иудейскую войну".

Он читал о любви Тита и Береники, о том, как

император приказал именем возлюбленной назвать новое созвездие, открытое звездочетом. "Волосы Береники!" Красиво, черт возьми. Ничего не скажешь. Тит был прав. А вот Береника — лярва, такая, как Аврора, только хуже. Почему это "мстители", интересно знать, ее не подрезали? Они действительно похожи друг на друга — Иосиф Флавий и принцесса Береника. Страдальцы, будь они прокляты! Симона бар-Гиору задушили, а Береника, видите ли, страдает оттого, что Тит ей дал отставку. Судить ее надо было и камнями побить. Может, она и думала евреям чем-нибудь помочь — да не вышло. А раз не вышло — отвечай! Тит разлюбил? Страдаешь, принцесса? Так ведь каждый человек страдает, а денег ему за это не платят и орденов не дают. А то, что сам себя судишь и грызешь — это не в счет, это в темноте. Судить надо на свету.

Симон отодвинул книгу. Он сожалел о том, что Береника отделалась личными неприятностями и до суда дело не дошло. Потом он попытался представить себе Беренику и Тита — в золоте, в пурпуре и в чем там еще. Ревели трубы, гремели литавры. Маршировали войска. Специальные негры вели на серебряных цепях прирученных львов, тигров и слонов. Толпа молча и подавленно наблюдала за всеми этими чудесами. В толпе стояли бок о бок Симон бар-Гиора и Симон бен-Пинхас Ашкенази.

— Может, у них там все по-другому, и они имеют право на предательство? — спросил Симон бен-Пинхас, несколько огорошенный шумом, блеском и рычаньем. — Ведь они почти не похожи на людей в своем золоте и серебре.

— Они люди, друг мой и товарищ Симон, — сказал Симон бар-Гиора, — такие же люди, как мы. И за предательство они должны отвечать перед себе подобными. Как ты думаешь, что следует сделать с Береникой?

— Исключить ее из народа, — сказал Симон бен-Пинхас.

— Да ведь ни ее, ни предателя Иосифа Флавия евреи и так не считают своими, они сторонятся их, как пораженных язвой и проказой! Нет, Симон. Тех, кто предает свой народ во время войны за свободу и жизнь, следует проклинать не словом, а сталью.

Диалог между Симоном бар-Гиорой и Симоном бен-Пинхасом продолжался бы, и, надо думать, ветреной Беренике досталось бы на орехи — но стукнула калитка, распахнутая уверенной рукой, и во двор вошел молодой солдат-казак в форме войск МГБ. Не поглядев на Симона бен-Пинхаса, солдат прошел в дом.

В комнате Ашкенази он обстоятельно оглядел стряпающую Миру, пишущего Ефима и спящего Женю и без приглашения сел на стул, стоящий посреди комнаты.

— Здравствуйте! — сказал солдат, сев.

Ашкенази, удивленные и встревоженные, не ответили. Только Женя, проснувшись, промямлил что-то в ответ на приветствие солдата.

— Как живете? — спросил тем не менее солдат, не испытывавший неловкости. И, не дождавшись ответа, повторил: — Живете как?

Симон стоял в дверях, смотрел то на спину солдата, то на Ефима.

— Вы, собственно, зачем пришли? — спросил Ефим неестественно высоким голосом.

— Э-э, Ашкенази! — сказал солдат и, сняв фуражку, неодобрительно покачал головой. — Зачем шумишь?

— Что это все значит! — не выдержала Мира. — Что вы от нас хотите?!

— Как что хотим! — повернулся солдат к Мире. — Мы ходим, проверяем. Проверка, понимаешь? Так положено!

— Что же вы будете проверять? — спросил Ефим, закидывая ногу на ногу.

— Что надо, то и будем, — объяснил солдат. — Как

живете, работа какая, планы какие... Я по всем ссыльным хожу — проверяю.

Солдат замолчал, празднично разглядывая обстановку комнаты.

— Комод у вас хороший, — сказал солдат, дойдя в своем обследовании до произведения Сергея Васильевича. — Почему брали?

— Это не наш, — сказала Мира. — Это хозяйский.

— А, — сказал солдат. — А я думал — ваш.

Никакой другой предмет в комнате не привлек внимания солдата. Он сидел молча, обдумывая, что бы еще спросить у ссыльных Ашкенази.

Гита вошла в комнату, увидела спину солдата и остановилась. Она не любила людей в форменной одежде и боялась их. В руках Гита держала пустую авоську: каракулевый воротник, который обычно там помещался, был прикреплен к воротнику Гитинова пальто.

— А я думала, что приду первая и уйду первая, — сказала Гита, держась у двери.

— Ты садись, бабушка, — сказал солдат, оборачиваясь к Гите. — Пришла — значит, садись. Как живешь? — увидев нового человека, солдат решил обратиться теперь к нему свои вопросы.

— Как я живу! — сказала Гита, сильно кривя лицо и разводя руками. — И кто вам сказал, что я живу!

— Ну, как! — рассудил солдат. — Не померла же ты, раз в гости ходишь!

Возразить против этого было не просто — но Гита даже не задумалась над ответом.

— Почему вы знаете, что я померла? — спросила Гита. — Или вы не видите, что я стою здесь около двери?

— Как не вижу? — озадачился солдат. — Вижу!

— Он говорит — вижу! — со смешком воскликнула Гита и всплеснула руками. — Нет, вы только послушайте — он видит! И что же вы видите?

— Что надо, то и вижу! — рассердился солдат. — Ишь, спрашивает! Тебя не касается, что я вижу!

— Вы видите меня! — не отступила Гита. — Почему это меня не касается?

— Этот гражданин пришел проверить, как мы живем. — сказала Мира.

— Как мы живем! — повторила Гита, наклонив голову к плечу. — Разве мы живем?

— Ну, я пойду... — сказал солдат, подымаясь со стула.

— И кто вам говорит, чтобы вы не шли? — спросила Гита, словно бы споря сама с собой. — Я вам это говорю?

— Ты, давай, не спрашивай! — выкрикнул солдат, задержавшись в дверях. — Я вот тебя заберу — тогда поспрашиваешь! Карга!

— Странный человек! — сказала Гита, когда солдат ушел. — Он меня спрашивает, как я живу! Что ты так смеешься, Ефим?

— Он вас мог забрать, — сказал Симон. — Забрал бы — и все.

— Куда бы он меня забрал? — спросила Гита с вызовом.

— В комендатуру, — сказал Симон.

— Почему именно в комендатуру? — спросила Гита.

— Потому что он оттуда пришел! — не выдержал Ефим. — Потому что он — эмгебешник, понимаете?

— Боже мой, — сказала Гита и опустила на стул. — Боже мой!

— А вы думали, он в гости пришел? — спросил Женя.

— Я думала — это сын хозяина! — сказала Гита.

— У него нет никакого сына, — сказал Ефим. — Откуда вы взяли?

— А я знаю? — сказала Гита. — Боже мой!

Над Гитой смеялись вполголоса, а она все делала недоуменные гримасы, всплескивала руками и твердила свое "Боже мой!", как будто солдат мог вернуться и увести ее в комендатуру. Впрочем, он и мог, конечно, вернуться. Надумать и вернуться с

полдороги. Вернуться и забрать их и выяснить, как они живут, а потом отпустить. Или оставить в КПЗ до утра, чтоб Гита вопросов не задавала. Просто солдат попался неплохой, вот и все.

Тем временем пришла Хана Исаковна со своими китайскими разговорами и коржиками собственного приготовления, пришла защитница Рахиль Львовна, пришел Сан Саныч с двумя бутылками коньяка и банкой настоящих балтийских килек.

— Мои дорогие, послушайте меня! — сказала Рахиль Львовна, еще не сняв пальто. — В Кзыл-Орде на прошлой неделе освободили восемь семей ссыльных. Еще пять семей вызваны в комендатуру на понедельник. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что скоро мои дорогие спецпоселенцы поедут домой.

— Тьфу-тьфу, не сглазить, Рахиличка Львовна, — сказала Мира. — Неужели это возможно?

— Это совершенно определено! — заверила Рахиль Львовна. — Дядя моего клиента работает в областном управлении. Он говорит, что всех освободят в течение примерно двух-трех лет.

— Хорошенькое утешение! — с горечью сказала Мира.

— Ну, моя дорогая Мира, здесь уж ничего не поделаешь! — решительно заявила Рахиль Львовна. — Им придется освободить миллионы людей из лагерей и из ссылки, вы только представьте себе — миллионы! За один год они не управятся — ведь на каждого надо готовить реабилитационное решение!

Рахиль Львовна говорила громко и уверенно. Ашкенази окружили ее, она стояла среди них — все еще в пальто.

— Неужели они отпустят всех? — спросил Женя с большим недоверием.

— Одних отпустят, других посадят, — обнадежил Ефим. — Свято место пусто не бывает...

— Может, папа вернется... — тихо, для себя и для

детей, сказала Мира, повернувшись к Ефиму и Симону.

Братья молчали. Они не верили в возвращение отца.

Возвращение отца много раз представлялось Симону. Вот открывается дверь и входит Пинхас — постаревший, худой, с седой щетиной на лице. Он подходит к своему мезунеку, треплет его по щеке, ничего не говорит. Потом все садятся за стол — завтракать, и на столе любимая утренняя еда отца: отварная картошка с маслом и селедка. Все ждут, чтобы Пинхас начал есть — но он не прикасается к пище, он сидит устало и молча, и никто не смеет к нему обратиться, почему он, вернувшись, словно бы продолжает отсутствовать. А Пинхас, чуть улыбаясь, смотрит на них на всех с последней любовью и последним пониманием. И потом он подымается из-за стола и выходит не оборачиваясь, и никто не смеет последовать за ним.

Так представлял Симон возвращение отца — но не верил в него.

За праздничным чаем разговор начался с Симона и его дня рождения, но через несколько минут все говорили о последних кзыл-ординских событиях, об освобождении ссыльных. Рахиль Львовна чувствовала себя именинницей, она то и дело оглядывала всех поверх очков в стальной оправке и улыбалась, показывая золотые передние зубы, слишком новые и безукоризненные на ее старом, складчатом лице. Новости, принесенные Рахиль Львовной, взбудоражили всех. Даже приглашенный Сергей Васильевич Утюгов расслышал, кажется, все до последнего слова.

— Слышь, Семен, — сказал он Симону, — защитница-то, Рахиль Львовна, знает. Может, отпустят вас!

— Вас, может, тоже, — сказал Симон. — Куда вы поедете жить?

— Куда я поеду! — махнул рукой Сергей Васильевич. — Я здесь доживать буду.

— А Родина как же? — спросил Симон. — Не поедете?

— Ну, может, одним глазком поеду погляжу, — подумав, сказал Утюгов. — Я ж здесь сколько годов живу — привык.

”Вот, вот оно, — подумал Симон. — Хороший старик Сергей Васильевич, чудесный старик. Сколько годков живет! А мы сколько лет, сколько веков живем — и не привыкнем никогда. Никогда в жизни! Ни в ссылке, ни в тюрьме, ни в Кремле. А кто и захочет привыкнуть — тому не дадут, не позволят. Домой хочешь, жидовская морда? Мы тебе покажем — домой! Думаешь, ты здесь у себя дома, жидовская морда? Мы тебе покажем — у себя дома! Никогда не привыкнем мы к чужой земле, не полюбим ее как свою, не назовем Родиной — потому что это самый страшный грех, какой только может совершить еврей. Ни в России, ни в Америке, ни на Луне — нигде не забудем мы наш Израиль, при упоминании одного его имени на душе становится тепло и влажно”.

Разговор об освобожденных захватил всех, каждый высказывал свои предположения о том, что же все-таки произойдет со ссылными людьми, если дело пойдет так и дальше. О свободе для себя не говорил никто: это слишком слепительно, слишком страшно.

Женщину, вошедшую в комнату, вначале и не заметили. Вошедшая была одета в дорогое, добротное ратиновое пальто с серым каракулевым воротником, голова ее была укутана пушистым оренбургским платком. Несколько смущенно стояла она у двери, не желая, видно, нарушать разговор. Наконец ее увидели, удивились, замолчали.

— Вы извините, — сказала женщина, — я не знала, что тут гости... Мне к Ашкенази, — и огляделась, не угадывая, кто хозяйева.

Мира поднялась из-за стола, подошла.

— Я Ашкенази, — сказала Мира. — В чем дело?

— А я — жена Мунира Гарифовича, — объяснила женщина. Больше она ничего к этому не добавила, полагая, что сказано уже все.

— Я не понимаю... — сказала Мира.

Тогда женщина наклонилась к Мириному уху и прошептала:

— Мунира Гарифовича Габидулина.

— Ах, вот что! — поняла Мира. — Может, вы разденетесь?

— Нет, что вы! — сказала Габидулина. — Я на минутку... Мунир Гарифович спрашивал свою тетрадку.

— Фима! — позвала Мира.

Захватив тетрадь с конспектом, Ефим подошел к матери.

— Спасибо! — сказала Габидулина, принимая тетрадь. — Можно вас? — и вышла в переднюю вместе с Мирой. — У нас куры свои, я вам тут десяток яиц принесла, Мунир Гарифович велел... И еще вот что — вы уж меня извините. Там у вас чайничек заварной стоит на столе, медный — не продадите? Мы, татары, очень такие чайнички уважаем. Продайте — Мунир Гарифович очень будет доволен.

Мира молча вернулась в комнату, взяла со стола чайник, вернулась в переднюю. Молча, плотно сжав губы, подала чайник Габидулиной.

— За сколько продаете? — спросила Габидулина.

— Денег не надо, — сказала Мира.

— Как хотите, — сказала Габидулина. — А то я заплачу.

— Ничего, — сказала Мира. — Завернуть вот не во что.

— А я в карман спрячу, — сказала Габидулина, выходя во двор.

Мира вышла за ней.

Во дворе Габидулина, поболтав чайник и определив в нем содержимое, аккуратно вылила на землю остатки горячей заварки.

— Вы уж извините за беспокойство, — сказала Габидулина, засовывая чайник в карман. — До свидания!

— До свидания, — сказала Мира.

Январь выдался в Джеты-Су бесснежный, с морозными ветрами.

Бесконечно шли тяжелые грузовики по старой английской дороге, на строительство космодрома Бойконур. За станцией, по ту сторону железной дороги, военные построили целый городок, там садились и взлетали грузовые самолеты с армейскими знаками на крыльях. Там открыли большой продовольственный магазин, куда джеты-суйских людей не допускали.

Са-Саньч уехал в Москву перед самым Новым годом, по приезде написал Ашкенази письмо. Писал: "В Москве много говорят о переменах, и это не пустые слухи. Я надеюсь скоро увидеться с вами, дорогие друзья. Симон! Передай привет Вени, скажи ему, что жалованье будут ему отправлять отсюда два раза в месяц".

У Вени Симон бывал почти каждый день, засиживался допоздна, иногда оставался ночевать. Вени никогда не спрашивал у Симона, что случилось с Виолой, почему он больше не приводит ее, и Симон был благодарен ему за это.

Усам, брат Калу, исчез из окрестностей Джеты-Су. Говорили, что его поймали, что его убили военные. Симон знал, что это неправда: Усам уехал в Чечню, в горы, и вестей от него не было.

Из Кызыл-Орды продолжали понемногу отпускать ссыльных, и каждое освобождение вызывало в душе Миры и надежду, и горечь. А Симон ждал спокойно, его словно бы не трогали ни слухи, ни разговоры об освобождении, без конца ведущиеся в доме Ашкенази. Однажды он сказал матери:

— Не все ли тебе равно, где жить — здесь или в

Москве? В театр там, что ли, каждый день будем ходить? Вот если б совсем нас отпустили...

— Совсем? — спросила Мира. — Куда?

— Домой, — сказал Симон. — В Израиль.

— Тише, сыночек! — сказала Мира. — Может, доживем до такого чуда — кто знает?

— Вот из-за этого "тише!" мне все равно, где сидеть — здесь или не здесь, — сказал Симон. — В Москве, думаешь, мы будем громче говорить "Израиль"?

— Ради Бога, тише! — испуганно сказала Мира, оглядываясь на дверь.

В конце января освободили Хану Исаковну. Она скрыла это от Ашкенази, чтобы не расстраивать Миру, и осталась в Джеты-Су — ехать ей все равно было некуда. Из Джеты-Су ее могли выселить разве что силой.

А в середине февраля пришла реабилитация и Ашкенази.

8. ВЕНЯ

Зачитывая решение о реабилитации Ашкенази, Габидулин был дружелюбен.

— Что с моим мужем? — спросила Мира, выслушав.

— Ничего не могу вам ответить, — сказал Габидулин.

— Но мы реабилитированы как члены семьи изменника родины? — спросила Мира.

— Да, — подтвердил Габидулин. — Как ЧеСеИРы.

— Значит, с Пинхаса Ашкенази снято обвинение как с изменника? — настаивала Мира.

— Все разъяснения вы получите в Москве, — сказал Габидулин. — Мне было поручено зачитать вам решение по вашему делу.

Прямо из комендатуры Симон отправился к Вене. Он то бежал, то шел, он несколько раз сбивался с пути, пока вышел к полю. Вот и все. Вот, значит, и все. Москва приблизилась, стала реальна. Джеты-Су превратился в мираж в получасе ходьбы. А что Москва? Все начнется сначала. Только что, что начнется, что там — впереди? Ничего там пока нет, пустое место. Голая степь, и по ней — дорога. Куда она ведет? Дальше, за забор? Или, попетляв, вернется обратно в Джеты-Су? Хочется заглянуть вперед, далеко — но видно только

до горизонта. Что там говорить — в Москве, конечно, лучше, чем в Джеты-Су. А почему лучше? Жратва там есть. А Вени — нет. Что еще есть? Калу — нет. Егор Голованин есть. Виолы — нет. Новая Виола будет. Нет, новой не будет — другая будет. Это верней. Хороший парень Егор Голованин. Что они там с ним делали, в Москве? Менялись все время чем попало: корпус от будильника на лапку от швейной машины меняли, марки на пистоны. А теперь что будут менять? Смех подумать... А замком Егор Голованин того гада здорово уработал, этого забывать не надо. А Веня? А Вени не будет. Ох, Веня, друг и товарищ! К кому ходить в Москве, с кем говорить по-настоящему? Нового Вени не будет, и другого Вени не будет. Даже если все будет, даже если будет Израиль — Вени не будет. И отца не будет. И матери, может, не будет, и брата — будет Израиль. Какое могучее, стройное и нежное слово — Израиль! Возвращение в Израиль... Солнце, окруженное цветными стеклышками, неизвестно откуда льющаяся музыка, трактор на высоких колесах. Мечтать — это почти действовать. Пока вернемся в Москву. В Джеты-Су труднее мечтать — значит, труднее почти действовать. А Веня? Он знает, что мечтать впустую — самому себе копать яму. Он сам так говорил. А, может, ему уже осточертело быть грузином, русским, кем угодно — только не евреем? Может, он тоже мечтает вернуться к своим? Вот отпустят его из Джеты-Су — и тогда можно начинать мечтать по-настоящему.

— Что такое? — спросил Веня, когда Симон ворвался в сторожку. — Что случилось?

— Ничего, — сказал Симон. — Просто я бежал.

Он вдруг понял, что не может, что нет у него сил вот так прямо сказать с порога: "Нас освободили, мы завтра уезжаем".

— Я бежал, — сказал Симон. — Хотел поговорить.

— Я еще не умираю, — сказал Веня. — Так что можно было не бежать. Но если ты бежал, чтобы побыстрее начать говорить — мне это приятно, не скрою от тебя. Так что же, все-таки, случилось?

— Ничего, — повторил Симон.

Веня сидел на топчане, накинув на плечи ватник — в сторожке было прохладно.

— Может, подтопить? — предложил Симон.

— Давай, — сказал Веня. — Заодно сварим картошку.

— Ты слышал, — как бы между прочим, подбрасывая в печку дрова, сказал Симон, — из Кзыл-Орды людей отпускают.

— Да, — подтвердил Веня. — Ничто, оказывается, не вечно — даже вечная ссылка. Смерть, правда, вечна — но это нас не касается.

— Почему? — спросил Симон. — Умереть ведь придется!

— Конечно, — сказал Веня, бросив в миску очищенную картофелину. — Но мы ведь существа живые, люди-человеки. А человек — хозяин своего прошлого. Это все, что у него действительно есть... Смерть! Смерть — дело будущего, мы там даже стул с места на место не можем переставить. Когда будущее станет прошлым, мы скажем: "Мое!" Только вот станет ли оно — этого мы не знаем.

— Ну, хорошо, — закрыв печную дверцу и поворачиваясь к Вене, сказал Симон. — Сколько бы это будущее ни продолжалось, за ним все равно будет смерть. Так? Значит, смерть принадлежит нам, хоть она и в будущем.

— Смерть существует помимо нашего "хочу" или "не хочу", — сказал Веня, — как и само будущее. Даже если человек стреляет себе в рот — он хозяин своего поступка, потому что он совершил его в прошлом.

— Почему в прошлом? — возразил Симон. — В настоящем.

— Настоящего, если хочешь знать, вообще не существует, — сказал Веня. — Прошлое смыкается с будущим без зазора. Прожитый миг — прошлое, непрожитый — будущее. Между ними ничего нет.

— Веня, — сказал вдруг Симон, — а тебя отпускают? Вон из Кзыл-Орды отпускают.

— Нет, — сказал Веня, — не отпустят. А вас отпустят.

— По-моему, тоже, — сказал Симон. — Но, по-моему, и тебя тоже отпустят. Вот увидишь!

— С чего ты взял? — спросил Веня. — Поставь на огонь! — и придвинул к Симону миску с очищенной картошкой.

— Ну вот точно! — сказал Симон. — Мы тоже ведь думали...

— Вас что — уже? — глядя в стол, сказал Веня. А потом, помолчав, поднял голову и негромко добавил: — Получили?

— Да... — сказал Симон. — Сегодня.

— Ну, вот, — сказал Веня. — Вот одно прошлое и кончилось. — Плечи его были низко опущены, он оперлся грудью о столешницу и улыбался навстречу Симону легко и грустно.

— Скоро ты тоже получишь, — сказал Симон. — Веня, вот увидишь!

— Нет, — сказал Веня.

— Я поэтому бежал, — сказал Симон. — Нам как в комендатуре сказали — я сразу к тебе побежал.

— Да, — сказал Веня. — Мама была недовольна, что ты ушел?

— Я не знаю, — сказал Симон. — Я сразу ушел.

— Она, наверно, расстроилась, — сказал Веня. — Жесткий ты человек.

— Я хочу быть таким, как ты, — тихо сказал Симон.

— А кто за это будет отвечать? — с коротким смешком, горько спросил Веня. — Кто будет отвечать за то, что ты только х о ч е ш ь стать таким, как я?

— За это никто пускай не отвечает, — скороговоркой, сердито сказал Симон. — Я сам так хочу.

— Ты жесткий человек, — повторил Веня.

— И слава Богу! — сказал Симон. — Если б ты меня не подозвал тогда на базаре, я, может, был бы сейчас соплей.

— Ну нет! — сказал Веня убежденно. — Соплей бы ты не был... Да что гадать, каким бы ты стал, если бы не было той ночи на базаре? Та ночь была, и я спал

под ватником, а ты замерз, друг мой и товарищ Симон! Слышал такую поговорку — "Кто нови не знает, тот и стари рад"? Мудрые слова, золотые. Так вот, ты только знаешь новь, и старь тебя никак не устроит. Запомни: никогда не ломай себе голову над тем, что могло бы быть, если б чего-то не было. Это бессмысленно, а потому никчемно. И, вообще, приготовься: я тебе должен многое сказать. Когда вы едете?

— Завтра, вечером, — сказал Симон.

— Хорошо, — сказал Веня. — Значит, есть время... Так что ты там сказал насчет ватника?

— Это ты сказал, — Симон поглядел на Веню серьезно. — Ты сказал, что ты спал под ватником, а я замерз.

— Да, с этого все началось, — подтвердил Веня. — Я дал тебе тогда ножик, верно?

— Верно, — сказал Симон. — Я всегда его с собой ношу.

— Может, он тебе когда-нибудь пригодится, — сказал Веня. — В Москве ведь тоже разные люди живут, и там надо быть жестким — еще более жестким, чем здесь.

— Он мне уже один раз пригодился, — сказал Симон и выжидающе поглядел на Веню — спросит ли, как пригодился.

— Как пригодился? — спросил Веня без особого интереса.

— С меня куртку хотели снять, — сказал Симон. — Путьремовцы... Я одному засадил.

— Куда ты ему попал? — спросил Веня так же безучастно.

— В живот, кажется, — сказал Симон.

— Он умер?

— Не знаю, — сказал Симон. — Может, не умер.

— Ты правильно сделал, — сказал Веня, помолчав. — Но дело не в путьремовце... Ты ударил ножом человека, может быть, убил его. Ну, и как тебе все это? Нет, ты сначала подумай! — предостерег он, видя, что Симон принял вид независимый и вызывающий.

— Иногда думаю об этом, — сказал Симон после паузы.

зы. — Но редко. Не про то думаю, как ударил — чего гут думать? Замахнулся — и все! Ножик сам пошел до самого конца... Убил или не убил — вот в чем дело.

— Предположим — убил, — подсказал Веня. — Что это для тебя?

— Не знаю, — сказал Симон. — Если б они успели — они б меня сами молотком по голове долбанули.

— Э, нет! — сказал Веня. — Это ты уже обороняешься... Ты лишил человека жизни. Как у тебя теперь на душе?

— Никак, — сказал Симон. — Я сперва тоже думал: мученья, терзанья. Нет, не сперва — часа через два после этого дела. А сперва бежал через весь Джеты-Су и радовался, что — я, а не меня.

— А потом?

— Потом... — сказал Симон и изогнул брови высоко над глазами, словно бы припоминая, что же, действительно, было потом. — Пожалуй, мне хотелось, чтоб он все-таки не умер. А насчет лишения жизни — это, если честно говорить, меня не пекло. — Симон помолчал, воодушевился, продолжал: — Ну, как бы это объяснить... Вот, допустим, я изрезал ножом картину Врубеля "Демон" — знаешь? Тогда б меня это всю жизнь пекло, и я, наверно, с ума бы сошел — потому что картина ни Врубелю, ни мне не принадлежит. А самого Врубеля мог бы убить, особенно, если б он с меня куртку снимал, — и Симон чуть усмехнулся, глядя на Веню искательно.

— В общем, все правильно, — раздумчиво, как бы самому себе, сказал Веня. — Картину — нельзя, она вечна, вечное разрушению не подлежит. Автора — можно, он свое дело уже сделал, а что сделает в будущем — кто знает?

— Картину — нельзя! — убежденно повторил Симон. — Кто вечное разрушит — тому самому надо застрелиться.

— Ты думаешь? — покосившись на Симона, спросил Веня. — Только в этом случае?

— Что — в этом случае? — переспросил Симон. — Стреляться, что ли?

Веня утвердительно кивнул головой.

— Ну, нет, — сказал Симон. — Знаешь, я об этом один раз думал сам не знаю сколько времени... Лучше уж совсем ни на что не надеяться, правда? А если уж на что-нибудь надеешься, а потом это самое "что-нибудь" взяло и развалилось совсем, и надеяться больше не на что — тогда тоже надо. — Симон поднес к виску вытянутый указательный палец и прищелкнул языком.

— Ты прав, — глухо и скорбно сказал Веня. — Только надеяться все-таки надо, а то совсем пусто станет жить... Ты ведь надеешься, а, Симон?

— Я — да, — с готовностью откликнулся Симон. — Я надеюсь, что когда-нибудь уеду туда, — он уверенно, словно зная направление, указал движением головы, — в Израиль... Отец мой говорил: "Если сам не доберусь, то хоть бы кости мои в ту землю легли". Но это раньше было, давно — понимаешь? Теперь туда живым надо ехать. Вот ты бы поехал?

— Я бы поехал, — сказал Веня. — Но кому там нужен старый сторож, как две капли воды похожий на известного мертвеца и потому сам уже отчасти покойный?

— Сторожа всюду нужны, — возразил Симон. — Или бы ты написал книгу.

— Сторожить я еще могу, — сказал Веня, — а вот книги писать не умею. Но, пожалуй, там мы с тобой с голоду бы не умерли. Я бы сбрил вот это, — он дернул себя за бороду, — оставил усы — такие, как раньше у меня были. Нацепил бы маску — даже, может, железную — и ты водил бы меня по дворам. Вошли во двор — ты играешь на шарманке "Нас вырастил Сталин на верность народу", я снимаю маску, раскланиваюсь и иду с шапкой... А?

— Если б ты поехал... — сказал Симон.

— Я бы поехал, — повторил Веня. — Но меня не отпустят отсюда никогда. Первое чудо произошло —

я остался жив. А второго не будет — сдох тот, кто произвел первое.

Симон смотрел на Веню вопросительно.

— Сразу после ареста меня привезли к наркому, — продолжал Веня. — Он спросил: "Почему ты отказался работать?" Я ему рассказал, как протягивали детей на Красной площади, а потом говорю: "Мало обладать внешностью царя, чтобы такое вынести. Надо обладать стальной душой царя". Это ему передали, покойничку. Ему понравилось, он приказал оставить меня в живых, но изменить внешность. Меня били полгода подряд, каждую ночь. И это, — Веня коснулся рукой бороды, — его затея.

— Но из лагеря-то все-таки выпустили! — сказал Симон.

— Да, — согласился Веня. — Но сдох затейник. Теперь все останется, как есть: борода, патлы, Джеты-Су. Дальше Джеты-Су хода мне не будет, просто никто не рискнет ни отпустить меня на все четыре стороны, ни шлепнуть. Все останется, как есть.

Поспела картошка. Сдвинув крышку, кипяток вырвался из кастрюли и, упав на раскаленный чугун плиты, зашипел. Слив кипяток в помойное ведро, Веня вывалил отварные картофелины в миску, достал соль и хлеб.

— Масла нет, — сказал Веня. — Кончилось... Ну, как?

— Мороженая, — определил Симон, откусив от картофелины.

— Да, невкусно, — подтвердил Веня. — Но без любви тоже дети рождаются... Виола, кстати, еще не знает?

— Нет, — сказал Симон. — А чего ей говорить? До нее мне, что ли! Лучше я ей письмо напишу.

— Не напишешь! — сказал Веня. — Нехорошо ты с ней поступаешь.

— Она сама хотела! — с напористостью неправоты защитился Симон.

— Только она? — сказал Веня. — А ты?

— Я тоже, конечно, — согласился Симон. — Но я с

нее тогда все сорвал — она ж не сопротивлялась!

— Смотри, Симон, не стань татариним, — сказал Веня. — Жесткость — это хорошо, это нужно. Без этого не проживешь. Но от твоей жесткости до татарина — близко, совсем близко. Ты ведь презираешь того татарина.

— Да... — сказал Симон.

— Смотри, не стань татариним, — повторил Веня. — В городе это с тобой совсем незаметно может произойти. Тогда и твоим надеждам, и тебе самому — всему конец. Ты ведь этого не хочешь, мальчик!

— Я доберусь, — упрямо сказал Симон. — Вот посмотришь: доберусь! Я сколько раз себе представлял: вот я приехал туда, на нашу землю, пришел — и все вокруг узнаю, как будто вспоминаю, и солнце светит сквозь цветные стеклышки. Это террасы так под Москвой, на даче, стеклят цветным стеклом — зеленым, синим. Так вот, вся земля получается, как такая терраса — в цветных квадратах и ромбах.

Веня слушал внимательно, подперев голову руками.

— Я книгу не напишу, — сказал Веня, дослушав, — а ты напишешь. И напишешь там про друга и товарища твоего Веню. Правда?

— Я постараюсь, — сказал Симон, и вдруг ему стало одиноко и грустно до ломоты в глазах, потому что он почувствовал, что навсегда прощается с Веней. — Может, я еще сюда вернусь...

— Нет, — сказал Веня. — Не надо. Это уже прошлое, не надо пытаться его изменить. А то тебе потом труднее будет вспоминать... Тебе нужна большая точка к этому прошлому — так, чтобы ты шел дальше, не оглядываясь. Чтобы прошлое, понимаешь ли, чтобы этот Джеты-Суйский год остался в тебе навсегда и не выветривался, чтоб он стал самым первым, самым основным камнем твоей жизни. Тебе нужна точка — я тебе ее дам, больше у меня ничего нет.

— Я тебе тоже одну вещь хочу оставить, — сказал Симон. — "Иудейскую войну".

— Может, не надо? — усмехнулся чему-то Веня. — А, впрочем, давай! Ты когда придешь?

— Завтра утром.

— Если меня не застанешь, — сказал Веня, — книгу положи вот сюда, в тумбочку. Только не забудь — в тумбочку!

— А ты куда уйдешь? — спросил Симон.

— Не знаю, — сказал Веня. — Сам не знаю... А теперь давай подумаем, как ты назовешь свою книгу.

— Это будет книга о тебе, — сказал Симон.

— Предположим, — сказал Веня. — Хотя, скорее всего, это будет книга о начале твоей жизни.

— Нет, о тебе! — возразил Симон. — Прямо так, как ты мне рассказывал: о тебе и о том третьем, что над вами обоими. Я бы так и назвал: "Третий". Как ты думаешь?

— Мне трудно об этом думать, — сказал Веня. — Но пускай будет "Третий". Не забудь там вспомнить о Милейшем.

— Я помню, — сказал Симон.

— Теперь иди, — сказал Веня. — Мама будет недовольна.

— Может, я останусь? — сказал Симон. — Мы еще поговорим. Мама уже спать легла, наверно. — Ему хотелось остаться, он боялся уйти, сам не зная, отчего, не желая разбираться в своей внезапной боязни. — Я про Милейшего все помню, а про того, главного, — плохо.

— Иди, мальчик, — сказал Веня, — друг мой и товарищ.

Утром морозный, колючий ветер, набегая из степи, мчался по улицам поселка. Солнца не видно было за тучами, оно лишь угадывалось — разлитое холодное сияние.

С книгой под мышкой Симон взбежал по ступенькам крыльца, распахнул дверь.

Сторожка была пуста. В миске на столе лежали красно-сизые вчерашние картофелины.

Симон подошел к тумбочке, вытянул ящик. На дне ящика лежала ученическая тетрадка. Симон открыл ее, прочитал на первой, в клеточку, странице: "С.Ашке-нази. ТРЕТИЙ". И, чуть ниже, эпиграф: "Кто нови не знает, тот и стари рад". Далее все страницы были чисты.

С тетрадью в руках Симон обернулся, словно бы ища в пустой комнате ответа на вдруг вспыхнувший, спящий сознание вопрос. Венин ватник валялся на топчане.

Медленно спустился Симон с крыльца, обогнул сторожку, вышел к складу. У открытой двери склада стоял, подняв воротник шинели, майор Жаманов.

— Чего надо? — спросил Жаманов, не трогаясь с места.

— Я к Вене... — сказал Симон. Он не хотел, не желал называть Зубану это имя, но не знал ни отчества, ни фамилии своего друга.

— Какой-такой Веня? — брезгливо спросил Жаманов.

— Сторож, — выдал Симон.

— Так и говори! — приказал Жаманов. — Ривкин Вениамин Наумович. Удавился твой сторож. Склад, наверно, разворовал — и удавился. Тебе-то что?

Симон медленно повернулся к Жаманову спиной, так же медленно расстегнул пальто, куртку, ворот рубахи. Под рубаху, на грудь положил остывшую на морозе Венину тетрадь.

И, не оглядываясь, как велел ему Веня, пошел прочь.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая

1. День последний, день первый	7
2. Дорога	17
3. Простор земли	31
4. День за днем.	49
5. 6 марта	68
6. Похоронный оркестр	79
7. Калу.	101
8. Аврора	119
9. Третий	140
10. Перламутровая река Сыр-Дарья	165
Возвращение	175
Пьер Лебо.	179
Занзибар	187
Стена Плача	196

Часть вторая

1. Школьники	203
2. Грабеж	227
3. Больница	245
4. От миража к миражу	263
5. Сайгачья охота	288
6. Виола	303
7. Выходной день	318
8. Веня.	336



ДАВИД МАРКИШ

ПРИСКАЗКА